

**Военные
Приключения**

В КОГТЯХ ГЕРМАНСКИХ ШПИОНОВ



**НИКОЛАЙ
БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ**

Вече, Москва, 2022

ISBN: 978-5-4484-3379-5

FB2: "ANSI ", 133155026997363615, version 1.0

UUID: {EC688FDB-57F4-46F8-9AD0-A6B2F4BCD859}

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Николаевич Брешко- Брешковский

В когтях германских шпионов

Всё ближе мировая бойня, но никто не догадывается, что она вот-вот начнется. Никто, кроме особо доверенных агентов германской разведки, изо всех сил старающихся раздобыть сведения о новейшем российском оружии и подкупить нужных им людей. Но там, где есть разведка, обязательно проявят себя и контрразведчики... А жернова истории продолжают проворачиваться, и вот уже Европу охватывает пламя Первой мировой войны...

Роман популярнейшего в начале прошлого века автора, не переиздававшийся с 1915 года.

Знак информационной продукции 12+

Содержание

Часть первая	0006
1. «Семирамис-отель»	0006
2. Случай столкнул	0017
3. Великий инквизитор	0026
4. Волшебные «перспективы»	0036
5. Превращение	0047
6. Появление новых героев	0057
7. Вокруг да около	0068
8. Картонный паяц	0078
9. Человек, у которого были предки	0088
10. Человек без отечества	0100
11. Человек земли и человек воздуха	0108
12. Графиня Чечени действует	0118
13. И Флуг действует...	0127
14. «Рыцари пьяной библии»	0137
15. Вовка действует	0147
16. Неприятное пробуждение	0157
17. Барон с губами вампира	0167
18. Хлыст княжны Тамары	0177
19. За что?	0189
20. Дядя и племянница	0199
21. Флуг-ревизор	0210
22. У императора	0220
23. «Зеленый инфант» и дальнейшее	0231
24. Дама под вуалью	0241

25. Кабинет № 3	0251
26. Наполеон из Бобруйска	0261
27. Так начался их роман	0271
28. О дипломатах, о Гумберте и его чемодане	0282
29. Египетские папиросы графини	0292
30. Журналист — пинкертон	0302
Часть вторая	0314
1. «Титулованный грех»	0314
2. План господина Мирэ	0324
3. Необходимо решительно действовать!	0335
4. Дорогая книга	0345
5. «Наемный убийца»	0356
6. Накануне	0367
7. Вокруг миллионов	0378
8. Паника	0388
9. Возвращение Флуга	0399
10. Флуг-фантомас	0409
11. Туда	0420
12. В Варшаве	0431
13. Ночные шорохи	0441
14. Чемодан Гудсона	0451
15. Ночные выстрелы	0462
16. Жуткое	0472
17. Подруги	0483
18. Бандиты в офицерских мундирах	0494
19. «Они забавляются»	0505
20. Вовкины терзания	0516

21. На волю божью.....	0527
22. Ложе скорби.....	0538
23. К новой жизни.....	0549
24. Письмо.....	0560
25. Роман.....	0570
26. К нему!.....	0580
27. О чём тосковала свирель!.....	0590
28. Навстречу!.....	0600
29. "Зеленая опасность".....	0611
30. Старые счета.....	0621
31. Пенембельский процветает.....	0632
32. Сатана.....	0641
33. Вспугнутые.....	0652
34. Опять.....	0662
35. Возмездие.....	0673
36. В поисках.....	0684
37. Опасное поручение.....	0695
38. Два детектива.....	0705
39. Поединок.....	0716
40. Рассеялись призраки.....	0727
41. Дома.....	0737
42. К новым радостям.....	0745
#3.....	0756

Часть первая

1. «Семирамис-отель»

Для своих сорока двух лет Арканцев сохранился на диво. Правда, этот возраст для мужчины — только-только лишь вторая молодость. Но, — здесь будет целых три «но». Во-первых, он воспитанник одной из тех привилегированных школ, где начинают жить слишком рано. В самом деле — Арканцев мог указать добрый десяток своих товарищей по выпуску и однолеток, успевших растерять и зубы, и волосы, и свежесть молодости. Во-вторых, он холост, далеко не урод, а, следовательно, стоял и стоит на распутье всяких приятных возможностей. В-третьих, он проживает больше двадцати тысяч в год, включая сюда и крупное жалованье, и доходы с имения, и проценты с капитала.

И, несмотря на все эти «но», Арканцев свеж, как «поцелуй ребенка», или, беря сравнение более прозаическое, как одна из тех необыкновенно благообразных восковых го-

лов, что безмятежно глядят из витрин парикмахерских.

Волосы, не темные и не светлые, расчесаны прямым, срединным пробором. Удлиненные, правильные черты были бы красивы, не будь они так холодно закончены. Лицо румяно тем благовоспитанным румянцем и без того пересола, который переходит уже в плебейскую краснощекость. Ни одной морщинки на этом неподвижном фарфоровом лице.

И хотя обладатель его вот уже несколько лет, как служат в другом ведомстве, где чиновники охотно предпочитают бриться наголо, он верен, однако, своим аккуратно подстриженным бакенам, пробритым посредине. Этот «грим» отзывает старомодностью. Это — восьмидесятые годы.

Об этих баках Арканцев мечтал еще в школе. Такой грим он видел на портрете министра Валуева и решил, что, когда будет чиновником, отпустит себе точно такие же баки.

Уже около трех лет он действительный статский советник, этот молодой сановник чрезвычайно корректного вида, и в стиле всей его «маски» — золотое пенсне, прикры-

вающее светлые, близорукие глаза, умеющие как-то особенно значительно щуриться...

Вот и сейчас они щурятся на эту, в одиночестве сидящую за столиком даму. Кто она? Арканцев обедает здесь на протяжении года, в этой гостинице, едва ли не с самого первого дня её открытия, и все порядочные и непорядочные женщины примелькались ему, старому петроградцу, одинаково знающему и свет, и полусвет.

Новое незнакомое лицо сразу обращает внимание.

И прихлебывая черной, сладкой, густой кофе, дымя ароматной «Педро-Муриас», Арканцев, с повадкой человека, вкусно и сытно поевшего, спокойно, без жадности, рассматривал эту «декоративную» даму. Он слишком был опытен, чтобы предположить в ней заурядную искательницу приключений, потому лишь, что она в единственном числе обедает на людях в модном ресторане.

Для кокетки она чересчур гордо и независимо держится. Не на биржу, не продаваться, хотя бы и по дорогой цене, пришла сюда. Глядит перед собою, никого не видит, и попро-

буйте угадать, о чем думают под звуки оркестра эти большие глаза! Именно глаза, потому что женщины часто думают глазами. Одета в темное, со вкусом и даже скромно, хотя от этой скромности могут волосы дыбом подняться у того, кто оплачивает её парижских, конечно парижских, портных. Слишком эта скромность отдает Rue de la Paix.

В меру открыта нежная, точеная шея. И в чрезвычайно эффектом сочетании с вырезом тёмного платья — этот безукоризненный кусочек наготы, заставляющий предполагать какое угодно очарование гибкого тела, сверкающий так ослепительно в льющихся потоках верхнего света. Горят переливчатыми огнями в розоватых маленьких ушах бриллиантовые серьги. И когда она подносит к губам тоненькую папироску, зажигаются камни на длинных, красивой формы пальцах. На широкой, черной шляпе вздрагивает султаном черное «паради», в меру пышное и в меру высокое, чтобы не быть кричащим. Под этой шляпой — бледный матовой бледностью, удлинённый овал слегка напудренного лица. С первого взгляда решить было трудно, — кра-

савица она или просто красивая женщина. Но к ней влекло взгляды мужчин. Она была вся интересна общим пятном гибкой фигуры с покатыми плечами, ленивой плавностью движения рук, и — чего же больше? Не предъ-являть же к ней академических требований, с упрёком, что рот, пожалуй, немного крупноват и выиграл бы нос, будь он изысканнее и тоньше прорисован. Это уже педантизм, и, кроме того, есть много мужчин, опытных, искушенных в любви, которые сойдут с ума именно от подобного рта, с этими, тронутыми кармином губами, сулящими блаженство... Она курила со сдержанной великолепной непринужденностью под перекрёстным огнём жадных, оценивающих взглядов. И у всех горели глаза одинаковым любопытством. У всех, начиная с черномазого дирижера во фраке, заставлявшего ныть свою скрипку, старого генерала в серебряных погонах без звёздочек, лысого банкира и кончая густой «пачкой» облепившей соседний стол гвардейской молодежи в сюртуках и венгерках.

У всех, за исключением Арканцева.

Спокойно созерцательны его холодные,

близорукие глаза. Чуть заметным кивком поманил он к себе рыжеватого француза метрдотеля.

Метрдотель почтительно изогнулся.

— Это одна итальянская графиня, Джулия Тригона. Она сегодня только прибыла к нам. *N'est-ce pas, une femme chic, excellence?*[1]

Так и есть... Экзотический цветок, по всей вероятности, ядовитый, что несколько не портит его, наоборот, усугубляя пряность... И она как нельзя более ко двору здесь, под этим матовым плафоном, среди тепличных пальм, в этой нарядной, ищущей наслаждений толпе.

Одна из тех женщин, что повсюду вносят с собою атмосферу праздной, богатой, кочующей жизни, с быстро мелькающими экспрессами, берегом вечно тёплых, лазурных морей, шикарными отелями и колоннадами стройных пальм, не тепличных, как здесь, а настоящих, гордых пальм, раскрывших свои перистые зонтики навстречу знойным, безоблачным небесам...

Новое лицо появилось в ресторане. Высокий мужчина, весь бритый, и с твердым, ко-

ротко остриженным черепом. Черты лица, резкие, крупные, глаза ушли под скошенный лоб. И в покрое визитки, и в белом жилете, на котором она застегивалась одной пуговицею, и в песочного цвета гетрах угадывался человек заграничной, скорей всего англо-американской складки.

Он подошёл к графине Тригона, учтиво поднес к губам её руку, подсел, и они заговорили.

Опять поманил к себе лёгким движением своих валуевских бакенов Арканцев метрдотеля.

Не дожидаясь вопроса, француз пояснил:

— Это экселенц, богатый американец. Он прибыл несколько дней тому назад. Зовут его Прэн...

У итальянской графини по отношению к американцу не было и тени кокетства. Они беседовали, как два деловых человека. Опоздавший к обеду американец спешил утолить свой аппетит здорового, сильного, почти из одних мускулов, человека. И когда Арканцев уходил из ресторана, два лакея подкатили к Прэну тележку с ростбифом.

Швейцар не предлагал Арканцеву сесть в один из моторов, низавших теплый и мягкий весенний сумрак снопами своих фонарей-прожекторов. Он знал, что его превосходительство живут хотя и не близко, — на Мойке у Синего моста, но домой возвращаются для моциона пешком. Поэтому швейцар ограничился тем, что сорвал с головы фуражку с позументным околышем.

Арканцев в летнем пальто и в модном котелке, миновав Невский и Морскую, пересекал уже Исаакиевскую площадь, оставляя за собою струйку сигарного дыма. У памятника императору Николаю Первому он оглянулся. Впереди таким мощным, тяжёлым и в тоже время лёгким и стройным силуэтом поднимался дремлющий Исаакий, а слева угрюмо и сумрачно, такое чужое и чуждое здесь, громоздилось германское посольство. И кое-где скупо и слабо светились на фоне нарочито грубых, гранитных пересеченных колоннами стен узенькие окна. Что там, за этими окнами? Какие тайны ревниво вынашивают под своими черепами эти упрямые, самовлюбленные господа, понаехавшие из Берлина в свою

дипломатическую крепость, построенную с таким вызовом?

Высокомерно отгородились от всего окружающего этим острожно-казематным стилем...

Арканцеву бросилось невольно сравнение. Много, очень много общего в архитектуре посольства и оставшегося далеко позади «Семирамис-отеля», возникших почти одновременно. Правда, и стены, и фасад отеля несколько жизнерадостней, менее суровы. Но иначе и быть не может. Иначе гостиница одним видом своим отпугивала бы постояльцев, в особенности из Европы. У каждого невольно явилась бы мысль, что его прямо с вокзала свезли не в отель, а в какую-то крепость.

Человек реальный, Арканцев терпеть не мог фантазировать. Но или этот весенний вечер был причиной, или у него уже имелись кое-какие основания, только почудилась ему какая-то неуловимая связь между посольством и гостиницей. Он угадывал какие-то невидимые, загадочные нити. Он продолжал свой путь, а мысль работала... И уже сворачивая с Синего моста на пустынную и уснувшую

Мойку, вспомнил: «Да, эти плоские, шершаво-гранитные стены, — их форма, их мундир. Такие же „Семирамис-отели“ разбросаны по всей Европе в Париже, Лондоне, Брюсселе, Антверпене, Льеже»... Вспомнил бритое лицо со скошенным лбом, принадлежащее американцу Прэну. Где он видел раньше это лицо?.. А видел он его несомненно...

Над этим «Семирамис-отелем» необходим зоркий бдительный глаз...

Тускло уходила вдаль Мойка, стиснутая каменными берегами своими.

Арканцев, считавший себя в полном одиночестве, вздрогнул... К нему быстро подошло наперерез что-то высокое, чернобородое, в поношенной крылатке и в мятой фетровом шляпе. Чей-то голос на изысканном французском языке сказал:

— Monsieur, aujourd'hui je n'ai rien manage encore, ayez la bonte de me donner quelque chose...[2]

Раздосадованный своим испугом Арканцев хотел пройти мимо, уронив обычную в таких случаях фразу: «Я принципиально не подаю на улице», но, взглядевшись в чернобородое

лицо молодого человека в крылатке, он забыл и свое генеральство, и свою замораживающую корректность, и, повинувшись какому-то властному горячему отзвуку, помимо всякой воли и всякого рассудка, воскликнул, — вырвалось это у него с необыкновенно искренним изумлением:

— Неужели ты, Вовка?!

Голова в измятом фетре молча опустилась...

Стоял перед Арканцевым его товарищ по училищу Владимир Криволуцкий, или, как называли его в классе, Вовка.

2. Случай столкнул

Вот встреча, вот совпадение! Криволицкий от всей души хотел провалиться сквозь землю. Нужно же ему было напороться на Ленку Арканцева! Хоть и в чинах, и карьеру делает, и всего на днях видел Криволицкий его портрет в журнале с картинками, но для него он был и останется Ленкой Арканцевым.

Арканцев спохватился в своём порыве. Вовка — товарищ, которому надо помочь и не грошовой какой-нибудь подачкой, а существенным чем-нибудь... Все это правда, но зажигаться восторгом при встрече с этим погибшим, хотя и милым созданием решительно нет никакой причины. И слава богу, что кругом ни души и они только вдвоём...

Оправившийся Криволицкий хотел бежать куда глаза глядят, но Арканцев остановил его.

— Куда ты?..

— Я не могу... Если бы ты знал, как мне стыдно... мучительно стыдно. Мог ли я предполагать... Я думал — чужой, незнакомый и вдруг...

— И вдруг Ленька! — подхватил успевший оттаять Арканцев. — Тем лучше. Чужой, прельстившись твоим французским произношением, сунул бы тебе двугривенный, много полтинник — и до свиданья! А я позабочусь о тебе более основательно... Скажи мне, Вовка, ты давно занимаешься.... этим?..

— Попрошайничаю, ты хочешь сказать? Это мой первый дебют, клянусь тебе! Каких это мук стоило, если бы ты знал! Но голод выгнал на улицу. О, какой это ужас! И сколько я пропустил мимо прилично одетых людей, пока отважился наконец... Только начнешь, думаешь, что начнешь, и слова на губах замерзают с готовой фразой. Готовой, а между тем страшно искренней, чего уже искренней! Еле на ногах держусь от слабости...

Арканцев взглянул на Криволицкого, который был выше его на полголовы. Лицо бледное. И черная борода как-то трагически оттеняет эту бледность. Исхудал человек. Жеванный, измятый вид, а между тем это был красавец писанный. И за стеклами золотого пенсне в холодных глазах Арканцева вспыхнуло что-то нежное, мягкое... Вспыхнуло и по-

гасло... И он сказал уже деловым тоном.

— Друг мой, баснями, однако, соловья не кормят. Я живу отсюда в двух шагах. Пойдём. В пять минут мы устроим холодный ужин. И подумаем о том, что можно для тебя сделать.

У Криволицкого навернулись большие детские слезы. Его черные глаза стали влажные, как у дикой серны.

— Я не знаю... Я так растроган тобою... Но, ловко ли? У меня такой компрометантный вид...

— Какой вздор! Пойдём! Повторяю, баснями соловья не кормят...

Внушительный швейцар в крестах и медалях обалдел — так удивило его близкое соседство надушенных бакенов Арканцева с этой всклокоченной бородою субъекта в подозрительной крылатке.

— Заходил кто-нибудь?

— Никак нет, ваше превосходительство. Телеграммы были. Так я их передал наверх Герасиму.

Клетка электрического лифта умчала обоих товарищей в пятый этаж. Арканцев позволил и, чтоб не терять времени, сам открыл

дверь американским ключом. В обширной, с темно-серым сукном во весь пол передней, встретил своего барина пожилой бритый Герасим, в серой куртке, с плоскими металлическими пуговицами. Герасим был слишком дрессирован для того, чтоб «обалдеть», подобно швейцару. С неподвижным лицом помог он освободиться странному гостю от его крылатки.

— Герасим, я не успел пообедать. Сейчас же на извозчике к Смурову и привези всякой всячины. Холодных цыплят, заливной осетрины, икры, семги... Через десять минут все должно быть готово и накрыто в столовой... Вино есть у нас?..

— Так точно, ваше превосходительство.

— *Tu est si gentil pour moi!*..[3] — вырвалось у Криволуцкого, тронутого деликатностью школьного товарища, сочинившего, что не обедал, только б замаскировать готовящееся его, Вовкино, кормление.

В кабинет Арканцев зажёл над большим письменным столом электричество и, распечатав две телеграммы, бросив Криволуцкому:

— Ты позволишь? — углубился в чтение.

Обе условные телеграммы, одна из Вены, другая из Берлина, подкрепляли то же самое, о чем несколько минут назад Арканцев сам думал. Ему предлагали обратить внимание на «Семирамис-отель». Гостиница эта все более и более становится главной штаб-квартирой тайной австро-германской разведки в Петрограде.

Арканцев, наморщив лоб и шевеля губами, соображал.

— Какие-нибудь неприятные вести? — спросил Криволицкий.

— Ничего особенного. Я только лишний раз убеждаюсь, что мое чутье не обманывает меня. Однако дай на себя взглянуть, дружище...

Криволицкий в своих бумажных воротничках, потёртом пиджаке, в обтрёпанных коротеньких панталонах с бахромою и в нечищенных, вот-вот готовых лопнуть по всем швам ботинках — во всей этой неприглядности изголодавшегося в нужде человека, пожалуй давно не бравшего ванны, оставался, однако же, барином. Общипанный, всклокоченный, лохматый, но всё-таки барин. И фигура,

стройная, сильная, и красивая голова, обращающая внимание своей положительно экзотической яркостью красок.

Арканцев вспомнил далекие годы, вспомнил белые стены училища, с белыми колоннами и мраморными бюстами в нишах. Широкий светлый коридор, стройный смуглый юноша. В чёрных кудрях, в куцей, до пояса куртке с мягким отложным воротничком, что своей белизною подчёркивал густую и нежную матовость лица. Это — Вовка, общий любимец, способный, увлекающийся то поэзией, то картинами, то гимнастикой, то цыганщиной.

И вот прошло двадцать лет, и он останавливает на улице прохожих...

— Скажи, Вовка, на милость, как это в самом деле ты?..

— Как дошел я до жизни такой? — улыбнулся с горечью Криволицкий... Изволь... Это и очень просто, и очень сложно. Помнишь, мы были в последнем классе? Помнишь этот дурацкий картёж в меблированных комнатах? Пришлось уйти «за пять минут» до выпуска. Ты это помнишь, конечно... Умер отец,

трудно сказать отчего. То ли от воспаления лёгких, то ли от горя, что меня вышибли... Восемьдесят тысяч, которые он мне оставил, я решил превратить в миллион. Помчался в Монте-Карло экспрессом и вернулся оттуда в третьем классе. Ну и пошло!.. Где я только не служил, чего не пробовал! Ездил акцизным чиновником в Пермскую губернию, но сбежал и оттуда. Слишком дикая жизнь! Я не лентяй, не тунеядец, я умею и даже люблю работать. Но я неудачник и пустоцвет. Последнее время я кое-как пробавлялся мелкими репортажами в одной газете. Но газета закрылась, а сунуться в другую не хватило духу — так обносился.

И вот живу в конуре, из которой меня гонят за неплатёж...

Арканцев укоризненно покачал головой.

— И это при твоих блестящих данных! Наши с тобою сверстники Волоховской и Книппе ворочают губерниями. А ведь ты был умнее и талантливее...

— Может, потому и ворочают, что глупей и бездарнее?

Арканцев строго посмотрел на него.

— Ого, ты, кажется, либерал!..

На пороге вырос Герасим.

— Ваше превосходительство, пожалуйста к столу.

Сели. Арканцев положил себе для виду кусок жирной, подернутой янтарём осетрины и сказал Герасиму:

— Когда надо будет, позову.

Остались вдвоём.

— Давно я не видел порядочной сервировки... — молвил Криволицкий.

— Только ты не особенно сразу налегай. Говорят, после долгой диеты, накидываться вредно...

Арканцев с удовольствием наблюдал Вовку. В своём бродяжническом бездомовье он не успел охамить-ся, растерять манеры воспитанного человека. И хотя голоден адски, — так ест, любоваться можно. Не забыл, что к рыбе полагается плоская вилка, и великолепно орудует ею с помощью кусочка хлеба. Руки — белые, опрятные, породистые. Исхудали, но это дело наживное.

Вовка насытился. Арканцев подвинул ему сигары, сам закурил.

— А теперь поговорим... Я могу тебе предложить хорошее место.

— Ты не шутишь? Положительно я отказываюсь верить. Точно в романе! Впрочем, жизнь разве не самый увлекательный из всех романов? До чего я благодарен тебе!

— Благодарить будешь потом, — своей работой! Это наилучший вид признательности. Слушай: ты получаешь от меня тысячу рублей на полную экипировку. Ты должен превратиться в джентльмена с головы до ног. В два дня! Я протелефонирую моему портному, чтобы он экстренно одел тебя. Жалованье — пятьсот рублей плюс «бенефисы», если ты их заслужишь...

— Чёрт побери, да ведь это же... Но что я должен делать?

— И очень много, и очень мало... Через два дня ты должен въехать с несколькими дорожными чемоданами в «Семирамис-отель», занять номер и жить... Ты будешь получать от меня инструкции. Надо неусыпно следить за целой пачкой подозрительных личностей.

— Послушай, что ты мне предлагаешь? — перебил Вовка. — Я голодный, нищий, хули-

ган, богема, но...

— Успокойся и дослушай. Это не внутренняя политика, не уголовщина. Можно быть либералом, консерватором. Можно! Это дело убеждений и вкуса. Но необходимо любить Россию. Здесь речь идет о наших чужестранных врагах. Ты можешь принести отечеству большую пользу...

— О, в таком случае можно ли колебаться! Согласен, тысячу раз согласен! И чем опасней игра, тем это мне более по душе...

3. Великий инквизитор

Итальянская графиня Юлия Тригона и американец Прэн говорили между собою не по-итальянски и не по-английски, а по-немецки, причём в акценте графини было что-то венское, а Прэн твердо и резко, с горловым скрипучим похрипыванием чеканил свои фразы, как самый завзятый пруссак.

Он мало говорил. Весь ушел в еду. Но это не был смакующий каждый кусочек обжора. Он превратил в работу, в дело питание своего здорового и крепкого тела. Этот ростбиф, который он основательно жевал острыми зуба-

ми, являлся для него маслом, смазывающим машину, чтоб ловчей и проворней двигались стержни, кружились блоки и ритмичней свершали свой бег рычаги.

Человек, сам того не подозревая, удивительно «обнажается» во время еды. Графиня Тригона следила за своим собеседником. Она слышала много об этом Прэне, но познакомились они лишь сегодня. Графиня наблюдала работу его челюстей. И в том, как двигались они и вместе с ними шевелились под кожей твердые скулы, в тупом, лишь на время тупом, выражении тусклых, без блеска глаз, глубоко угнездившихся под выступом надбровных дуг, в линиях скошенного лба, во всем этом угадывался хищник, и хищник незаурядный. В то же время Прэну нельзя было отказать в своеобразной, мужественной красоте. В этой жестокой красоте чувствовался не то охотник на львов, не то каторжник. Хотя Прэн вряд ли охотился когда-нибудь за царём пустыни, а для того чтоб очутиться на каторге, был слишком осторожен.

И графиня Тригона, перевидавшая на своём веку немало сильных людей и железных

характеров, без колебаний решила, что этот человек умеет при желании быть и опасным, и страшным.

Весь из сухих нервов и мускулов, Прэн был врагом кейфования. Лакеи — он торопил их — не успевали подавать ему смену блюд. В четверть часа он покончил с обедом и одним глотком влил в себя чашку горячего кофе.

— Графиня, с вашего разрешения мы поднимемся к вам и на свободе поговорим о делах...

По ковровым ступенькам они направились вверх к громадным стеклянным дверям. И все, кто любовался графиней, когда она сидела, теперь жадно спешили проверить свое впечатление. Сплошь да рядом бывает: сидит женщина — глаз не оторвешь. Встала — исчезло все очарование. Нет фигуры. Мал рост или коротки ноги. Юлия Тригона с честью выдержала экзамен — её фигура оказалась царственно-высокой, гибкой и гармоничной.

Провожавший графиню своими жирными, как оливки, глазами черномазый дирижер-скрипач даже сфальшивил, а сидевший в большой компании молодой итальянец пу-

стиль ей вслед:

— Un bel pezzo di donna![4]

Графиня, услышав этот наивно-циничный комплимент, улыбнулась.

Такой же перекрестный огонь взглядов — и в обширном вестибюле, переходившем в белый читальный зал. С шелестом опускались, как занавес, газетные «простыни», и мужские головы, молодые и старые, плешивые и волосатые, смотрели ей вслед... Это уже походило на триумфальное шествие. Даже в букете шикарных женщин международного типа, украсивших «Семирамис-отель», графиня Юлия Тритона заметно выделилась в первый же день своего появления.

Величиною с комнату лифт плавно поднял вместе с графиней и Прэном еще несколько человек. Мужчины поклонились графине. Она ответила сдержанно, без улыбки. Спутник её, как воспитанный джентльмен, приподнял свой котелок по адресу тех, кто приветствовал его даму.

В конце длинного коридора с красным ковром и двумя шеренгами белых дверей — номер из небольшого салона, уборной и спаль-

ни. Повсюду чемоданы, облепленные ярлыками всевозможных отелей. Один сундук (ему не было места в салоне) приютился в коридоре.

— Количеством своих чемоданов графиня смело может соперничать с любой оперной примадонной! — заметил Прэн.

— Бог мой, какая же молодая женщина, если она только не урод и желает нравиться, не возит за собою гибель всевозможных тряпок? — молвила графиня, вся отражаясь в зеркале и снимая свою черную шляпу. Она сразу стала меньше ростом и если пропал общий декоративный эффект всей фигуры, зато можно было восхищаться пышностью волос, не чёрных, не каштановых, а цвета темной, очень темной мадеры. Такие волосы нельзя назвать ни рыжеватыми, ни рыжими — у них свой собственный цвет. Они собраны были на затылке модным упругим узлом. Но если этот узел распустить — такой хлынет волнистый, живой и ароматный плащ, в котором запутался бы и сам Иосиф Прекрасный. В Европе, где ее знали лучше, чем в Петрограде, потому что здесь ее пока совсем еще не знали, в ди-

пломатических кругах настойчиво ходила легенда, как в этих волосах, — с ума свели его — запутался министр иностранных дел одной великой державы. И незаметно для себя, но весьма ощутительно и заметно для Сербии, проспал, в буквальном значении слова, «проспал» аннексию Боснии и Герцеговины...

Следивший за движением красивых рук, так пластично переходивших в покатые плечи, Прэн, улыбаясь глазами, — линия губ оставалась жесткой, — молвил:

— Нам с вами, графиня, такой обильный багаж подчас может явиться досадной обузой. Двенадцать лет назад, здесь, в Петрограде, и значительно позже в Брюсселе, я вынужден был покинуть обе эти столицы с такой быстротой, что о судьбе чемоданов не было ни охоты, ни времени подумать. Главное — книжечка аккредитива, наличность золотом и бумажками и — безукоризненный паспорт!.. Все же остальное — сущие пустяки, если вдобавок мозг ваш работает с неотразимой гибкостью и логикой. Но это лишь так... Зачем касаться вещей, которые в нашем с вами ремесле — да, ремесле, не будем бояться точных

определений, — являются оборотной стороной медали и весьма неприятной стороной? Я не за этим испросил разрешения подняться к вам... Я здесь уже несколько дней. Необходимо было дожидаться вас. Послезавтра я уезжаю... Куда и зачем — вы узнаете позже. Я хочу предложить вам союз, графиня. Не деловой, нет! Деловой союз уже существует между нами, и, полагаю, довольно прочный. Иным он и не может быть у людей, которые слишком хорошо знают друг друга заочно, хотя и познакомились только сегодня. И прежде всего знают, что американец Прэн вовсе не американец и не Прэн, а чистокровный бренденбургец Флуг... Мне же доподлинно известно, что вы не итальянская графиня Джулия Трифона, а венгерская — Ирма Чечени.

— Что же вы мне хотите предложить? — спросила Ирма, закуривая папироску и подвигая Флугу тоненький, узенький золотой портсигар.

— Что? — переспросил он, и под его костистым, скошенным, волчьим лбом в первый раз вспыхнули тусклые тяжелые глаза. — Я предлагаю вам стать моей любовницей...

Ирма не удивилась. Ее мудрено было удивить. Пустив дым колечком, она сказала:

— У вас это так выходит, словно вы предлагаете мне конфет...

— А какая же разница между обладанием и конфетами? И то, и другое должно быть вкусным. Мы живем нервами. Живем на вулкане между нашим отелем, нашей работой и экспрессом или океанским пароходом и... черт знает чем еще... Нам нет времени влюбляться, сентиментальничать. Мы горим, кипим, и надо с философским стоицизмом относиться к мысли, что меня, как мужчину, могут в любой момент расстрелять или повесить. А вас, как женщину, вдобавок такую прекрасную, пощадят, с тем, однако, чтоб из комфортабельного отеля перевести в более скромный и бесплатный, который называется тюрьмою...

Она вздрогнула.

— У вас удивительная манера говорить неприятные вещи!..

— Я не закрываю глаз. Я готов ко всевозможным случайностям. Итак, вы понравились мне с первого впечатления. Мне все нра-

вится в вас. И тело, и этот большой обещающий рот... В нем что-то восточное, хотя вы не смуглы и не черноволосы. Это объясняется вашей венгерской кровью. Я почти не встречал венгерок с маленьким ртом... Вдумайтесь, какие богатые перспективы, если мы будем связаны с вами не только одной общей работой!.. Какого наставника и руководителя встретите вы во мне! Вдвоём с вами, графиня, мы создадим такую силу, такую мощь, перед которой многое, очень многое согнется. Мы будем — власть! Не внешняя, украшенная чинами и знаками отличия. Это банально, казенно, а следовательно, и скучно. Гораздо больше обаяния в тайной власти. Вспомните расцвет иезуитизма, когда скромный, почти неведомый инквизитор в черной, аскетической сутане, надавливая какие-то невидимые пружины, превращал в послушную марионетку его святейшество папу римского, в свою очередь выдерживавшего босиком на снегу королей и даже императоров. Да-да! Монах в сутане, бичевавший свое сухое тело веревкой и питавшийся овощами! И это не мешало ему быть если не великим инквизитором, то, во всяком

случае, существом, не человеком, а именно существом, громадной силы власти. И если уж говорить правду, это и есть настоящая поэзия, а не та слащавая и жалкая дребедень, о которой говорят на каждом шагу и о которой пишут в книгах стихами. Вы слышали обо мне, но вы не знаете десятой доли, на что я способен и какие пружины случилось мне нажимать, мне, современному чернильному инквизитору двадцатого века... Итак, я жду вашего ответа. Он должен быть категоричен — да или нет. Здесь не должно быть колебаний, размышлений. Зачем вся эта канитель? Я верю в половой инстинкт, безошибочный с первого же взгляда мужчины на женщину, и наоборот. Вопрос решается просто. Нравлюсь ли я вам как самец, как животное, как нечто могущее вам дать наслаждение? Зачем вся канитель? Oder — oder?..[5] Одно только слово. И тотчас же, независимо от вашего ответа, будь он утвердительный или отрицательный, мы перейдём к очередным делам, в которые я вас обязан посвятить...

Флуг умолк и тяжелым тусклым взглядом, согнувшись, исподлобья уставился на Ирму...

4. Волшебные «перспективы»

Ирма спокойно выдержала его взгляд своими восточными глазами венгерки и так же спокойно молвила:

— Нет!..

Флуг слегка откинулся, закусил губы, но тотчас же овладел собою, и лицо его было каменное, бесстрастное.

— Я люблю лаконизм. Нет — и кончено! И мы забудем! В таких случаях господа мужчины ужасно любят допытываться, убеждать, умолять. Этим они идут на тысячи бесполезных унижений. Я выше всех этих глупостей. Я ни в чем не убеждаю и ничего не вымаливаю. Я, который привык брать все по праву. По праву хищника! Но, милая графиня, ваш покорный слуга не считает себя побеждённым. Он лишь на время отступает, пряча когти до первого удобного момента...

— А вы полагаете, Флуг, такой момент настанет?..

— Не сомневаюсь.

— Бог мой, какая самоуверенность.

— Что делать, берите меня таким, каким

меня воспитала жизнь.

— Милый Флуг, отчего же вы не требуете от меня хотя бы самого краткого объяснения, почему я сказала вам «нет»?..

— Я не желаю никаких объяснений.

— Но я желаю! Потрудитесь, милостивый государь, считаться и с моей волей! — полушутя-полураздраженно бросила ему Ирма. — Все я да я! Избаловали вас! Вот вы и сами себе кажетесь каким-то сверхчеловеком.

Флуг, пожав плечами, снисходительно улыбнулся.

— Да-да. Не улыбайтесь, пожалуйста. Не успели мы познакомиться, а уже начинаются между нами чуть ли не семейные сцены. И это между сообщниками. А кто виноват? Вы, вы, который вместо строгой деловой почвы...

— И я прав тысячу раз, — перебил Флуг. — Обладание, телесная связь — наилучший цемент, скрепляющий в деловых отношениях мужчину и женщину. Я вам обещал волшебные перспективы и такую власть, от которой закружится любая, самая крепкая голова. Вы же своим «нет» похоронили если не навсегда эти сказочные перспективы, то на время. Но

довольно об этом. Перейдём к делу. Вряд ли нам удастся поговорить толком до моего отъезда. Я буду метаться, буду пропадать по целым дням. Я должен увидаться с десятками людей, получить от них сведения и дать им, в свою очередь, новые распоряжения и директивы... Но — не подслушивают ли нас?.. И хотя я выработал привычку говорить тихо, стены, кажется, довольно тонки... Хорошо, что глухие и нет дверей к соседям. Я личным опытом знаю, сколь предательская вещь — замочная скважина.

Флуг хищным, упругим движением встал и одну за другою распахнул обе двери в коридор... Никого, ни души. Только прошмыгнул мимо лакей, неся куда-то в номер шампанское в тяжелой вазе со льдом.

Флуг опустил в кресло.

— Ничего подозрительного, хотя необходима дьявольская осторожность... Итак, я уезжаю дней на двадцать, а может быть, и на месяц. За это время должен побывать в невероятном количестве мест. Если б сутки имели вместо двадцати четырех часов девяносто шесть, и то каждая минута была бы рассчита-

на. Первым делом на несколько дней в Царство Польское. Необходимо лично убедиться в тамошних настроениях, а главное, обрешивать своих агентов, как оседлых, так и кочующих. Мне необходимо крайнее напряжение сил. Знаменательный час, к которому Германия неусыпно готовилась сорок три года, близок. Так близок, что даже страшно!.. Несколько минут назад, графиня, я говорил вам о тайном могуществе людей, подобных нам. Об этой глубоко скрытой власти, которую можно сравнить только разве с властью былых инквизиторов, что вершили в своих загадочных тайниках мировую политику. Сейчас вы увидите пример, едва ли не самый яркий и неслыханный по своей захватывающей, стихийной грандиозности... Вот мы с вами сидим сейчас в номере отеля одной из столиц самого необъятного государства нашей планеты. И никто, ни одна живая душа из всего двухсотмиллионного населения, от Калиша[6] и до Сахалина, и от Архангельска до Севастополя, не подозревает, что в конце лета вспыхнет чудовищная война, которой еще не видела земля с тех пор, как живет на земле человек...

В восточных глазах Ирмы зажглось любопытство.

— Неужели так близко... это?..

— Очень близко! Нельзя, вы понимаете, нельзя больше ждать! Россия многому научилась, и с каждым годом все крепнет и растёт её военная мощь. И параллельно с этим Франция все вооружается и вооружается. Надо положить конец этому!.. Иначе пройдет еще несколько лет, и Германия очутится в тисках, которые, почему знать, могут ее раздавить. Ждать было бы преступлением. Спасая себя и не дожидаясь рискованных возможностей, мы первые должны взять в руки инициативу и сокрушить наших заклятых врагов с востока и запада.

— А предлог, мотив? — спросила Ирма.

— Предлог? Он уже готов, созрел! — жестко усмехнулся Флуг с сознанием своего бесконечного превосходства над этой женщиной, красивой, умной, лукавой, но все-таки женщиной. — И какой великолепный предлог! Если бы Макиавелли, Маттерних, Талейран и Бисмарк встали из своих гробниц и явились бы сюда послушать, от восторга у них разо-

рвалось сердце.

— Флуг, не томите меня. Я горю нетерпением, а это со мною случается редко...

— Я горжусь тем, бесконечно горжусь, — продолжал Флуг, вдохновляясь и не слыша, — что я, сидящий перед вами, лейтенант в отставке Эрнест Флуг — далеко не последняя пружина во всем этом адском механизме, который взрывом своим потрясёт целый мир. Через каких-нибудь шесть-семь недель в Боснии начнутся маневры с участием эрцгерцога Франца-Фердинанда... Эти маневры — его могила!

— Как?

— Так! Он не вернется оттуда, или, если хотите, вернется в гробу, чтоб навеки успокоиться в подземном склепе церкви Капуцинов, этой фамильной усыпальницы ваших Габсбургов. Мы решили вычеркнуть Франца-Фердинанда из списка живых, и вот вам предлог к войне... Уже заготовлена пара сербских юношей, наэлектризованных мстостью за аннексию Боснии-Герцеговины, аннексию, душой которой был покойный, я уже его считаю покойным, эрцгерцог. Итак, эти мальчишки

убивают его. Австрия и Германия открывают яростную кампанию и в газетах, и в политических кругах против Сербии и сербского правительства, якобы подготовившего сараевское убийство.

Австрия, вернее Германия за спиной Австрии, требует от Сербии удовлетворения, ставя самые унижительные условия. Условия, на которые Сербия не может пойти. Тогда Австрия объявляет войну. Россия ни в каком случае не может остаться равнодушной и отдать Сербию на растерзание... Слишком глубоко сидят в ней эти рыцарские традиции по отношению к балканским славянам. Первая кавалерийская стычка между русской и австрийской конницей — это будет ком снега, неудержимо превращающийся в лавину. Сейчас же встаёт Германия, и в ответ поднимается Франция. Четыре великих державы начнут между собою неслыханную войну, с участием миллионных армий. В шесть недель вся война будет ликвидирована. В шесть недель!.. Ни Ганнибалу, ни Цезарю, ни Наполеону никогда не мерещились такие завоевательные походы... Германия все свои силы устремляет на

Францию, разбивает ее и, заключив железный, постыдный для нее мир, перебрасывает все свои десятки корпусов на Восточный фронт. В результате — аннексия Прибалтийского края и Царства Польского. И тогда Германия станет величайшей державою на земле, и все будут её вассалами, и, кому захочет, властно продиктует она свою волю...

Флуг, в изнеможении, как под придавившей его своею тяжестью этой новой, возвеличившейся Германии, откинулся на спинку прямого глубокого кресла. Взгляд его, неподвижный и тусклый, вспыхивал победным торжеством.

— Что же вы не ликуете вместе со мною, графиня? Неужели вас не захватила вся эта набросанная мною картина, в эскизах к которой я, Эрнест Флуг, далеко не последний художник?.. И после этого хватит ли смелости сказать, что я не поэт?..

— Вы правы. Хотя... в этой поэзии что-то фанатическое, изуверское, я бы сказала — мы ведь свои люди, стесняться нам нечего — как торжное...

— Не бойтесь слов, графиня. Слова — это

холостые выстрелы, которых бояться нечего. Да, каторжная! Другою она и не может быть у человека, балансирующего между виселицей, пригоршнями золота, благодарственным, тайным пожатием руки своего монарха и чем-то еще, чего он сам хорошенько не знает... Однако я заговорился, а мне надо побыть сегодня еще в разных концах города. Вернусь я глубокой ночью, и подробные директивы, что делать, с кем познакомиться и какие собирать к моему возвращению сведения, вы получите завтра. С дороги я буду переписываться с вами шифрованными телеграммами. Я каждый день должен быть в курсе вещей. Шифр самый примитивный и самый безопасный, хотя и кропотливый, требующий времени. Этот шифр был излюбленным шифром Наполеона. Так он переписывался с Бертье, когда этот маршал находился в Испании. У вас и у меня одна и та же книга. Каждая буква определяется тремя цифрами. Первая обозначает страницу, вторая строку, считая сверху, и третья искомую букву — слева направо. Я купил два французских томика. Это роман Феррера «Цвет цивилизации». Не

спрашиваю, знаком ли он вам, так как уверен, что вы его читали. Книга довольно безнравственная и беспощадно характеризующая вырождение наших милых соседей — французов. Один томик оставлю вам, другой возьму с собою. А теперь откланиваюсь... Внизу меня ждет мотор.

Он встал. Она протянула ему вспыхивающую огнями колец красивую, узкую руку. Флуг не поднёс ее к губам, ограничившись пожатием.

— Этот вечер будет для меня памятным. В первый раз я услышал от женщины слово «нет»!..

— В первый раз... Вот видите, Флуг. Это уже внесло разнообразие. Не так банально, по крайней мере... А на прощание разрешите дать вам маленький совет: прежде чем ставить женщине ультиматум, — вот что значит профессия, так и одолевают политические термины, — прежде чем ставить ультиматум, говорю, дайте себе труд хоть немного разобраться в ней. Одним это нравится, и они охотно говорят «да». Что же касается других, пусть они порочны, грешны и даже преступ-

ны, у каждой в глубине где-то сохранилась и бьется, как задыхающаяся птица в клетке, тоска по настоящему, искреннему чувству, или хотя бы по его миражу, по иллюзии. Ведь сидя в театре, принимаем же мы иногда хоть на миг декоративный эффект за луч солнца. И даже потерянная женщина, для которой торговля телом — её ремесло, даже она вместо прозаического «оголения» всегда охотнее предпочтёт что-то вуалирующее, прикрашивающее... И если ее не обжигает настоящее солнце, она готова забыться даже в сиянии бутафорских лучей с парусинного неба. Вот и все. До завтра, Флуг...

— До завтра... Благодарю за совет! — сухо молвил Флуг с ироническим поклоном.

5. Превращение

Холодный, не чуждый весьма и весьма практической сметки арканцевский такт подсказал молодому сановнику: «Хотя Вовка, несмотря на всю свою скитальческую цыганщину, малый порядочный, и к тому же еще — это уже совсем редкость среди таких наполовину опустившихся — ничего не пьет, однако выдать ему сразу всю экипировочно-подъемную тысячу — дело рискованное. Глупостей, пожалуй, наделает и разбросает зря, опьянев при виде радужных, цветного веера, из десяти портретов матушки Екатерины».

И Арканцев дал ему на руки половину.

— Это тебе на ремонт белья и на чемоданы. А счета портного сам заплачу. Все свое будущее благосостояние и процветание ты держишь в собственных руках и под собственным черепом. Но помни, Вовка! Это я тебе говорю не как Леонид Евгеньевич Арканцев — Владимиру Никитичу Криволицкому, а как Ленка — Вовке. Будет все гладко и удачно — тебе простится какая угодно дерзость, в смысле способа достижения. Но споткнешься, сде-

лаешь какой-нибудь ложный шаг, скомпрометируешь себя — прощай! Я первый волей-неволей должен буду отвернуться от тебя, и уже никакие идиллические воспоминания о счастливых годах совместной юности нашей на Фонтанке не заставят меня быть прежним. Это я считаю своим нравственным долгом тебе сказать, чтобы ты не пенял потом на меня. Мне нравится твое молчание... и что без всяких уверений и обещаний ты смотришь на меня своими «ассирийскими» глазами... это хорошо. Это залог успеха...

Криволицкий сам не знал хорошо, с материнской, отцовской ли стороны, и когда это было, и в каком поколении, но только несомненно текла в его жилах горячая южная кровь, наделившая его красивою голову такой густой курчавой шапкою чёрных волос, хлынувшая к щекам буйным и знойным матовым румянцем и поработавшая над тонким удлинённым разрезом глаз, которые превосходительный Леонид Евгеньевич назвал «ассирийскими».

Она, эта мятежная кровь, толкнула его много лет назад на глупый мальчишеский

картеж в меблированных комнатах, — и он должен был «без пяти минут» оставить училлице. Она же впоследствии толкала его на десятки других, более грубых и фатальных глупостей. И она же, в конце концов, заставила его, человека хорошей породы и хорошего воспитания, выйти с протянутой рукою и клянчить «на французском диалекте»...

Но спокойный и регулярный, как механизм идеальнейшего на свете хронометра, Арканцев сыграл для него роль беспощадно-ледяного душа. В самом деле: ему стукнуло сорок с хвостиком. Стукнуло, и не пора ли из птички небесной опять, уже навсегда, превратиться в человека, носящего отличный, с иголочки смокинг и обладающего похвальной привычкою завтракать и обедать вкусно и тонко по примеру всех порядочных людей, которых он имел полное основание считать людьми своего круга.

И вот началось превращение. Явиться сразу в своих отрепьях к первоклассному портному-французу, было бы смешно и глупо. Необходима переходная ступень. Этой переходной ступенью был магазин готового пла-

тъя, из которого он вышел чрезвычайно приличным господином. А когда парикмахер остриг его чересчур «живописные» волосы и, тщательно вымыв голову душистыми эссенциями, расчесал их и в такой же порядок привел его разбойничью темную бороду, Вовка стал еще приличнее. Но и это были еще пока цветочки.

Портной француз — после такого первоначального ремонта уже не стыдно было явиться к нему — превратил его в великолепного джентльмена. Ценя рекомендацию такого солидного клиента, как превосходительный Леонид Евгеньевич, портной в сорок восемь часов одел Криволицкого с ног до головы.

И когда Вовка предстал «на инспекторский смотр», Леонид Евгеньевич, изменив своей замораживающей корректности и фарфоровой неподвижности лица, так и ахнул:

— Восторг! Один восторг! Я люблюсь тобой!..

Действительно, было чем любоваться. На высокой тонкой фигуре, словно выросшая вместе с нею, превосходно сидела черная визитка — последний крик моды, но без пшю-

товских излишеств и уклонений. Как снег, сутюженный полозьями, сверкало белье. Черная борода, суживающаяся книзу лопаточкой, в природных, отливающих синевою завитках, стилизуяще удлиняла овал красивого лица, всему облику сообщая впечатление чего-то ассирийского.

Арканцев поворачивал Вовку, оглядывая со всех сторон:

— Молодец! Картинка!..

Он повёл его завтракать к «Кюба», где всегда собирались к часу видные биржевики, генералы, чиновники элегантных канцелярий, блестящие гвардейцы. Словом, тот «весь Петроград», который любит встречаться там, где модно, шикарно и дорого.

И Криволуцкий сразу встретил знакомых. И они радовались ему, спрашивая, где он пропал и отчего так давно его не было нигде видно. И потому что с независимым видом, одетый с иголочки, он был вместе с молодым, многообещающим сановником, ему приятно улыбались те самые, что раньше при встрече либо отворачивались, либо погружались в созерцание ближайшей витрины. Таково уж

свойство души человеческой. Чем менее вы нуждаетесь в людях, тем они искательней, хотя ни корысти им от вас, ни пользы — на грош медный.

Тактичная переходная ступень между чуть ли не лохмотьями и дорогим арканцевским портным в виде магазина готового платья сопровождалась такой же переходной ступенью и в квартирном отношении. Было бы дико вместе с желтыми английскими чемоданами переехать в «Семирамис-отель» из подслеповатой, пять шагов в длину, низенький потолок опускался на голову конуры. И поэтому Криволуцкий съехал на день в чистые меблированные комнаты на Морской. Прощание с хозяйкой было трогательное. Эта рыхлая, бранчливая вдова писца казенной палаты, укорявшая Вовку за неплатёж, теперь, когда он рассчитался с этой почтенной особой не только за себя, но и за своего соседа по комнате безработного репортера Кегича, пришла в умиление и даже всплакнула.

— Сокол вы ясный! Да что сокол, прямо орел поднебесный! Ведь вот глянуть на вас: костюм и все такое... Да хоть на самый пер-

вый распропервый генеральский бал! Всегда желанным гостем будете. Я всем говорила, вот и Дмитрию Петровичу, и старшему: Владимир Никитич наш, когда и в худых делах, все-таки барином был, барином и остался. И вот послал вам Господь... И меня, бедную сироту вдовью, не обидели...

Репортёр Кегич, плотный, развязный, бывавший на коне и под конём человек, буравя Криволуцкого своими, как гвозди, острыми, бегающими глазами, стиснул ему руку.

— Всего лучшего, дорогой Владимир Никитич. Ваши дела поправились, и вы уходите назад в тот круг, из которого на время ушли. Авось увидимся. Гора с горой не сходятся... Но если я когда-нибудь вам понадобится, — может все случиться, — я к вашим услугам. Я сохранию об вас лучшие воспоминания. Вам, разумеется, от этого ни тепла, ни радости, но в моих собственных глазах это имеет цену, так как вы знаете мои отношения к людям вообще. Я их в достаточной степени презираю...

На ресницах Кегича блеснули крупные слезы. И трудно было сказать, действительно ли теплое чувство к временному соседу и со-

жителю выдавило их, или те несколько рюмок водки, что вонзил в себя Кегич в соседнем трактире. Вернее, и то, и другое вместе...

Во всяком случае, Криволуцкий был тронут. Этот плечистый, в летнем пальто с поднятым воротником, заменявшем халат и пиджак, человек, в самые тяжёлые минуты проявлял такое участие, которого Вовка никогда не забудет. Последним делился.

Криволуцкий обнял его, золотой сунул в руку.

— Зачем?

— Пригодится.

— Я-то, дурак, еще спрашиваю, зачем? Мало ли какие дыры надо заткнуть. Пятерку брошу почтенной саренской вдовице, чтоб не скулила, а остальные — пропью. Я уже стосковался по четвертинке доброго коньяку с тремя звездочками... Ну, не поминайте лихом! И еще раз — всегда и в любой момент к вашим услугам.

Криволуцкий съехал в меблированные комнаты, а еще через день фисташковый мотор подвёз его вместе с солидным багажом, багажом настоящего джентльмена, к «Семи-

рамис-отелю».

Криволуцкий нервничал, испытывая какое-то новое охотничье чувство... Здесь, среди этих уюта и комфорта, начнется другая жизнь, авантюристическая, пожалуй, с интересными приключениями. Словом, то, к чему его всегда тянуло. Ему было странно и смешно при мысли, что с этого дня он становится каким-то политическим Шерлоком Холмсом...

С первого впечатления это был заметный постоялец, заметный своей внешностью знатного ассирийца, словно сошедший с барельефа какого-нибудь каменного саркофага, найденного при археологических раскопках. Сам главный директор отеля господин Шнейдер, лысый упитанный блондин с военной выправкой, гладчайше улыбаясь, разлетелся к Вовке:

— Мосье желает целый компартиман, не правда ли? Маленький салон, маленький спальня, уборная, маленький комнат для багаж?..

— Нет, я пока ограничусь небольшой комнатой, рублей в пять-шесть...

Господин Шнейдер, имевший желание подняться вместе с Криволуцким на лифте, сразу погас, исчезла его сладенькая улыбка, и, передав Криволуцкого одному из портье, он исчез...

Вовка обедал внизу, в ресторане. Обедал в смокинге и с белым цветком в петличке. Арканцев изменил на этот раз «Семерамис-отелю». Он был где-то на званом обеде, и Вовка сидел за столиком в единственном числе.

Но ему суждено было в этот вечер обедать в компании, о которой он на минуту и не подозревал. Большой соседний стол, накрытый на несколько приборов, снабжен был картоном «занято», воткнутым, как флажок, в металлический стержень. Около суетились лакеи, расставляя закуску. Минут через пять в обществе молодого офицера и молодого штатского вошли четыре дамы, вернее полная, уже перешагнувшая за вторую молодость, южного типа еще красивая дама, в черной шляпе — с тремя барышнями. Криволуцкий узнал тотчас же и эту даму, и двух её дочерей, таких же смуглых, как и мать, и офицера. Штатского и третью барышню, поменьше ро-

стом и посветлее, он видел впервые. Узкие ассирийские глаза Криволицкого встретились с большими темными глазами рубенсовски полной дамы. Вовка встал и поклонился. Она ответила ему так приветливо и с таким радостным удивлением, что не подойти было бы неловкостью, и он подошёл и, касаясь губами руки, спросил:

— Маркиза! Давно ли вы в Петрограде? Какой счастливый ветер занёс вас к нам из вашего прекрасного итальянского далека?..

6. Появление новых героев

Русский человек — мужчина ли, женщина, все равно, — тяжёл на подъем по самой натуре своей. И готов сиднем сидеть в своём городе или в своей усадьбе, ежели таковая имеется.

Но стоит лишь раз основательно сдвинуться с места, как русский человек превращается в заправское перекасти-поле. Житейским ветром подбрасывает его и несёт, несёт без конца по самым неожиданным путям самым затайливым зигзагом.

Так и дама с большими южными глазами,

которую Криволицкий назвал маркизой и с которой он несколько лет тому назад познакомился в Риме.

Горы Кавказа были её родиной. В этих горах её покойный отец всю свою жизнь бился с чеченцами, кабардинцами, черкесами и прочими, в достаточной степени дикими и страшными людьми. И когда умер, оставив жене и ребенку пенсию и крохотный капитал, обеих, мать и дочь, потянуло вдруг в Швейцарию. Там юная девушка, пленив сорокалетнего маркиза Франческо Реале, нашла свою судьбу, сделавшись маркизой.

И вот начинается жизнь, хоть и богатая, через край богатая, но скитальческая, с перебрасыванием всей семьи с горничными, боннами, гувернантками и невероятным количеством сундуков и чемоданов из города в город, из столицы в столицу, из курорта в курорт.

Сам глава редко сопровождал жену и дочерей в их путешествиях. Человек занятой, большой делец, ворочающий миллионными предприятиями, то объезжавший свои хлопчатобумажные плантации в Египте, то нала-

живавший какое-то грандиозное сахарное дело в Индокитае, маркиз не мог, да и не имел времени гоняться за семьей.

И несмотря на эти скитания, обе маркизины, Ливия и Маргарита, успевали, однако, воспитываться строго и тщательно не только дома, но и в католическом монастыре Сакр-Кэр под Парижем.

И вышли стройные, высокие девушки, неглупые, славные, начитанные, с безукоризненным знанием шести европейских языков и такой же безукоризненной манерою держать себя.

У маркизы в Риме на улице Четырех Фонтанов был свой палаццо. В Париже, на Елисейских полях, из года в год снималась квартира, и, кроме этого, кочевали они, в зависимости от сезона, с курорта на курорт, начиная с таких модных уголков, как Ницца, Остенде, Биарриц, и кончая такими скромными и полускромными, как Виареджио и Валомброза.

Как-то неожиданно скончался маркиз, уже на перевале за шестым десятком, оставив свои миллионы и свои все плантации дочерям и жене.

Дочери свято чтили память отца и — это было в духе их религиозно-монастырского воспитания — пожелали отслужить панихиду у гроба Господня. В результате — путешествие в Палестину, оставившее у обеих девушек впечатление мистической трогательной сказки.

Спустя два года маркиза вышла вторично замуж. Вот почему на приветствие Криволуцкого она ответила ему с мягкой улыбкой:

— Сколько лет мы с вами не виделись!.. Сколько воды утекло!.. Я теперь не маркиза Реале, а княгиня Долгошеева.

— Вот как, это для меня новость!.. Поздравляю, княгиня!..

Обе маркезины, и старшая Маргарита, с правильными чертами мурильевской Мадонны, и младшая Ливия, своей чрезмерной смуглотою и резкостью крупных черт, напоминая скорее испанку, мило, по-детски улыбались Криволуцкому. Он помнил их такими забавными подростками, а теперь...

С офицером, поручиком гвардейской конницы князем Солнцевым-Насакиным, Вовка был тоже знаком и в свои красные дни встре-

чал его, еще кавалерского юнкера. Сестру его княжну Тамару он видел впервые, как и молодого штатского, оказавшегося знаменитым авиатором. Агапеевым. В круглых птичьих глазах Агапеева было что-то соколиное, так идущее к «человеку воздуха».

Княгиня Долгошеева пригласила Вовку обедать в свою компанию. Криволицкий заметил с первых шагов, что Маргарита и высокий стройный офицер в галифе, красивом мундире и с большим родимым пятном на щеке, ничуть его однако не портившим, — на положении жениха, да-да, так оно и есть, — и невесты. Это замечалось и в том, как их посадили рядом, и в том, как смущалась и краснела Маргарита, опуская свои темные, прекрасные глаза чистой, неискушенной девушки. Медлительной и как-то величаво-плавной в движениях Маргарите, младшая сестра была оттеняющей противоположностью. В Ливии, которую книжна Тамара за её чрезмерную смуглость ласково прозвала «рамонёром» [7], сидел пострелёнок. Здесь, в ресторане, на толпе, Ливия подтянулась, и только живая улыбка, да лукавые огоньки в глазах выдавали

непоседливого постреленка.

И оказалось, что все живут в «Семирамис-отеле». И княгиня с маркезинами, и Криволицкий, и Агапеев недавно лишь вернувшийся из своих воздушных гастролей по Северному Алжиру. Все, за исключением княжны Тамары и её брата. Они жили в сорока минутах езды от города. Там стоял полк молодого князя. Там у них был старый отцовский дом, с фасадом и колоннами времён Империи. Получалось впечатление помещичьей усадьбы. Да это и была помещичья усадьба...

Криволицкий с первого же дня своего «превращения» очутился в обществе богатых, избалованных жизнью и, в сущности, праздных людей. И кругом такая баюкающая, «удобная» атмосфера. И даже смена блюд, и процесс насыщения, и глоток за глотком холодного искрящегося вина, — все это под развеживающую томную музыку с истерической чувственностью плачущих скрипок...

Маркезины Маргарита и Ливия — скромно и темно одетые, целомудренно пьют из больших тонких фужеров «эссентуки». Вина им не полагается. Да они и сами не любят вина, —

эти монастырские воспитанницы.

Княжна Тамара нет-нет и пригубит из своего бокала. Её удивительной нежности щеки пылают румянцем. А в зелёных, косовато, как у японки, прорезанных глазах с чуть поднятыми к вискам углами, вспыхивает что-то горячее и задорное... Агапеев украдкой смотрит на нее с молящей влюбленностью...

Все лицо княжны Тамары — одна сплошная неправильность, и это не мешает ей быть очаровательной. Вернее, усугубляет это очарование. И за белую, упругую шейку, такую молочную и твердую, за японский разрез глаз и бездну во всем, какой-то особенной, бьющей по нервам женственности, способной отуманить и более крепкую голову, чем юного авиатора, ей можно простить и чуть вздернутый носик и пленительную неправильность черт. Её губы умеют быть влажными, как вынутый из воды коралл, а темно-темно рыжеватые волосы пышностью своей могут поспорить с густым природным плащом ароматных волн графини Тригона.

Кстати, сама графиня здесь невадалеке, вместе с Прэном и еще каким-то громко и самодо-

вольно хохочущим господином упитанного вида с таким чудовищным бриллиантом на мизинце, — лучи его разбрызгиваются синевой, желтизною и радугой чуть ли не по всему залу...

Взгляды графини Тритона и княгини Долгошеевой встретились. Обе, пролорнировав друг друга, обменялись поклоном.

— Кто это интересная дама? — спросил Криволуцкий.

— Это графиня Тритона. Я познакомилась с нею этой зимою в Париже. Она была принята в лучшем обществе. Я ее встречала у принцессы Мюрат. Умна, эффектна, умеет одеваться и бесспорно красива. Этого у неё никто не отнимет... В салоне принцессы бывает довольно смешанное общество. Но попасть к ней, однако, не так уже легко... Кто муж этой графини Тригона и был ли у неё муж вообще — этого никто не знает.

— Зачем ей муж, раз она так прекрасна! — улыбнулся Вовка.

Княгиня и сама хотела улыбнуться, но у неё сделалось строгое лицо, и она показала своими южными глазами на дочерей. При

них, мол, не следует поднимать таких скользких вопросов. И делаясь более приветливой, молвила, резко меняя тему:

— А мои дочери сделали успехи в русском языке. С тех пор.... Читают, пишут и уже начинают говорить. Спросите их что-нибудь.

— Как вам нравится Петроград? — обратился Криволуцкий к Маргарите.

— Очинь хагоший гогод, — с какой-то особенно милой, ученической отчетливостью, мягко грассируя и конфузясь, ответила Маргарита.

— Вот видите! — с гордостью воскликнула княгиня. — А теперь спросите что-нибудь Ливию?..

— Я еще очинь плехо гавагю по-гусски, — не дождалась вопроса Ливия, так же отчетливо и так же грассируя, как и сестра. Но вышло это у неё резче и тверже. Да и вся Ливия была резче и тверже Маргариты.

— Княгиня, вы как-нибудь при случае будьте добры представить меня графине Тригона, — попросил Вовка.

— Отчего же, с удовольствием. Это можно сделать у нас. Я хочу, провести летний сезон

не здесь, и мы подумываем об отъезде...

— Куда?

— Сама не знаю, еще ничего не выяснилось... — И княгиня метнула взгляд по адресу занятых друг другом красивого, породистого кавалериста и вспыхивающей румянцем дочери.

«Вероятно, не за горами свадьба», — решил Вовка.

А за столиком графини Тригона говорили, в свою очередь о тех, кто сгруппировался вокруг княгини Долгошеевой.

Что касается Флуга, еще не уехавшего и задержанного срочными — они всегда были у него срочные — делами, он интересовался одним только Агапеевым.

— Обратите внимание, графиня, на этого молодого человека с птичьими глазами. Хотя лицо у него, как у девушки, усики едва пробируются и ему всего двадцать четвертый год, это один из знаменитейших русских авиаторов. И не только превосходный лётчик, но и серьезный конструктор с солидной технической подготовкой. Он изобрел удивительной устойчивости аэроплан, поднимающий

шесть человек и груз в три с половиною тысячи кило. Название этому аэроплану «Огнедышащий дракон». Он в самом деле огнедышащий, так как снабжен двумя митральезами, усовершенствованными опять-таки этим самыми молодым человеком... Не правда ли, господин Ландсберг?..

— Совершенно верно, — согласился упитанный обладатель чудовищного бриллианта.

— Таким образом, этот мальчишка является творцом и хозяином чрезвычайно ценного секрета. Секрета, расшифровать который было бы желательно, и чем скорее, тем лучше. Наши цеппелины — детская забава в сравнении с «Огнедышащим драконом», который является настоящей воздушной крепостью и крепостью весьма боеспособной... Графиня, соблаговолите внимательно выслушать все, что я вам сейчас скажу...

7. Вокруг да около

Флуг со своей опасливой повадкой хищника огляделся и продолжал тихо, чётким, выразительным, актёрским полушёпотом:

— Я очень рад, графиня, что вы знакомы с этой княгиней Долгошеевой. У вас, оказывается, везде хорошие знакомства. Судя по тому, как она ответила на ваш поклон, эта почтенная дама наилучшего о вас мнения. Дамские поклоны — это целый ряд всевозможных оттенков... Итак, я рад этому обстоятельству... Завтра же вы попадете к княгине Долгошеевой — не правда ли?.. А следовательно, и в её кружок. Относительно авиатора Агапеева у меня имеются определенные сведения... Я интересовался и прошлым, и настоящим этого молодого человека... Он влюблён в эту княжну с японскими глазами. Едва ли я ошибусь, назвав их женихом и невестой. Но в его счастливом возрасте мы готовы растаять и обмякнуть перед каждой мало-мальски интересной женщиной... Два года назад в Черногории, когда этот самый юноша летал над Скутари и ссадил австрийского летчика, он готов был

превратиться в послушный воск в пальцах командированной туда мною графини Пекано. Теперь эта раскаявшаяся Магдалина — жена видного французского офицера и уехала вместе с ним в Африку... Но мы найдём ее хотя бы в самой глубине Сахары и тогда... наступит час расплаты! Мстить мы умеем, как никто!.. — Лицо Флуга стало жестоким, и беспощадной тусклостью отливал его гнетуще-тяжелый взгляд... Он улыбнулся чисто механически, с участием лицевых мускулов, но без участия воли. — Однако перейдём от этого живого трупа к другой графине, более обольстительной — графине Тритона. Вот вам задача: вы прикидываетесь большой спортсменкой, и я должен получить от вас из рук в руки самые подробные чертежи «Огнедышащего дракона». Эта одна из нескольких задач, слышите?

Графиня медленно, в знак согласия, молча опустила голову, поднесла к губам папиросу, и синеватая струйка дыма была ответом Флугу.

Вскоре Флуг вместе с упитанным господином проводили графиню до лифта, а сами

умчались куда-то в громадном, чёрном, сверкающем автомобиле.

Утром Арканцев по телефону вызвал Криволицкого к себе.

— Как ты устроился, каковы твои первые впечатления и чем ты можешь меня порадовать?..

Хозяин и гость, ранний деловой гость, сидели в столовой. Арканцев перед министерством, куда он приезжал, минута в минуту к одиннадцати, пил свой утренний чай со сливками, намазывая маслом тоненькие, подогретье ломтики белого хлеба.

— Хочешь, позвони — тебе нальют.

— Нет, благодарствуй, я уже пил в отеле.

— Как угодно... У меня осталось четверть часа, и я весь — слух и внимание... Доволен своим новосельем?..

— Очень! С первого же дня созданся премиальный кружок. У нас там целая колония. Встретил княгиню Долгошееву с дочерьми.

— Знаю, — кивнул Арканцев.

— Бывшая маркиза Реале. Я бывал у них в Риме. Прелестный палаццо на «Улице четы-

рех фонтанов»...

— Знаю, дальше...

— Дальше... Познакомился со вторым мужем княгини — седой камергер, стройный, как юноша, несмотря на свои семьдесят пять лет. У него хрустальные глаза, когда-то красивые, а теперь — повыцвели...

— Знаю... Но, послушай, Вовка, я побеспокоил тебя в такой ранний час вовсе не для того, чтоб расспрашивать о твоём времяпрепровождении. Я знаю, что ты интересный сорокалетний молодой человек и в русской колонии «Семирамис-отеля» твоя ассирийская фигура всегда будет желанным украшением... К делу, милейший, ближе к делу...

— Изволь!.. Я познакомился с графинею Тригона. Очаровательная женщина. Её рот, губы — можно с ума сойти...

— А ты не сходи!.. Возьми себя в руки и по возможности не выпускай ее из поля своих наблюдений...

— Может ли быть?..

— Да-да, не спорь! Не климата же ради петроградского приехала она сюда! Ее гораздо более интересуется политическая погода...

— Ты думаешь?..

— Я не думаю, а утверждаю! — веско молвил Арканцев. На его зубах аппетитно захрустел поджаренный гренок.

— А и в самом деле, около неё все вертится какой-то англичанин, в котором больше немецкого, чем английского, хотя он и гримируется под джентльмена с берегов Темзы.

— И этого джентльмена предлагаю твоему особому вниманию. И если он вдруг внезапно исчезнет — такие милостивые государи всегда исчезают, — проследи хорошенько за его перепиской с обладательницей губ, которые тебя сводят с ума... Я не сомневаюсь, что они будут переписываться... Что ты еще успел заметить?

— Если хочешь, многое... Начиная с директора, вся администрация до конторы включительно — все немцы. В целой «пачке» метрдотелей — единственный француз — для «приправы». Остальные — немцы. В достаточном количестве имеется этот элемент и среди лакеев, хотя они стараются правильно говорить по-русски... Эта правильность их и выдаёт... Занявшись изучением топографии, я об-

ратил внимание на какие-то глухие, пустынные коридорчики, ведущие в укромные, хорошо замаскированные кабинеты. И характер этих кабинетов вовсе не кабинетский, а напоминают они скорее небольшие залы для каких-то заседаний. Я нарочно потребую как-нибудь открыть мне один из этих кабинетов...

— Главное — будь осторожен...

— Натурально буду! Зачем возбуждать лишнее подозрение?.. Да, знаешь ли, под впечатлением всего этого настолько разыгрывается фантазия, что мне уже начинает мерещиться тайный подземный ход, ведущий...

— Это уже область романтики. Нужны трезвые факты. Я сомневаюсь в существовании подземного хода. Это хорошо в бульварном романе, а в действительности посольство и гостиница могут великолепно сношаться — да и сносятся — самым простым и надземным путем.

Арканцев взглянул на часы.

— Мне пора! Я и так минут на пять опоздаю. Можем выйти вместе, и по дороге к министерству... Я этот путь всегда пешком де-

лаю. Моцион!

Дорогою Арканцев наставительно твердил своему спутнику:

— Помни, друг мой, ты должен, да-да, это твой долг, напрячь все свои способности, чтобы оправдать как мое доверие, так и расходы по твоему... — Он хотел сказать «содержанию», но спохватился: — Жалованью...

— Будь спокоен! Твоя мнительность преждевременна. Я слишком ценю все, что ты для меня сделал, и ни твоим доверием, ни казенными деньгами злоупотреблять не намерен. Постараюсь, в границах отпущенного мне сделать все возможное... С одной стороны — это довольно расплывчато, с другой — многообещающе. Я верю в себя и в свои силы... Да разве можно в чем-нибудь сомневаться в такое утро?.. Как ясен и чист воздух! И солнце, не наше белесое, чухонское солнце, а настоящее!.. Обыкновенно у нас здесь какой-то грязновато-жёлтый пластырь, а это — солнце... И я чувствую на себе его тепло, и ты чувствуешь...

— Я чувствую, что, заболтавшись с тобою, опоздал уже на целых десять минут. Твои поэ-

тические излияния я охотно выслушаю в более свободные минуты. До свиданья, мой друг, и надеюсь, до скорого.

Ленька движением трости, таким величавым и плавным, словно в его затянутой в перчатку руке был маршальский жезл, остановил проезжавший мимо таксомотор. Через минуту Арканцев был уже далеко.

Криволуцкий глядел ему вслед с улыбкой.

— Сухарь, чинуша! Все у него, и мысль, и время, — все по клеточкам, по расписанию...

И диву давался Криволуцкий, как это вдруг нашёл он ахиллесову пяту в неуязвимой, казалось, так плотно бронированной душе Леньки. Минутная слабость... Глянуло что-то мягкое, и теплое, и опять застегнулся на все пуговицы. А теперь, поди, кается в минутном порыве своём... Но Вовка готов ринуться на какие угодно жертвы, чтобы ему не пришлось каяться...

Он медленно шел через площадь, весь во власти ясного, безмятежного и бодрящего утра. Впереди своими колоннадами, портиками и всем гармоничным хаосом гранита, мрамора, колоннад и портиков стройно подни-

мался к голубым и чистым небесам дивный храм Исаакия. И вот-вот, казалось, чугунные ангелы, расправив свои крылья, улетят в далекие надоблачные выси...

А ближе — заспанным, угрюмым казематом громоздилось посольство, и, как это часто бывает, Вовка, много раз проходивший мимо этого здания, только сейчас, этим ясным утром, когда восприимчивость глубже и острее, заметил прежде как-то ускользавшее. Обратил внимание и на такую нарочито грубую архитектуру посольства и на венчавшую его каменную группу из двух лошадей и двух спешенных голых всадников. Античные римляне, подобные «квадриги», вдохновляли особенным и монументальным величием. Это были действительно героические лошади и люди, созданные великим народом. А здесь — одно тяжеловесное, громоздкое неприличие. Нагота умеет быть прекрасной и целомудренной. Здесь она бесстыдна и безобразна. В этой группе целиком сказался весь народ германский, народ-выскачка, народ-бюргер, народ-солдафон, влюбленный и себя и в свою надутую, чванную мощь. Мощь без права, без

исторических заслуг, без тех благородных традиций, тайною которых владели древние римляне...

Вовка перенесся на мгновение в Берлин, вспомнил мещански-сусальную роскошь всех новых зданий, что воздвигались с такою поспешностью неожиданно разбогатевшими после семидесятого года самодовольными «парвеню», вспомнил безвкусные памятники, «Аллею побед»... И вот с берегов мутного и грязного Шпрее они и сюда перенесли свое нищенство красоты и духа... Но без того сусального золота, что на каждом шаге там оскорбляет воспитанный взгляд. И это нарочно! Они хотят кого-то запугать этими скучными массивами острожных стен...

Вовка шел по Морской вдоль гранитного фасада. Навстречу — знакомая фигура. Это англичанин Прэн, в черной визитке и в чёрном котелке. Брошено пальто через руку. Тусклый, тяжелый взгляд на бритом, скуластом лице. Этот взгляд с каким-то наигранным безразличием встретил ассирийские глаза Криволицкого. Прэн вошёл в подъезд посольства. С манерой своего здесь человека вошёл.

С каким удовольствием последовал бы за ним Криволицкий. Но вместо него мы это делаем, нахлобучив по самые брови шапку-невидимку...

8. Картонный паяц

Флуг чувствовал себя в посольстве, как дома. И хотя ему сказали, что граф ждет его в своём кабинете, он задержался в тронном зале, чтоб лишний раз полюбоваться громадным портретом кайзера Вильгельма.

Такие портреты писались Каульбахом по одному образцу для всех германских посольств и даже миссий, разбросанных по земному шару, и все сводилось к тому, чтоб дать зрителю ошеломляющее впечатление могущества, величия и блеска.

И вот Каульбах, с «благословенья» кайзера, воспользовался до мельчайших подробностей композицией знаменитого Наполеоновского портрета кисти Жерара.

Из-под классической туники — нога в римской котурне. Стелется пышными складками длинная мантия, подбитая горностаем. В руке — внушительный скипетр. Венчают голову

лавры... Но и венки этот, и классические курты плохо гармонируют с торчащими заодно кверху усами, сообщающими надменному лицу кайзера вид лихого бранденбургского фельдфебеля.

Фельдфебеля в... горностах.

И подвел же льстивый Каульбах своего коронованного заказчика!..

Но портрет в громоздкой золоченой раме приводил немцев, и местных, петроградских, и приезжих, в умиление и восторг...

Флуга посол принял в кабинете. Этот невысокий, развинченный, слабый, с покатыми плечами и с черепом-тыквою седобородый старик вышел только что из рук своего камердинера надушенный, расчесанный и умытый...

Посол рассматривал бронзовую статую своего отдалённого предка, вождя кимвров — Тубукинда. Мускулистый, полуголый, одетый в звериную шкуру, атлетически сложенный варвар опирался на тяжелый меч. Волчья голова с открытой пастью как шлем прикрывала его густые, до плеч, космы. Этот звероподобный кивмр, как воду ливший человеке-

скую кровь и как вином упивавшийся ею из гигантских турьих рогов, тупо смотрел пустыми глазницами на своего сиятельного потомка, узкогрудого и узкоплечего и с головою не то преступника, не то вырожденца.

Посол гордился предком, этим бронзовым документом своего девятисотлетнего рода. Но гордился ли, в свою очередь, богатырский предок своим худосочным потомком — вот вопрос?

Флуг цепкими и сильными пальцами ответил на слабое пожатие дряблой, бескостной и бледной руки.

Сели. Граф подвинул гостю ящик с крупными сигарами. Флуг закурил. Пошёл струйками голубой ароматный дым.

— Когда вы уезжаете?

— Откладываю со дня на день. И спешить необходимо, и в то же время здесь так много работы! Оказывается, сбор на воздушный флот идет более чем успешно. Наша местная колония откликнулась горячо. Вот патриотизм! Да и не только одна колония. Есть «сочувствующие» и среди международной публики в банковских, промышленных и финан-

совых сферах.

— О да, о да! — закивал своим острым, голым черепом посол. — Если у вас будет время, съездите с моей карточкой к одному... его фамилия... — граф развернул лежавшую на столе — записной книжкой её нельзя было назвать: это была целая книга, в кожаном переплете, — его фамилия Пенебельский...

— Знаю, — усмехнулся углами рта Флуг. — Это банкир, колоссально сыгравший на бирже перед балканской войною. Этот господин питает необыкновенную слабость к орденам. Он даже падок на бухарские и персидские звёзды. И рассказывают, как анекдот, хотя это факт, о его непременном желании получить от князя Вида албанскую звезду Скандербека. Он коллекционирует ордена как марки. И чем больше он получает их, тем больше разгорается его аппетит. Но пока у него все мелочь. Восточная да балканская экзотика. Эти люди — картонные паяцы, и надо только уметь дергать соответствующие ниточки... Теперь соблаговолите сказать, господин посол... Я здесь залетный гость, а вы местный житель. Вы уверены, что почва для войны со-

здается благоприятная?

— О да, о да! Более чем уверен. Страна совершенно не готова к войне. Революция, пьянство, ненадежность польского элемента...

— Революция, пьянство, ненадежность польского элемента... — задумчиво повторил Флуг, добавив наставительно: — Все это общие фразы. Мы имеем дело с могучей, необъятной страной, загадочной, в смысле самых неожиданных, самых неограниченных возможностей. Мой план таков: летом приезжает сюда Пуанкаре. Мы должны стремиться, чтоб елико возможно поселить в нем всяческое недоверие к союзникам, и, почем знать, быть может, когда вспыхнет война, Франция откажется от выступления. Французы — народ легкомысленный, до экспансивности впечатлительный. Довольно несколько уличных демонстраций во время пребывания здесь «первого гражданина Франции», чтоб идея альянса и реванша получила добрую порцию холодного душа. Через несколько дней я буду в Берлине. А еще через несколько вы примете партию гениально сфабрикованных русских

кредиток на сумму в три-четыре миллиона. Эти деньги надо будет распределить между рабочими организациями. Это необходимо! Таким образом, в приезд Пуанкаре нам удастся — это не так уж трудно — инсценировать кое-какие забастовки, беспорядки. Что вы скажете на это, господин посол?

— О да, конечно! Это превосходная мысль. Вообще, любезный Флуг, в вашей голове рождаются всегда прекрасные, высокопатриотичные мысли...

Флуг смотрел на графа с нескрываемым сознанием собственного превосходства. Он вспомнил свою беседу с графиней Чечени, вспомнил, как рисовал ей соблазнительное преимущество скрытой власти никому неведомого инквизитора над властью официальной, декоративной, со всеми её внешними благами и почестями...

Отставной лейтенант Флуг, едва ли не темная личность, которую, в конце концов, могут запрятать в каторжную тюрьму или повысить, этот Флуг вертит, как хочет, представителем одной из самых великих держав на земле. Всякому свое! Одному почёт, брилли-

антовые звезды и право называться еще при жизни историческим человеком. Другому — с отвратительной гримасою, улыбкою висельника улыбается тихой, затаившейся ночью из глубины зеркала собственное изображение, бледно-зеленое, без единой кровинки...

Спустя каких-нибудь двадцать минут Флуг, пройдя Морскую, вскочил в вагон трамвая, со звоном и громыханием бежавший вдоль шумного, клокочущего жизнью и залитого солнцем Невского проспекта.

Флуг стоял на площадке. Мимо пронеслась щегольская карета. На фоне зеркального стекла на мгновение мелькнул усталый, какой-то беспомощный профиль в цилиндре. Широкая спина кучера, вся в золоте — так и горит! — и на козлах рядом белобрысый егерь, в треуголке, с петушиными перьями. И многие провожают карету глазами:

— Вот германский посол проехал!..

А загадочный Флуг скромно передвигается по Невскому в трамвае. И он доволен, счастлив, и ему не надо ни расшитых золотом кучеров, ни егерей с петушиными перьями. Этим его не прельстишь. Ему достаточно гор-

деливого сознания, что в его опытных пальцах этот ведущий свою родословную от вождя кимвров граф и сановник — такой же картонный паяц, как и многие другие, как и всемогущий король биржи Пенебельский, к которому он сегодня поедет...

В подъезде «Семирамис-отеля» Флут встретился с графиней Чечени. Ее прямо лицом к лицу вытолкнул весь сплошь стеклянный, вращающийся турник. В дорожном костюме, гладком, коротком, её фигура казалась тоньше и гибче. Висел на ремне через плечо маленький «кодак». Высокие, туго зашнурованные американские ботинки на небольших, с крутым подъёмом ногах. Совсем туристка.

Тусклый взгляд Флуга против всякой воли зажегся. Политика равнодушия не удавалась ему с этой женщиной.

— Какая очаровательная, королевская простота!..

— Флут, я не узнаю вас. Вы превращаетесь в галантного кавалера?

Она так и сияла вся красотой, и сверкали зубы крупного рта, а ленивые, восточные веки томно и дразняще сомкнулись.

— Куда вы, графиня?

Вышли вместе.

— Я сейчас возьму мотор и — на аэродром. Там ждет Агапеев.

— Поздравляю!

— Бедный мальчик. Он уже потерял голову. Если б он знал... И это жених! Он так наивно открылся мне, что любит свою княжну, безумно любит, но я на него действую как гашиш... Во всяком случае, поздравлять меня еще рано. Это честный, искренний мальчик, неспособный на подлость. Все, следовательно, зависит от благоприятных случайностей. И если мне удастся сделать какие-нибудь снимки...

Флуг, ученически выговаривая русские слова, сказал шоферу все что нужно, помог молодой женщине сесть в мотор, а сам, очутившись у себя в номере, отыскал в книжке телефон банкира Пенебельского. Их было целых пять.

— Кто спрашивает? Я сейчас доложу «генералу»...

Пенебельский, получивший за свою широкую благотворительность статского советни-

ка, требовал, однако, чтоб и прислуга, и мелкота, сидевшая за «проволочными заграждениями» в его банке, величала его «превосходительством».

— Скажите, что господина Пенебельского спрашивают от имени германского посла.

— Сейчас доложу его превосходительству. Обождите минуточку...

И тотчас же Флуг услышал замирающий голос:

— Я имею честь беседовать с его сиятельством господином министром?

— Не совсем так... Но я уполномочен господином министром. Когда я могу к вам заехать?

— Когда вам будет удобно.

— Сейчас?

— Милости прошу! Я дома. Имею честь кланяться, жду с нетерпением...

9. Человек, у которого были предки

Природа и папенька с маменькою наградили Ольгерда Фердинандовича Пенебельского крупным, белым носом. С годами, от жизни в комфорте и холе, этот нос отполировался и блестел, как добрая слоновая кость. Настоящий банкирский нос. Помимо своего внушительного рисунка и тона благородной слоновой кости он обладал еще весьма ценным качеством, это — проникновенный нюх...

Был ли действительно Ольгерд Фердинандович финансовым гением?..

Сам он о своих талантах и о собственной персоне думал высоко. И тем более высоко, что всех других вполне искренно, с эгоизмом беспредельной, тупой самовлюбленности считал дураками и подлецами.

Отец его, Нахман Пенебельский, много лет назад имел в Бобруйске, на краю города, мелочную лавку в старом покосившемся домике.

Сын Ойзер окончил городское училище. Тесно и скучно было ему в засыпанном песком

ми родном Бобруйске. Он уехал в Минск и поступил на двенадцать рублей в месяц в банкирскую контору «Гальперин и Комп.».

Там он пошёл быстро в ход, втерся в доверие к старому Гальперину и уже через три года получал целых шестьдесят рублей в месяц. Но и это казалось мизерным молодому человеку, грезившему миллионами...

Его манил Петербург.

И вот он в Петербурге. Он крестился, превратившись в Ольгерда Фердинандовича. Фамилией же своей Пенебельский был относительно доволен. Фамилия сносная, может сойти за польскую. Чего же еще?

В громадном зале биржи, среди человеческого месива, потного, шумного, исступлённо галдящего, появилось новое лицо. Высокий худенький брюнет, с печатью опрятной бедности во всем своём облике и в чистых бумажных воротничках. Зимой он бегал в лёгоньком, подбитом собачьим лаем пальто.

А через двадцать лет Ольгерд Фердинандович ездил в громадном собственном сверкающем автомобиле, носил шинель с тысячными бобрами, занимал целый этаж с восемнадца-

тью, на улицу, зеркальными окнами в одном из самых аристократических кварталов, имел свою банкирскую контору и ворочал миллионами. Худенького, тоненького юноши не было и в помине. Ольгерд Фердинандович пополнил, становясь с каждым годом все внушительней и внушительней. За версту видно банкира!.. Это впечатление усугублялось короткими, но густыми баками, до глянца пробритыми на уже двоящемся подбородке. Ольгерд Фердинандович сохранил эту старую моду, не желая в угоду новшествам брить бороду и усы, как это делали другие англазированные банкиры.

— Зачем я имею делаться под англичанина?.. Я — русский человек и останусь русским!.. А разве борода, если ее держать в чистоте и порядке, не есть украшение русского человека?..

И в доказательство, что он действительно русский человек, Ольгерд Фердинандович каждое воскресенье заезжал хоть на несколько минут в Казанский собор. Одно время ему страшно хотелось быть церковным старостой...

Снюхавшись с парижским банкиром Розенбергом, Пенебельский значительно округлил свои миллионы биржевыми операциями «наверняка» перед первой балканской войной.

Ольгерд Фердинандович мог уже купить так дразнивший его воображение особняк. И строился этот особняк, и внутреннее его убранство — все это создавалось с большой, озаренной вкусом любовью. Прежний владелец его, золотопромышленник, не был одним только денежным мешком. Он умел выбрать талантливых архитекторов и художников.

Музейное впечатление производил громадный, весь белый, с богатой лепкою зал эпохи Людовика XIV. Его монументальный мраморный камин, с целым хаосом классических обнажённых фигур, камин, исполненный в Италии лучшим флорентийским ваятелем, сам по себе являлся прекрасным творением скульптуры...

Резная, вся из дерева столовая, с острым, терявшимся в сумраке перекрытием потолка, была чудесным воссозданием мистической суровости мрачного стиля германской готи-

ки.

Стрельчатые окна были «витро» в свинцовой пайке, расписанные ландскнехтами и рыцарями. И мебель, и столовое серебро, и камин в виде исполинского органа, и настоящий орган, приютившийся на хорах, — все это было чистейшей выдержаннейшей готикой.

Столовая пленила Ольгерда Фердинандовича едва ли не больше всех других комнат. Не потому, чтоб особенным знатоком эпох и стилей был Пенебельский... Нет... А просто она подавляла его своей монументальностью.

И, кроме того, самое главное, на этих тяжелых стульях будут сидеть генералы, князья, графы, сановники и — чем черт не шутит, — министры и дипломаты... Люди, о которых он прежде и мечтать не смел даже, которые не пустили бы его к себе в переднюю, теперь пойдут к нему есть обеды, пить его вина, курить его сигары.

Ольгердом Фердинандовичем овладела забота о своих предках. Человек, живущий в таком дворце, обязан «иметь предков». Ольгерд Фердинандович с его миллионами вправе

позволить себе такую невинную роскошь.

Здоровенный швейцар с Георгием, в треуголке, в раззолоченной ливрее, «собственный» швейцар Ольгерда Фердинандовича, не хотел пускаться с парадной этого дурно выбритого и дурно одетого, длинноволосого человека. Но художник вынул из кармана письмо, и швейцар нехотя пропустил его в глубокий вестибюль с мраморной ковровой лестницею.

Ольгерд Фердинандович велел позвать художника в свой кабинет времен империи, названный им наполеоновским. И мебель: каждое кресло, чернильница, пресс-папье, канделябры, — все это было украшено буквою «Н», обрамленной венком.

Ольгерд Фердинандович предложил художнику сесть, но руки не подал.

— Как ваша фамилия?

— Задонцев...

— Где вы учились?..

— Сначала в Москве, а потом в Италии... Я несколько лет жил в Риме.

— Что вы там делали?

— Я работал на антикваров... Писал старые портреты, а они их продавали англичанам и

американцам за подлинники...

— Что ж, вы хорошо зарабатывали? — любопытно спросил Ольгерд Фердинандович, презрительно покрывив рот и окидывая холодным взглядом темных глаз фигуру художника в заношенном белье «монополь».

— Зарабатывали хорошо антиквары... Мне же платили гроши...

— А зачем вы приехали сюда, в Петроград?..

— Матушка у меня здесь... Ну опять же, я растерял заказы... Богатые американцы поумнели и стали покупать с большим разбором... Прибегают к экспертизе знатоков... А это для моих антикваров много хуже, хотя я делал все, что можно... И доски, и холсты — всё это у нас месяцами лежало в навозе, чтобы получилась «печать времени». Когда перепреет — иллюзия полная...

— Но ведь это же мошенничество?! — строго заметил Ольгерд Фердинандович.

— Конечно, такой образ действий с настоящим художеством несовместим...

Ольгерд Фердинандович, полный неодобрения, начал, глядя на бронзовую статуэтку

Наполеона:

— Видите, дорогой мой, я хочу вам заказывать несколько фамильных портретов... Можете вы исполнять добросовестно эту работу?..

— Писать, вероятно, придется по фотографиям, или дагерротипам?

— Не перебивайте меня, молодой человек... Когда я кончу совсем, то будете говорить вы... Я не люблю, когда меня перебивают... Дело в том, я должен вам сказать, что были и фотографии, и портреты, — все это погибло, к сожалению, в моей родовой усадьбе во время пожара...

— А вы изволите быть помещиком какой губернии? — из вежливости спросил Задонцев.

— Видите, у меня два имения... Одно в юго-западном крае, другое — в северо-западном... Но пожар был — в северо-западном... Эта усадьба с отцовской стороны, а в юго-западном — с материнской... Но мы отвлеклись, молодой человек, от главной темы... Я вам заказываю три портрета. Моего отца, моего деда и моего прадеда... Сколько это будет стоить?..

— В зависимости от величины, а самое главное, с чего же я буду писать?..

— Но я же вам сказал, что все сторело! Я вам все подробно описываю, что они будут перед вами, как живые... Что касается величины, то «пущай» это будут небольшие портреты... Ну, бюст... Что?..

— Бюст, бюст... — соображал Задонцев, боясь продешевить и в то же время опасаясь чрезмерной ценою потерять заказ. — Я думаю... по сто рублей за портрет?.. Как вы предполагаете, это будет?..

— Это будет триста! — подхватил Ольгерд Фердинандович. — Но скидываем двух четвертных и на круг это выходит двести пятьдесят... А?..

— Что ж, я согласен...

— Да вы молодец!.. А теперь я вам описываю... С самого начала — мой отец... Он умер лет... лет около пятнадцати назад... Он был за профессора варшавского университета... Большой лоб, как у меня, и польский тип, как у Генриха Сенкевича, такой же нос... Немного больше борода... Вы себе купите открытку Сенкевича... И если вы сделаете немножко

больше нос и немножко больше бороду, это будет аккурат мой покойный папаша... Ну, черный строгий сюртук, черный галстук... Люди науки всегда в чёрном... Поняли?..

— Понял...

— Теперь мы переходим к моему деду... Мой дед был маршалеком... Вы знаете, что такое маршалек?..

— Нет...

— Нет? То я вам говорю... Маршалек — это на Волыни предводитель дворянства... Такой же тип, как у отца, только без бороды... И такие, знаете, гусарские усы... Он сначала служил в гусарах, мой дед... А потом уже был избран маршалеком... Я его знал, хотя очень так себе... Мне было четыре года, а ему восемьдесят два... Но у меня оставались в памяти его седые усы... Когда он меня целовал, то этими усами колол... Ну, я думаю, теперь вы имеете представление... Переходим и к моему прадеду...

— А во что прикажете одеть вашего... отца вашего покойного батюшки?..

— Ах да... — Ольгерд Фердинандович задумался. — В чего одеть? Натурально, отстав-

ным гусаром. Постойте, какой цвет был у него на венгерке? Я вам сейчас скажу... Чи жёлтого, чи голубого? Нет, голубого, как сейчас помню, голубого! Ну вот... А теперь мы уже добрались и к моему прадеду. Это был герой повстанец тридцатого года. Сохраните фамильный тип, только сделайте совсем молодого и маленькие усики. А форма — уланская. Польский улан. И такая шапка — рогатая... Теперь я вам все сказал... Но еще добавлю, если кто посмотрит, чтобы видеть старость этих портретов...

— Будьте спокойны! — обрадовался художник, почувствовав себя полным хозяином в этой области... — И холст, и рамы, и краски будут вполне в духе времени. Вот рамы придется подобрать... В Александровском рынке сколько угодно... Рамы как, на мой счет?..

— За рамы плачу я! — торжественно скрепил Пенебельский. — Но прошу вас торопиться, молодой человек. Мне эти портреты нужны скорее.

— В десять дней все будет готово, и я их представлю.

— Хорошо. Только чтобы вы заказ испол-

няли добросовестно.

Задонцев нерешительно отделил свою невзрачную, бедно одетую фигуру от кресла времён Империи, на краешке которого сидел.

— Я хочу попросить, если можно, маленький аванс... Небольшой...

— Аванс? — строго переспросил Ольгерд Фердинандович. — А если вы возьмете аванс и ничего не делаете?..

— Помилуйте, зачем же... Я всегда... Я человек аккуратный и честный...

— Ну, знаете, мой дорогой, честность — понятие условное. Ведь вы же там, в Риме, фабриковали эти фальшивые портреты?..

Художник готов был сквозь землю провалиться. И дернула ж нелегкая обмолвиться про эти несчастные портреты...

— Ну, хорошо, вы знаете мой банкирский дом на Невском?.. Я говорю по телефону, и вам выдадут двадцать пять рублей. Но через десять дней...

— Будьте покойны!..

Ольгерд Фердинандович нажал кнопку.

— Семён, проводи господина художника!

10. Человек без отечества

Затрещал телефон на письменном столе.
— Семён, спроси, кто говорит?..

Это был звонок Флуга. А через полчаса приехал сам Флуг.

Уж на что видывал всякие виды на своём веку, случалось и в дворцах бывать, а и он отметил художественное, некричащее великолепие этого особняка.

Ольгерд Фердинандович с места в карьер повел гостя по мраморной лестнице во второй этаж похвастать своей готической столовой и белым людовиковским залом.

— Хорошо, очень хорошо. Всюду выдержан стиль. Неужели это ваш вкус?..

— Натурально мой, а то чей же?.. Все до последнего винтика делалось под моим личным наблюдением...

— Мне нравится, что в столовой у вас не английская готика, а германская...

Ольгерд Фердинандович благоразумно прикусил язык. Вообще с самим понятием «готика» ознакомился наглядно впервые он, вступив во владение особняком прогоревше-

го золотопромышленника.

В конце концов и хозяин, и гость очутились в «наполеоновском» кабинете.

Ольгерд Фердинандович повторил вопрос, заданный Флугу в первый же момент их знакомства:

— Как чувствует себя его сиятельство господин министр?..

— Благодарю вас, господин Пенебельский. Господин министр очень занят, скопилось очень много важной дипломатической переписки. Но чувствует себя превосходно. Я только что от него из посольства. Господин министр, оказывается, слышал о вас и милостиво отзывался...

— Да?.. Господин министр изволил... — так и расцвёл весь Ольгерд Фердинандович. — Его сиятельство пользуется такой популярностью в Петрограде!.. Я почёл бы за великую честь для себя быть представленным...

— Я сделаю так, что вы удостоитесь этой чести... — с внушительной простотою молвил Флуг.

— Ах, господин Прэн, я буду вам так признателен... Вообще я большой германоман.

Если хотите знать, я сам немец!..

— Немец? — И никогда ничему не удивлявшейся Флуг приподнял брови.

— Да! В жилах моих течёт благородная германская кровь. Мы, то есть мои предки, — выходцы из Познани... В сущности, я — фон Пенебельский...

Убедившись, с каким он гусем имеет дело, Флуг решил не церемониться с Ольгердом Фердинандовичем и взять быка прямо за рога.

— Скажите, господин фон Пенебельский, мне любопытно знать, какие у вас имеются «декорации»?

И одновременно хозяин и гость кинули взгляд по одному направлению — на висевший на стене громадный фотографический портрет. Пенебельский представлен был во всем своём ослепительном блеске. Двоился между расчесанными баками чисто выбритый подбородок. Взгляд с внушительным самодовольством созерцал пространство и, словно у заезжего фокусника, густо покрыт был какими-то подозрительными звёздами борт-фрака.

— Что же это за особенные декорации? Ничего особенного, так себе! Имею кое-что от персов — в Тегеране я устроил отделение моего банка. Потом эти болгарские мужики... В Софии у меня тоже есть отделение.

— А хотелось бы вам получить из Берлина что-нибудь этакое, на шею или на грудь?.. Настоящее?..

— Ой, еще как хотелось бы! — с наивной беспардонностью вырвалось у Пенебельского. — Но как это сделать? Необходим предлог... Хотя все мои симпатии, все мои чувства...

— Я ни минуты не сомневаюсь в ваших симпатиях. Но слова, даже самые искренние, — звук пустой. Слова — дипломатическая нота, не опирающаяся на штыки и пушки. Необходима зацепка более реальная, которая дала б возможность его сиятельству сделать соответствующее представление.

— Помогите, научите... — покорно отдавал Пенебельский себя целиком в распоряжение этого бритого человека с тусклыми глазами.

— Воздушный флот Германии при всем его могуществе нуждается, однако, и в частной

поддержке... И вот среди сочувствующих...

— Понимаю, — перебил Ольгерд Фердинандович, уже почти готовый вынуть из письменного стола чековую книжку. И в то же время его вдруг зазнобило каким-то странным холодком. Словно кто-то невидимый дунул ему в затылок, и «это» щекочуще-неприятно пошло вниз по спине...

А Флуг смотрел на него в упор спокойным, тяжёлым взглядом... Медленным неторопливым движением вынул из кармана записную книжку.

— Собогазоволите назвать сумму вашего пожертвования?..

Пенебельский молчал, испытывая какую-то прямо физическую неловкость в спине.

— Вы колеблетесь, господин фон Пенебельский? Но ведь вы же — немец!.. Немец из Poznани... Или я ослышался?..

— Да... немец...

— Так в чем же дело? Ваш долг, ваша священная обязанность содействовать усиленно мощи вашей родины. Или вы сомневаетесь, боитесь, что узнает кто-нибудь из тех, кому

не следует знать?

— А если... если будет война?

— Тем лучше!

Белый, как слоновая кость, нос Ольгерда Фердинандовича увлажнился несколькими росинками.

— Хорошо...

Он вынул из письменного стола чековую книжку.

— Не стесняйтесь в сумме, — подбадривал Флуг. — Даю вам слово, что она будет прямо пропорциональна обещанной декорации.

Ольгерд Фердинандович подумал, подумал и выписал чек на пятнадцать тысяч.

Флуг посмотрел, ничего не сказал и, сложив чек, сунул в бумажник.

— А теперь соблаговолите проставить эту же самую сумму здесь, у меня в записной книжке, и скрепить вашей подписью...

Опять холодок в спине...

— Разве... и это нужно?..

— Это необходимо!

Отступить было поздно. Ольгерд Фердинандович с решимостью взялся за перо.

Когда он подписывался, дрожали корот-

кие, пухлые, с мягкими плоскими ногтями, пальцы. Но все же Ольгерд Фердинандович не изменил своей хамской манере ставить разом обе начальные буквы имени и отчества. И вышло не О. Пенебельский, как следовало бы, а как всегда выходило у него — О.Ф. Пенебельский.

Словно проделав какой-нибудь физический труд, откинулся Ольгерд Фердинандович в глубь кожаного кресла и вытер платком вспотевший нос. Голова его мучительно работала, пытаясь разобраться в чем-то, пока еще хаотическом, но слепом и тяжёлом, как судьба. И впиваясь пальцами в подлокотник из красного дерева и подавшись вперёд к Флугу всем своим раскормленным телом, банкир шёпотом преступного сообщника спросил:

— А когда будет... когда предполагается начать... войну?..

Флуг усмехнулся углами рта.

— Господин фон Пенебельский, вы либо чересчур наивны, либо совсем напротив, хитры и коварны, как тысяча дьяволов, связанных вместе хвостами. Вы задали мне вопрос...

— Но ведь я же свой, я — немец...

— Вы задали мне вопрос, — продолжал, не слушая его, Флуг, — за ответ на который с одних ничего не берут, с других — берут миллион, а то и миллионы... Ведь я же вас понимаю отлично. Вам хотелось бы это знать для биржевых операций.

— Господин Прэн... Вы читаете в мыслях...

— И вижу на несколько метров, что делается под землю. Итак, по-американски: за две недели, даже за месяц, вы узнаете от меня точно, с самыми пустячными колебаниями, день объявления войны. Но это обойдется вам в два миллиона рублей — не марок. Согласны?..

— Согласен!.. Я готов хоть сию же минуту выдать вам какое-нибудь «домашнее» обязательство...

— Не надо. Я верю. А самое главное, вы у меня в кармане, господин фон Пенебельский! — молвил Флуг, вставая и хлопнув себя по тому месту визитки, где лежала записная книжка.

Ольгерд Фердинандович хотел улыбнуться, но улыбка вышла косая, и странно как-то оскалилась часть «мёртвых», вставных зубов.

Во рту он почувствовал вкус меди...

Флуг ушёл, унося в кармане чек, а в своей темной душе — презрение к этому человеку, который, гнушаясь происхождением своим, готов притвориться поляком, русским, немцем — в зависимости от того, кем ему быть сейчас выгодней. Человеку без отечества...

11. Человек земли и человек воздуха

«Человек земли» являл собою легкомысленного, скользящего по верхам, неглубокого юношу, способного как-то беспорядочно, бесхарактерно увлекаться первой попавшейся юбкой, только б она ему приглянулась внешне. Но совсем другим становился Агапеев, превращаясь в «человека воздуха».

Садясь на свой аппарат, он уже сразу от одного прикосновения этого весь преображался. Словно подменяли его кем-нибудь другим. И Агапеев, и не он... Тот, да не тот!..

Резче и тверже намечался профиль. Кожанный шлем сообщал ему какую-то мужественную суровость. В птичьих глазах что-то соколиное вспыхивало... И под шум пропеллера, искусно владея послушным рулём, он забы-

вал всех на свете женщин, весь во власти далёких, манящих высей...

Это не был заурядный лётчик. Это был художник-поэт воздухоплавательных достижений. Образованный технически, Агапеев как-то особенно, проникновенно, по-своему, не как другие его товарищи, понимал и чувствовал свой аэроплан с его сложным, капризным скелетом. С каждой малейшей гаечкой, каждым крохотным винтиком умел он говорить, и они понимали друг друга.

Не удовлетворяясь готовым, Агапеев сам искал, много работая, и в конце концов придумал и создал тот самый «Огнедышащий дракон», которым так заинтересовался Флуг.

Несмотря на свои двадцать четыре года, Агапеев имел громадный боевой опыт, совершив десятки опасных, головоломных полётов в Болгарии, Черногории и Сербии во время балканской войны.

Это он, Агапеев, бесстрашной птицею кружился над осаженным Адрианополем, разбрасывая населению болгарские прокламации. Это он спустился после своего исторического полета на аэродроме в Мустафа-паше, с кры-

льями, превращенными в решето градом турецких пуль. С болгарским штабом Агапеев поделился ценными наблюдениями с высоты орлиного полета своего, и в награду за все русский лётчик не только не был поощрён каким-нибудь соответствующим орденом — какие уже тут поощрения! — но даже не получил тех денег, что следовало ему по условию.

Совсем другое отношение встретил он в Сербии и Черногории. За полет над кумановскими позициями престолонаследник Александр лично украсил грудь Агапеева орденом Святого Саввы.

В Черногории Агапеев «ссадил» и заставил отдаться в плен австрийского летчика. И все это было проделано с верою в себя, отвагою и в то же время с чисто охотничьим азартом пылкого спортсмена.

Таков этот «человек воздуха». А на земле, в обычной обстановке, он не застрахован был от самых мальчишеских глупостей.

Но вот он уверил себя, что влюблен, — да, пожалуй, и на самом деле влюбился — в княжну Тамару Солнцеву-Насакину. В эту девушку с такой нежно-молочной кожей и зе-

леноватыми глазами, к вискам приподнятыми, как у японки. Японки с темно-рыжими волосами. На щеке у неё чернело крохотное родимое пятнышко, правильное и темное, словно мушка. Да и было впечатление мушки, сообщавшей своеобразное очарование всему неправильному, живому личику, с чуть вздёрнутым носиком и заострённым книзу овалом.

Княжна, интересовавшаяся авиацией, познакомилась с Агапеевым во время полётов. Он стал бывать у них в доме. Тамаре, не отделившей в нем человека воздуха от человека земли, досадно было бы отделять — казалось, что она увлекается им.

Пожалуй, в этом больше было кокетства, чем увлечения. Кокетства чистой девушки, но уже с просыпающимся темпераментом и с какими-то, пока еще смутно-бунтующими зовами...

Старый князь-отец был на самом деле во все не стар. Пятьдесят четвертый год — какой же это век для мужчины? И бодр он был, и достаточно силен и крепок, а между тем — весь в прошлом. Он любил писать гусиными пе-

рьями, не любил электричества и гордился, не кичился, а именно гордился древним происхождением своим от Рюрика. От его взглядов на детское воспитание отзывало эпохою сороковых годов.

Княжна кончила институт, была уже невестой, не чьей-нибудь, а вообще, девушкой, которая должна же раньше ли, позже ли выйти замуж. Но отец не позволял ей одной выезжать из дому. И если б старый князь знал, что дочь обедала в «Семирамис-отеле», даже в обществе брата и под опекою княгини Долгошевой... Если б он только знал...

Искавших руки Тамары было много. И среди них — люди с именем, положением, связями. Но отец одним своим видом так запугивал всех претендентов, что слова замерзали у них на губах. Он с какой-то гипнотизирующей других незыблемой искренностью уверен был, что о такой партии может мечтать разве принц крови. А Тамара без всякого вызова, просто, молвила ему в ответ:

— Знаешь, папа, если б я сильным чувством полюбила человека, кто бы он ни был, я без колебаний, не задумываясь, ушла бы

вместе с ним...

И при этом в зеленоватых японских глазах дочери и во всей её молодой упругой, как струна, фигуре с острым приподнятым подбородком, крепким и белым, он видел такую решимость, что даже он, деспотический, властный, терял под собою почву...

Агапеев бредил Тамарой, обещал тысячи безумных подвигов, только б согласилась за него выйти. Тамара, лукаво смеясь, отвечала неопределенно, полутонами, но скорей обнадеживая, чем обескураживая. Или шутила:

— Зачем так много — тысячу? Совершите двенадцать подвигов Геркулеса. Могу все перечислить. Мы ведь проходили в институте мифологию...

Агапееву не до мифологии было. Весь горячим туманом обвеянный, умолял:

— Тамара... Дайте мне ваши губы... Слышите, губы...

Эти влажные, как вынутый из воды коралл, губы нестерпимо дразнили его... Он протягивал руки, мучительно желая коснуться упругого, дышащего свежим ароматом прекрасной молодости, тела. И оно как-то по-зме-

иному ускользало... Хотя и лицо, и шея горели, губы маленького рта полураскрывались, а зеленые глаза как-то жутко темнели, то погасая, то вспыхивая в истоме смыкавшихся век...

Он услышал:

— Я не дам вам своих губ...

— Но почему?.. Почему? — шептал он в каком-то обалделом забытье.

— Потому что я их никому не давала. Первый поцелуй будет для меня роковым. Я погибну... Я это чувствую...

Раз она не успела увернуться. Он схватил ее за покатые круглые плечи. Княжна рассердилась. Цепким движением она, в свою очередь, схватила его за руки. И сделала ему очень больно. Казалось, она переломает ему все пальцы. Он, далеко не слабый, с острой для мужчины оскорбительностью почувствовал свою физическую беспомощность лицом к лицу с этой девушкой.

У него вырвалось.

— Откуда у вас такая сила?..

— У меня сильные пальцы. Это от рояля. Каждый день я играю два-три часа. С детства

играю...

Боль и унижение вспугнули чувственный порыв, уступивший свое место какими-то другим, уже товарищеским ноткам. И как брату она предложила.

— Посмотрите, какие у меня мускулы?..

Он коснулся пальцами красивой и полной у плеча руки, более полной на ощупь, чем на взгляд. Такие женщины в платье кажутся всегда худее, чем раздетые... Он чувствовал сквозь легкую ткань гладкую, скользкую кожу. Тамара сжала пальцы. Агапеев ахнул — так упруго и твердо напряглись мускулы этой женственной руки.

— У вас стальные бицепсы!..

— И да послужит это вам на будущее предостережением... Как видите, я могу постоять за себя.

— И, к сожалению, даже очень! А с виду вы такая нежная, хрупкая...

У княгини Долгошеевой он познакомился с графиней Тригона. Агапеев не мог отдать себе отчета, кто ему больше нравится — эта в сиянии своей тридцатилетней красоты, видимо уже много любившая женщина или целомуд-

ренная княжна со своим девичьим телом и губами, никем еще не целованными. И решил, что он желает обеих, каждую по-своему. Княжна вся в будущем, графиня — вся в настоящем...

Сколько она видела, эта женщина! Её рассказы — это бесконечная лента кинематографа, на которой чего-чего только не мелькает! Картина за картиною — праздная, богатая жизнь, большие столицы, модные курорты, дорогие отели и, как оперные декорации, красивые пейзажи: пальмы, бирюзовое небо, берег тёплого моря и раззолоченный казино, вроде каких-то экзотических храмов и пагод... И при этом восточные глаза с ленивыми, тяжелыми веками полуобещали что-то жуткое и пряное, как страдание...

Графиня интересуется спортом. Она слышала о полётах Агапеева. Читала в парижских газетах о его балканских подвигах.

Агапеев млеет...

Она слышала кое-что и про «Огнедышащего дракона». Хотела бы собственными глазами увидеть это воздушное чудовище. Взвиться вместе туда, к облакам, — это было бы та-

кое наслаждение!

Лгапеев, продолжая млеть от близости этой женщины, однако, нашел в себе твердость возразить, что совместный полет на чудовище невозможен. Но показать «дракона» в спокойном состоянии, в пределах ангара, это еще туда-сюда. Что же касается полета, вообще он с удовольствием совершит с графиней воздушную прогулку на обыкновенном двухместном «блерио».

И вот он встретил ее в ясный майский день у ворот аэродрома. Встретил, одевшись щеголем-спортсменом. Плоская, крупно-клетчатая каскетка, старый английский костюм, куртка со складками на спине, перехваченная в тонкой талии широким, из этой же самой материи, поясом. Желтые гетры плотно охватывали до колен стройные ноги. Он бросился к автомобилю и с чрезмерной почтительностью коснулся губами обтянутой шведской перчаткой узенькой ручки...

12. Графиня Чечени действует

До сих пор графиня Чечени видела русский пейзаж из окон вагона. После такой причесанной, умытой, разграфленной на клеточки немецкой природы, после до приторности слащаво красивых ландшафтов Ривьеры, после виноградников Венгрии, эти без конца бегущие навстречу поезду унылые равнины с темно-серыми, в землю вросшими деревьями и колокольнями на далёком горизонте, казались ей какими-то загадочными, тяжёлыми снами. И действительно, клонило ко сну от этих, навевающих дрему, пустынных, бесконечных равнин.

Теперь же, теперь не сон, а действительность. Каблучки дорожных американских ботинок отпечатывают след в густой и свежей траве аэродрома, охваченного забором. Луг, опоясанный дощатой изгородью.

И там, за этим поясом — скромные, как белые невесты, северные деревья, которых Ирма никогда не видела, а может, и видела, но не обращала внимания.

У неё одно желание и, что ей до этих дере-

вьев — бедных невест, до ясного, голубого неба, такого редкостного здесь, на этом чухонском Севере и до всего, что не связано с «Огнедышащим драконом»?

И как хлыстом ударил ее по мыслям невинный, скорее заискивающий вопрос шагавшего рядом с нею летчика:

— А это, графиня, зачем у вас аппарат?

Графиня делано усмехнулась.

— Вас удивляет? Но вы же сами бывали на Западе. Там не разлучаются с «кодаком»... А я старая, поколесившая немало в своей жизни туристка...

И слово «старая» как-то совсем не ко двору сорвалось с её тронутых кармином губ.

Вот и ангары вытянулись длинной, сколоченной из досок постройкой. К другим ангарам, каменным и гордым, как дворцы, привыкла графиня там, у себя на Западе.

Тихо. Только пропахший бензином закопченный механик хлопотал у какого-то «фармана». Зияла глубь ангара, откуда извлечён был аппарат.

«Огнедышащий дракон» всегда под замком, и ключ хранился у Агапеева. Лётчик рас-

пахнул одну половину ворот, другую.

И — точно в сказке... В самом деле, что-то напоминающее порождённого ныннешнею фантазией дракона было и в первом впечатлении, и в рисунке мощных крыльев, и в очертаниях корпуса, хребта.

— Какой восторг! — искренно, без всякого желания сказать другое, чем думает, воскликнула Ирма: — И это вы, все это — вы?..

— Я люблю это, — словно оправдываясь, отвечал Агапеев.

Ирма осмотрелась, выйдут ли удачные снимки. Свету много. Так и льется ярким потоком в громадный простенок вольно и широко распахнувшихся ворот, играет на металлических частях «дракона».

Чечени раскрыла золотой кольчужный мешочек, и лицо её испугалось.

— Неужели?.. Неужели я потеряла!..

— Что такое графиня, в чем дело?..

— Бог мой, исчезло портмоне! Этот противный мешочек поминутно раскрывается. Это ужасно!..

— И там были деньги?..

— Вопрос? Конечно, были! Довольно круп-

ная сумма. Иначе, я не волновалась бы. Две пятисотрублёвые бумажки и еще разная мелочь.

Теперь уже Агапеев испугался.

— Как же так?.. Как же быть!.. Дамы обладают удивительной способностью терять свои кошельки...

Графиня замерла. Пытливо соображая что-то, вдруг коснулась руки Агапеева.

— Вспомнила! Подъезжая сюда, к вам, я слышала какой-то мягкий, чуть уловимый стук, словно упало что-то возле моих ног. И я уверена... Мосье Агапеев, пожалуйста сбегайте туда... Шофер меня ждет... Но вы знаете, какие это люди... Пока не поздно еще... найдите и принесите.

Агапеев растерялся.

— Но как же... В таком случае вместе...

— Вы с ума сошли! — рассердилась графиня. — Разве я могу состязаться с вами в беге при моей узкой юбке... Повторяю, каждая секунда... Скорее же, вы, кавалер, рыцарь!..

«Рыцарь» пустился через весь аэродром. Только замелькали его жёлтые гетры.

Ирма, не теряя попусту времени, выгляну-

ла. Синяя блуза в сторонке вся ушла в свой «фарман». Следить некому.

«Кодак» сухо защёлкал. Ирма успела сделать двенадцать снимков. И общих, со всех сторон, и детальных. В увеличенном виде это будет материал богатейший!

Чтоб не внушить Агапееву и тени каких-нибудь подозрений, графиня вышла далеко ему навстречу. Он бежал со всех ног, встревоженный.

— Ваш вид красноречив... Портмоне исчезло?..

— Обыскал весь автомобиль. Нигде ничего! — отвечал запыхавшийся Агапеев.

— Успокойтесь, в конце концов, это все не так уж страшно.

— Да, но тысяча с лишним рублей! Деньги!..

— Человек должен ко всему быть готовым. Люди теряют целые состояния. Однако я заго-стилась. У вас здесь так мило, привольно... Мне пора...

— Что я слышу, графиня? А наша воздушная прогулка на «блерио»!.. Я вызвал моего механика. Он с минуты на минуту примчится

на мотоциклетке.

— В другой раз — с удовольствием. Отчего же не полетать со знаменитым русским авиатором? С французской знаменитостью я уже летала. Минувшей весной в Каире Гарро сделал со мною круг над пирамидами. Это было забавно и, пожалуй, величественно. Сверху пирамиды казались острыми шляпками гвоздей, вбитых в песок пустыни... Вы меня проводите? К мотору?

— Да-да... конечно! Графиня, осмелюсь предложить вам... ведь вы остались без гроша... Возьмите у меня рублей двести-триста?..

— Зачем? Дома у меня чековая книжка, а шофёру заплатит портье. Идем, тороплюсь...

— Когда я вас увижу?

— Попробуйте заглянуть сегодня вечером к княгине Долгошеевой. Я, может быть, буду там.

Это не понравилось Агапееву, и он скорчил соответствующую гримасу.

— Я хочу быть вдвоём с вами. И потом, у княгини будет княжна Тамара.

— Ваша невеста?..

— Если хотите...

— Я ничего не хочу, это вы — хотите! Эта маленькая княжна очаровательна. Темно-рыжие волосы, зеленые глаза... Чего же лучше? И не холодные, большие русалочьи глаза, это банально, а узкие и горячие. Она прелесть, и я удивляюсь, как это, будучи женихом такой обворожительной девушки...

— Но что же делать, когда меня тянет к вам обоим. Вы дополняете друг друга. Для княжны — одни ласки, для вас — другие.

— Испорченный мальчишка. А я думала, вы способны увлекаться одной, только одной женщиной.

— Так и было. Мне казалось, что, кроме Тамары, никого не существует на свете. Но я увидел вас, и...

— А если б вам предложили сделать выбор?..

— Я затруднился бы, и наконец это зависит всецело от настроения. Иногда я хочу княжну больше, чем вас, иногда — наоборот. Но все же вас — чаще.

— Вы останетесь? Или я могу подвезти вас в город?..

— Останусь. Мне надо сделать проверку

мотора. Мой «дракон» что-то уже второй день капризничает. Работа меня рассеет. Я не буду о вас думать. Ах, если можно бы было вечно работать!.. Женщины перестали бы меня волновать...

— Ваш труд красивый! Эта вечная борьба с воздухом, вечные стремления к небесам. Вы долго работали над вашим «драконом»?

— Около года.

— И много чертежей, рисунков?..

— Целые груды, папки.

— Любопытно! Меня как-то болезненно интересуется всякое техническое завоевание... Я напрашиваюсь к вам в гости. Вы меня позовете. Хочу видеть, насколько вы сумели отразиться, отпечататься в шаблонной обстановке гостиничного номера. Кстати, мы едва ли не соседи?..

— Почти. Я этажом выше над вами.

— Вот мы и будем вдвоем... Довольны?..

И какое-то шаловливое полуобещание прочёл он в её восточных глазах...

Чечени вернулась в отель к позднему, очень позднему завтраку. Шёл четвертый час — сколько времени на чистом воздухе —

Ирма успела нагулять аппетит.

Особый лифт умчал ее вверх, сквозь все шесть, даже семь этажей на плоскую крышу «Семирамис-отеля». Оттуда, завтракая, можно было видеть далеко вокруг хаотический каменный пейзаж большого города. Целое море крыш, белых труб и огнём сверкающие на солнце кресты и купола храмов.

Этот «висячий сад» «Семирамис-отеля» был пуст. Белели квадраты никем не занятых столов. Лишь за одним сидел Флуг, кончая свой поздний завтрак.

Звук шуршащих по гравию шагов заставил его повернуться.

— Я адски голодна, Флуг!..

Он буравил ее своим тусклым взглядом. Она кивнула утвердительно.

— Браво! Я проявлю их у себя. Я устроил в уборной великолепную темную камеру. Садитесь, графиня... Человек!..

Подбежал бритый и смуглый, весь в белом, начиная с куртки и кончая матерчатыми туфлями, лакей, напоминающий итальянского моряка летом.

Графине подали что-то рыбное в соусе. Пр-

эн говорил:

— Какой дивный вид отсюда! На ладони чуть ли не весь город. Знаете, мой друг, я решил использовать эту крышу. Право, грешно было бы не использовать. Она так соблазнительно доминирует... И когда вы откусываете, мы поднимемся еще выше и, я уверен, вы скажете: «Этот Флуг умеет применяться к местным условиям»... Но если директор наш, эта каналья Шнейдер, заартачится, я перерву ему горло... Впрочем, разве он смеет!..

13. И Флуг действует...

Флуг вместе с графиней деревянной лесенкою в семь-восемь ступенек поднялся на верхнюю квадратную площадку. Дальше некуда.

Самая высокая точка на пространстве многих кварталов вообще и в частности, на гранитном, уходящем, бог знает, в какую высь здании «Семирамис-отеля».

И как вольно и буйно гулял здесь на свободе теплый майский ветер. Он трепал довольно бесцеремонно локон волос, бившейся у нежного, прозрачного уха Ирмы и гнал дым

сигары бритого человека с тусклыми глазами.

Эти глаза, с хищной, прицеливающейся повадкой, взвешивали всё — и высоту площадки, и её размеры, к слову сказать немалые, и главным образом то, что отсюда, за всем этим лабиринтом каменных стен и железных крыш, чем дальше, тем мягче таявших в жемчужно-золотистой дымке, отливала матовым серебром широкая полоса взморья.

— Какая панорама!.. Какая великолепная панорама!.. Я в восторге... — повторял Флуг. — Эта ширь, эти горизонты кругом!.. Какие я вижу горизонты, графиня... Наш отель — самый высокий дом во всем Петрограде...

— Я не узнаю вас, Флуг... Вы делаетесь романтиком и скоро, пожалуй, начнете сентиментальничать...

— И все по вашей вине... Это вы меня настраиваете, графиня, на такой романтический лад... Я не знаю, кто мне больше нравится в данный момент... вы или эта площадка?... Я начинаю говорить глупости... В моей душе нет элементов юмора, и вашему покорному слуге острить не рекомендуется...

— Почему вас так интересуется площадка?..

— Потому что я люблю природу... Я велю поставить здесь столик, и мы будем здесь с вами завтракать, пить чай, обедать и любоваться... Опять говорю глупости...

Он рассмеялся металлическим, неприятным, скрипучим смехом, подошёл близко к графине и прямо в лицо ей сказал шёпотом:

— Я хочу устроить здесь радиотелеграфную станцию!

— Возможно ли это?

— Легче лёгкого... В парижском «Семирамис-отеле» наша станция уже с февраля чудесно работает... И даже Эйфелева башня, это дурацкое сооружение, ничуть не мешает...

— Но как это практически осуществить?

— Опять-таки легче лёгкого!.. На некоторое время по случаю ремонта «висячий сад» закрывается для публики... Оборудование станции возьмёт на себя электротехнический завод Гогайзеля... Сам Гогайзель в своём недавнем прошлом командовал ротой электротехнического батальона в Кенигсберге... Большинство мастеров и главных рабочих — наши же немцы и все это испытанные верные

подданные кайзера... Эта площадка будет опоясана металлической решеткой, а вдоль решетки я велю поставить побольше тропических растений... Таким образом, небольшая станция-кабинка будет скрыта от чужих, любопытных глаз и никому не покажется странным появление высокого металлического стержня над этой кабинкой... Объяснение самое простое — громоотвод!.. На крышах немецких фабрик в Лодзи таких «громоотводов» пять-шесть, и никому это не кажется странным, ибо все остальные фабричные крыши, словно спины гигантских ежей, утыканы множеством бутафорских громоотводов... Я не люблю откладывать... Я сейчас же переговорю с директором...

Флуг, подойдя к ступенькам, крикнул вниз:

— Эй, кто там!.. Позвать сюда господина Шнейдера!..

Через две-три минуты объемистый директор, отдуваясь, влезал на площадку.

— Вот что, милейший... Подите же сюда...

Флуг отвёл его в сторонку. Графиня из приличия отвернулась, уйдя в созерцание поло-

сы взморья, то гаснущей, то вспыхивающей серебром.

Флуг говорил с директором властным приказывающим тоном. Шнейдер покраснел весь.

— Но ведь это же громадный риск... Я должен подумать!..

— Никаких размышлений!

— Господин Прэн... Я не могу сам решить... Я должен посоветоваться с его сиятельством, господином министром...

— Никаких совещаний! В данный момент я здесь министр...

— Но позвольте...

Прэн с искаженным лицом схватил господина директора за плечи и так потряс, что Шнейдер весь налился кровью...

— Послушай ты, каналья!.. С тобой надо говорить другим языком... Человеческого ты не понимаешь... Слишком зазнался и разжирел, получая двадцать четыре тысячи марок в год... Тебя зачем прислали сюда?.. Чтоб ты размышлял, советовался? Беспрекословное повиновение — вот твое дело! А если будешь фордыбачиться, я сегодня же дам телеграмму,

тебя сместят и пришлют на твое место другого, который будет более покладист... В самом деле, вошёл в роль независимого директора?.. Ну что ж ты молчишь?..

И Флуг отпустил наконец директорские плечи...

Господин Шнейдер перевёл дух.

— Не надо телеграфировать... Приказывайте... — молвил он с покорностью.

— То-то... Вы забыли, сударь, что вы солдат великой армии... Солдат, несмотря на ваше брюшко и директорский смокинг... Забыли, и я готов извиниться, что не совсем-таки нежным образом напомнил вам о вашем долге немецкого патриота...

Шнейдер, еще не придя в себя, виновато молчал.

— Так слушайте же... Сегодня вы объявляете здесь ремонт. Никого сюда не пускать!.. А с утра начинается работа... Я пришлю сюда верных людей... Они будут у вас на полном пансионе... Им нет времени отлучаться для обеда и завтрака... Чтоб я не слышал жалоб... Отпускайте им побольше пива... И не местной бурды, а настоящего, мюнхенского... Поняли?

— Понял...

— Вы человек занятой, я вас больше не задерживаю... Ступайте...

Загипнотизированный этим начальническим, приказывающим голосом, Шнейдер, тряхнув стариною, чисто по-военному, в три приема, сделав поворот, удалился.

Флуг встретил улыбку графини.

— Я кусала губы, чтоб не расхохотаться... Вы нашего бедного директора вогнали в священный страх и трепет.

— Иначе нельзя... Это дисциплина... Железная дисциплина, необходимая в нашем деле... И попробуй он дальше возражать, я швырнул бы его вниз головой с этой площадки... Кончено!.. Теперь он будет как шелковый... А вы, графиня, дайте мне ваш «кодак», и я займусь проявлением драгоценных снимков...

Не успел Флуг сойти вниз, ему доложили, что его зовут к телефону... Переговорив из своего номера, Флуг поспешно уехал. Уехал, сказав Ирме:

— Ни минуты свободного времени!.. Должен сейчас быть на одном важном заседа-

нии... Возьмите аппарат к себе... И если я не успею проявить и сделать отпечатки — весьма может статься, что я завтра же покину Петроград... этим займется другое лицо...

Флуг был на заседании, успел заглянуть еще кой-куда и только в десятом часу вечера таксомотор повез его на окраину, вдоль широкой, застывшей под дыханием светлой прозрачной ночи реки... В одном месте булыжная мостовая переходила в ровную асфальтовую набережную. За монументальной чугунной решеткою, в глубине такого же асфальтового двора, поднимался четырёхэтажный корпус электротехнического завода Гоганзеля... Работы давно кончились... Темно было в многочисленных окнах по фасаду, и не курились дымом высокие, поднимавшиеся к бледным небесам трубы.

Во дворе, сбоку, стоял двухэтажный особняк владельца. Таксомотор остановился у освещённого двумя молочными шарами подъезда.

Старый лакей во фраке ответил Флугу по-немецки:

— Господин Гогайзель в «погребке Фау-

ста»... С ним еще несколько друзей... Вас ждут...

Лакей провел гостя через анфиладу комнат, убранных с тяжеловесной богатой роскошью, и с картинами из немецкой жизни и кисти немецких художников.

Где-то в глубине дома пришлось спуститься по витой, чугунной лестнице. Доносился громкий, самодовольный хохот нескольких голосов. Лакей распахнул дверь, и Флуг вошёл в «погребок Фауста».

За крепкими дубовыми столами сидели в облаках табачного дыма хорошо одетые люди. И перед каждым — исполинская, тяжелая каменная кружка. «Погребок Фауста» был чем-то средним между сталактитовым гротом и одной из пивных, сохранившихся еще в Нюрнберге и Дрездене, чуть ли не с пятнадцатого века, во всей своей неприкосновенности.

Гогайзелю надоело бражничать со своими друзьями в обычных условиях ресторана, или в своей собственной громадной столовой. И вот появился «погребок Фауста», обошедшийся заводчику в несколько десятков тысяч... Но что ему десятки тысяч, раз отъевшийся на

русских хлебах Гогайзель ворочает миллионнами...

Дубовые столы, подлинные, прожившие немалый пятисотлетний век, столы немецких кнейп, перекупленные от владельцев втридорога и привезенные в Россию. Стены расписаны известным берлинским художником Зоммером, специалистом по части декоративных панно, иллюстрирующих служение Бахусу. Толстые, медно-красные голые мужики, сидя верхом на бочках, поднимали кверху пенящиеся кружки. Женщины, таких же монументальных размеров и тоже голые, медно-красные, с тупым, животным бесстыдством кокетничали с этими, оседлавшими бочонки с пивом «кавалеристами». С ноздреватого, неправильного потолка спускались к таким же неправильным углам конусы каменных сталактитов. И среди них запутались какие-то чудовища, летучие мыши, головастики, гномы, лягушки, нетопыри. И у всей этой нечисти — громадные электрические глаза вспыхивали синими, красными, зелеными и желтыми огнями.

Вот в какой обстановке насасывались

мюнхенским пивом, дымя сигарами и трубками, Гогайзель с его гостями.

Флуг встречен был шумно и радостно.

В облаках табачного дыма замелькали тяжёлые готические кружки и слышалось отовсюду «хох!».

14. «Рыцари пьяной библии»

Новому гостю мигом, с поспешной предупредительностью, подвинули ящик сигар, и перед ним выросла кружка, опоясанная барельефом из жизни ландскнехтов. Было какое-то неизменное изречение заостренными буквами, а свинцовая крышка герметически сохраняла свежесть, вкус и запах доброго мюнхенского пива.

Гогайзель, румяный, светлоусый гигант с маленьким черепом и мясистым бульдожьим лицом, подсел к Флугу.

— Скоро в путь, наш уважаемый гастролёр?..

— Пожалуй, завтра, даже наверное завтра! А вот что, любезный Гогайзель...

И под говор всех остальных Флуг изложил хозяину свой план относительно радиотеле-

графной станции.

Гогайзель кивал головой.

— Натурально! Чем Петроград хуже Парижа? Чем он хуже Брюсселя и Антверпена? Там везде имеются наши радиостанции. Почему же здесь нет?.. Это значило бы, ха-ха, незаслуженно обидеть Петроград! Что касается арматуры и прочего, мы это в несколько дней оборуруем. А вот относительно кабинки придется к моему другу Кнабе. Знаменитая фабрика переносных бетонных домов, барачков, пакгаузов. У него такие громадные поставки, что от щедрот своих он, как добрый немец, соорудит нам чудесную кабинку в лёгком павильонном стиле. Итак, решено. С завтрашнего дня начнутся работы. А теперь соблаговолите расписаться в «пьяной библии».

— Это еще что?..

— Ха-ха-ха! — громко, самодовольно рассмеялся Гогайзель. Тряслись его красные, жирные, пивом налитые щеки, вздрагивал объемистый живот.

— Господа, наш почтенный гость не знает, что такое «пьяная библия»?.. Любезный Штурман, передайте-ка ее сюда...

Штурман, худой и рыжий, весь рыжий, до ресниц и бровей включительно, протянул хозяину большую, в солидном кожаном переплёте книгу.

— Вот она, пьяная библия! А все мы здесь, собирающиеся под этими сводами, «рыцари пьяной библии»...

Флуг перелистывал книгу. Были совсем чистые страницы. Но многие уже записаны разными почерками, далеко не всегда трезвыми. Недаром же это была пьяная библия! Одни скромно ограничивались автографами, другие переписывали изречения и цитаты великих немцев, начиная от Момзена и кончая Бисмарком. Но и у таких светил, как Момзен, брались напрокат все подлейшей тенденциозности афоризмы вроде следующего: «Славянские головы настолько тупы, что истину необходимо вбивать в них ружейными прикладами». Были рыцари, щеголявшие афоризмами собственного измышления. Боже милостивый, что за «литература»!

Эти афоризмы — двух родов. Одни блистали глумлением и бранью по адресу России и русских, другие же являли собою сплошную

похабщину. Что ни слово — самая грубая непристойность, порожденная оскотинившимися от пивных паров мозгами...

Каждая страница сопровождалась виньеточной рамкою, тонко и с необычайной кропотливостью исполненной пером... Содержание виньеток — совсем под стать украшавшему страницы тексту. Либо голая тяжеловесная порнография без юмора, без артистического изящества, либо порнография, переплетенная вместе с самым оголтелым кощунством...

Виньетки всех пятисот страниц рисовались изо дня в день в течение двух лет голодным талантливym — талант чувствовался в каждом штрихе — рисовальщиком Зонтагом. Его пригнул господин Гогайзель. В течение двух лет почтенный заводчик содержал своего бедного соотечественника и платил ему небольшое жалованье... Зато во всей обильной петроградской колонии никто не мог конкурировать с Гогайзелем. И у других были «пьяные библии», но такой пьяной библией, как у Гогайзеля, не мог никто похвастаться.

Ни у кого не было такого обилия автогра-

фов, а самое главное, таких виньеток. Правда, эти рисунки — их можно было рассматривать в лупу — стоили художнику потери зрения. Но, подумаешь, велика важность, что какой-то Зонтаг начал терять глаза, если этой потерей он возвеличил «пьяную библию» Фридриха Гогайзеля!

— Распишитесь! — предложил хозяин.

Гость в буквальном смысле слова исполнил просьбу и, минуя всякие афоризмы — свои ли, чужие ли, твердо, крупно и четко вывел посередине белого, обрамлённого виньеткою листа: «Э. Флуг».

Среди этих «рыцарей пьяной библии» обращал внимание своей громадной огненной бородою мужчина средних лет в дымчатых очках, куривший типичную бургерскую «файку». Окружающие называли его господином профессором.

И в самом деле, это был профессор одного из наших южных университетов — Карл Августович Зе-земан. Он приходился дальним дядюшкой Гогайзелю и приехал к племяннику погостить на недельку, с тем дабы, вернувшись к экзаменам со свежими силами, осно-

вательно резать этих «русских свиней», что доставляло всегда почтенному профессору великое удовольствие...

Гогайзель гордился своим учёным дядюшкой. Он советовал Флугу:

— Побеседуйте с господином профессором... Человек колоссального ума и колоссальных знаний!.. А главное, может рассказать вам кое-что о наших колониях вдоль юго-западной границы. Кстати, вам не приходилось ревизовать эти колонии?..

— Нет, не приходилось.

— Вот видите...

Новых Америк почтенный профессор не открыл Флугу. И без него знал Флуг все о немецких колониях нашего юго-запада. Знал понаслышке. Профессор же, поминутно обсасывая свои покрытые белой пеною густые, лезшие в рот усища, рисовал ему очевиднейшие картины и в таких отрадных красках, что сердце каждого доброго немецкого патриота должно было трепетать от восторга...

— Вы думаете, лучшая земля принадлежит местным польским помещикам?.. Ничего подобного! Самые тучные нивы, самые жирные

луга, самые громадные участки корабельного леса, все это в руках наших колонистов! — с гордостью говорил профессор Зезе-ман. — Каждая усадьба — это небольшой, обнесенный каменной стеною форт, обращенный своими бойницами и амбразурами на восток... В планировке этих колоний принимал участие наш генеральный штаб... Они группируются концентрическими кругами, расходясь от главных стратегических пунктов! Громадные конюшни, в которых могут поместиться целые эскадроны. И такие же, если не больше, сооружения под землю. Там можно прятать запасы снарядов, пулеметы, аэропланы... И даже полевые орудия... Какая организация! В каникулярное время я обходил эти колонии пешком... В таком, знаете, альпийском костюме, шерстяные чулки до колен, мешок за плечами и палка с железным концом... Душою отдыхал в беседе с колонистами. Здоровый, крепкий народ, в большинстве наши отставные унтер-офицеры. А сыновья их служат в германской армии... Какие ясные, трезвые головы! Какой патриотизм!

Делая паузы, господин профессор тянул из

своей кружки, проводя и языком, и губами по мокрым усам. Он долго еще рисовал бы своему собеседнику все прелести колоний юго-западной границы, но Флуг спешил.

— Пойдите, — сказал Гогайзель. — Мы должны все осушить единым духом наши кружки в честь кайзера Вильгельма!

Осушить «единым духом» никому не удалось — слишком велики были кружки, да и многие успели основательно уже нализаться. Но тост получился шумный, и немцы кричали «хох!».

Хозяин проводил почётного гостя, лично помог ему сесть в автомобиль и, захлопывая дверцу, еще раз пообещал завтра же начать работы.

Флуг вернулся в отель во втором часу ночи. Он жил в одном коридоре с графиней Чечени и, думая, что она еще не спит, хотел поглядеться с нею.

Над белой дверью, словно чей-то бессонный глаз, светило зелёным огоньком овальное, в виде небольшого эллипсиса, окошечко. Это показатель, что в номере не потушен свет.

Флуг ударил концом трости в дверь. Дверь немедленно распахнулась. На пороге стояла графиня, бледная-бледная.

— Вам не по себе, нездоровится? — спросил Флуг.

— Ах, я расстроена!..

— Что случилось?.. Можно к вам?

— Можно...

Флуг вошёл, притворив обе двери.

— Ну?..

— Снимки исчезли.

— Как исчезли? Не может быть!

— Увы, это именно так... Я провела вечер у княгини Долгошеевой и по какой-то невероятной оплошности забыла сделать то, что я всегда делаю, — закрыть дверь и взять с собою ключ.

Флуг кусал губы.

— Непростительная бабья рассеянность... Дальше?..

— Дальше... Кодак был на письменном столике... Несколько минут назад, вернувшись от княгини, я заглянула в аппарат и... катушки с пленками не было на месте... Я позвонила горничной, спрашиваю... Никто, говорит,

не входил в мою комнату. По крайней мере, она никого не видела. Но самый факт похищения налицо. Не могла же катушка исчезнуть сверхъестественным образом...

— Я думаю!.. Чудес нет на свете...

Флуг смотрел на нее тяжёлым, недобрым взглядом.

— Безобразия!.. И это вы так опростоволавились? Вы?.. Ирма Чечени, подарившая Австрии Боснию и Герцеговину! Но весь ужас в том, что за вами следят и, главное, мы не знаем — кто? Теперь вы будете на большом подозрении. У вас подрублены крылышки. Вы разгаданы. Понимаете — расшифрованы!.. И если вас не арестуют и не вышлют, то для того лишь, чтоб незаметно следить за вашим дальнейшим поведением... И, как назло, у меня создалось новое, более тонкое и ответственное для вас поручение! Но рисунки и чертежи «дракона», чёрт побери... Это посущественнее фотографий...

— Рисунки и чертежи у него в номере...

— Необходимо завладеть ими! Но ни в коем случае не выкрасть их. Это опасно. Я уже придумал кое-что. И успею завтра до отъезда

еще сделать соответствующее распоряжение. Посылайте мне ежедневно телеграммы. А теперь я отниму у вас полчаса... Надо переговорить еще о многом...

15. Вовка действует

Арканцев, уже в силу привычки и условий дворянски чиновничьей жизни своей, любил вкусно и тонко поесть. Но кухня и повар в обиходе его не играли значения. Он почти не пил вина или пил очень мало. Курил хорошие сигары, но мог обойтись и без сигар.

Все и вся знающая петроградская сплетня, при самом пламенном желании своём, не могла клеветать на женщин, близких Арканцеву, потому что или таковых совсем не было, или он обставлял свои романы слишком уж шито-крыто, искусно пряча концы в воду.

Словом, это был человек уравновешенный, спокойный, бесстрастный. Так, по крайней мере, казалось многим.

На самом же деле у Арканцева была одна страсть, благородная, тонкая. Это любовь, заставлявшая сладостно биться его бюрократическое, как часовой механизм, сердце, — лю-

бовь к старинной живописи и коллекционерству картин.

Но выходило это у Леонида Евгеньевича скромно, тихо — для себя. Именно — для себя. Он никому не навязывал своей страсти к потемневшим от времени холстам, не кричал об этом, подобно другим сановникам, занимающимся коллекционерством больше из снобизма или соображений карьерного свойства, чем по призванию.

Ежегодно Арканцев покупал на несколько тысяч картин. Покупал с разбором и вкусом. Эти благоухающие «валуевские» бакены отлично были знакомы и евреям — торговцам в Александровском рынке, и антикварам покрупнее, занимающим целые бельэтажи на бойких и шумных улицах.

В этом мире Леонид Евгеньевич пользовался известностью. Уже весь громадный кабинет его был увешан картинами. И в других комнатах — рама к раме, холсты всевозможных величин. И некуда было вешать, а он все покупал, и не хватало воли удержаться, поставить наконец точку.

А между тем во всем остальном он обладал

характером изумительной твердости.

Торговцы картинами часто обжигались на нем. Разлетится этаким шустрый господин:

— Ваше превосходительство! Только для вас и берёг как зеницу ока. Жемчужина! Извольте посмотреть! Рубенс, настоящий Рубенс!..

Леонид Евгеньевич, вооружившись очками и, по близорукости, вода благообразным носом своим по темному холсту, из которого неясно проступала сливочно-розовая жирная, как у мамки, грудь, через несколько минут переводил свой «фарфоровый» взгляд на шустрого господина, явно покушавшегося на его карман.

— Милейший... Унесите эту дрянь...

— Как дрянь? Помилуйте, ваше превосходительство... Чистейший Рубенс... Одни тела са чего стоят!..

— Вот именно, в данном случае ровно ничего не стоят. Ни рисунка, ни формы, ни тона... Подделка! Грубая подделка. Освободите меня от этой... мазни...

Провести Арканцева было не так уж легко. Зато с каким наслаждением уходил он в

созерцание нового, действительно стоящего приобретения.

Вот и сейчас, в это воскресное утро, — не надо спешить в министерство — он любовался портретом в ореховой золоченой раме, прислонив его к спинке монументального кожаного дивана.

На письменном столе задрезжал телефон.

Арканцев с недовольной гримасой снял трубку и нарочно измененным голосом спросил:

— Кто изволит говорить?

— Здравствуй, Леонид Евгеньевич. Не притворяйся, пожалуйста, Герасимом. Это я, Криволицкий. Можно к тебе сейчас приехать?

— Дело?

— И даже очень — дело!..

— Приезжай...

Через десять минут Вовка входил в кабинет.

Леонид Евгеньевич стоял на коленях перед мужским портретом молодого гусара двадцатых годов, с отважным взглядом, энергичным поворотом головы и мятежной копной волос.

— Поди сюда, Вовка! — не меняя позы и не оборачиваясь окликнул Арканцев. — Гляди! Настоящий Кипренский. Тут уже никаких сомнений. Эта горячая живопись. Эта сила и размах Рубенса, и тончайшее благородство Ван-Дейка. Сколько романтизма! Какой взлёт! Наверное, один из героев Бородина... Потом брал Париж, в пятнадцатом году, а затем, по чьём знатъ, быть может, попал в декабристы...

— Действительно, хорошая вещь, — согласился Вовка, знавший толк в живописи. — Поздравляю. Сколько?

— Угадай!

— По случаю... Рублей... рублей двести?

Арканцев поспешно встал с колен и, гордый своей любительской удачей, бросил с вызовом:

— Семьдесят пять, мой друг... Семьдесят пять!

— Гроши! Вдвойне поздравляю...

Вдруг — о волшебное превращение! С трансформаторской быстротою исчез восторженный любитель, и перед Вовкою был уже холодный, корректный чиновник, с душою, застегнутой на все пуговики. Леонид Евгенье-

вич вперил в Криволуцкого свой «фарфоровый» взгляд:

— Что-нибудь новое?.. Какие-нибудь факты?..

— Взгляни...

Вовка протянул ему конверт, из которого Ленька вынул одиннадцать фотографических снимков.

— Было двенадцать. Но последний испорчен...

— Да-да. Узнаю. «Огнедышащий Дракон». Кто снимал?..

— Представь, графиня Тригона.

— Как они очутились у тебя?

— Вообрази, до курьёзного просто. Случай! Надо тебе сказать, я имею удовольствие жить по соседству в одном коридоре с этой адски соблазнительной дамой. Мы с нею познакомились у княгини Долгошеевой. Ты знаешь, я не фат и не люблю хвастать, но, кажется, я произвёл на нее впечатление... В её взгляде я угадывал нечто большее, ну, ты меня понимаешь... А когда под столом наши колени касались, она не спешила отодвинуть их. Я тоже не спешил... и, что это было за электриче-

ство!.. От этих прикосновений...

— Послушай, мой друг, нельзя ли сократить этот эротический элемент? Ближе к делу!

— Я и так совсем близко. Но нельзя же так презирать описательную сторону... Вечером, третьего дня, я вышел погулять. Эти коридоры созданы для прогулки... Широкие, уютные, обилие воздуха... Вижу — дверь её приоткрыта и ключ торчит... У нас такие массивные бронированные ключи вроде камергерских. Но, чёрт побери, с прусским орлом!.. Дай, думаю, загляну. Она ведь звала меня к себе... Стучу раз — никакого ответа. Два — то же самое. Три — молчок... Тогда я решил войти. Может быть, не слышит или отдыхает. Вхожу. Салончик освещен. Заглянул в спальню — пусто... И уже на обратном пути увидел на письменном столе «кодак». Представь, так и дернуло меня что-то... Дай, посмотрю... Раскрыл... Вижу — в гнезде катушка с пленками. Я ведь сам любительствую... Пленки не девственно-чистые, а уже использованные... Сам не знаю, как и почему, — это было сильнее меня, — схватил катушку в карман и никем не

замеченный вышел... Повезло... Я начинаю входить во вкус. Но вот! На другой день я поехал к одному приятелю фотографу и, взяв с него слово хранить молчание, заказал эти самые отпечатки... Доволен ты мною?

— Доволен... Теперь любопытно было бы знать, с ведома ли Агапеева сфотографирован был «Дракон»? Во всяком случае, у них и тени подозрения не должно быть, что за ними следят и подозревают. Понимаешь? Эта графиня — слишком крупный игрок, и эти снимки для неё — мелочь. Это лишь подтверждение, что она шпионка... Твоя задача проследить ее на чем-нибудь значительном, большом, что открыло бы нам новые горизонты... Кстати, уехал этот гримирующийся под англичанина господин?

— Уехал.

— Ну вот. Теперь ты должен действовать осмотрительно, тонко. Я сам пока брожу впотьмах, но инстинкт подсказывает мне, что мы накануне какой-то грандиозной авантюры... И если это тот самый гастролёр, которого Вильгельм посылал на «Пантеру»?..

— На «Пантеру»? — с удивлением пере-

спросил Криволицкий, округлив свои ассирийские глаза.

— Если ты интересовался политикой, ты должен помнить знаменитый агадирский инцидент... Вильгельм послал к марокканским берегам броненосец «Пантера»... Что и как — это долго рассказывать. Но суть в том, что с его стороны это был провокационный трюк... У Агадира стоял англо-французский флот. Вильгельм желал убедиться, существует ли между Францией и Англией тайный оборонительный договор. Ему хотелось довести предполагаемых союзников до белого каления, чтобы почувствовать, будут ли они действовать солидарно... И в то же время он командировал некоего Флуга на «Пантеру» передать командующему броненосцем словесное приказание: ни под каким видом не открывать огня и, если бы его открыли первые англо-французы, уходить на всех парах прочь. Уходить, поступившись воинским самолюбием. Он натягивал пружину до последней степени, но не хотел, чтобы она лопнула. Я полагаю, что немец Флуг и англичанин Прэн — одно и то же лицо... Ты что сейчас делаешь? Я

завтракаю дома. Оставайся.

Криволуцкий завтракал у Леньки и просидел до пяти часов. Потом гулял и вернулся к себе в отель вечером. На лестнице он встретил Агапеева, нагруженного двумя папками.

— Вас куда несёт, «король воздуха»?

— Спешу... по делу...

Внизу Агапеева ждал мотор.

За час перед этим его вызвал к телефону мужской голос, назвавшийся полковником Шепетовским. В воздухоплавательных кругах это было крупное имя. И Агапеев был рад случаю познакомиться с этим человеком.

«Я сейчас на Крестовском у... — полковник назвал одно высокопоставленное лицо. — Он очень интересуется техническими подробностями вашего изобретения. Это принесёт вам большую пользу. Соберите все чертежи и будьте готовы, а я пришлю за вами автомобиль... Спросите мотор с Крестовского... До скорого свиданья. Буду рад познакомиться лично».

Агапеев потребовал через швейцара:

— Мотор с Крестовского?..

Подкатила большая черная машина с шо-

фёром в гоночных громадных очках, закрывающих всю верхнюю половину лица.

Швейцар захлопнул дверцу. Агапеев очутился в просторном купе, и машина гудя помчалась в теплую вечернюю мглу...

16. Неприятное пробуждение

Агапеев дымил папиросой, откинувшись на мягкую спинку. Шумная жизнь вечернего города убегала мимо зеркальных стёкол.

И это мелькающее движение, отражающиеся огни, улыбки, пешеходы, встречные моторы и коляски, молодые красивые лица — все это вместе с мягким сумеречным дыханием установившегося мая так манило к себе! Досада, что мотор закрыт наглухо, да и вряд ли вообще раскрывается. И хорошо, что внутри темно и не сидишь, как напоказ.

Пробовал Агапеев опустить окна. Пусть хоть струйка свежего воздуха ворвется. Нет, не открываются. Словно запаяны.

И он курил и мечтал.

Хорошо! Все так удобно складывается. Ему давно говорили, что Шепетовский желает узнать его поближе. Интересуется им. А этот

молодой полковник — большая сила, и от него зависит многое. Что ж, тем лучше!.. Возможно будет через него получить место начальника одной из воздухоплавательных школ... И тогда...

Агапеев сам не мог себе ясно представить, что именно будет тогда... Но сквозь облако папиросного дыма, реявшего в купе, он увидел близко, до жуткого близко, влажные, как вынутый из воды коралл, губы княжны, увидел зеленоватые глаза с японским приподнятым к вискам, разрезом. И тут же другие губы, не такие свежие, но, чёрт знает, какой притаился в них опыт!.. А эти глаза, с тяжелыми веками...

Обе, и та и другая, манили...

Он опомнился, когда весь Каменноостровский остался уже позади с его ровным торцом и плавный бег машины сменился подбрасыванием на ухабах скверной булыжной мостовой. Это была глухая, вымершая набережная вдоль широкой, спокойной реки. Золотистые и багровые отцветы скользили по её ровному застывшему зеркалу.

Агапеев даже не сразу вспомнил, какая это

набережная. Их так много на островах, и все они так похожи, в конце концов, друг на друга...

Машина с разгону стала. По инерции Агапеева так и швырнуло всего вперёд. Соскочили вниз папки. Он хотел их наладить в прежний порядок, но стремительно раскрылась и захлопнулась дверца и рядом с Агапеевым очутился кто-то. Положительно — «кто-то». Агапеев не мог разглядеть своего нежданно-негаданно свалившегося спутника. «Спутник» быстро нажал одну кнопку, другую. На окнах опустились глухие решетки. Автомобиль мчался — он уже мчался — среди крошечной тьмы.

Сначала растерявшийся Агапеев стал рваться, пытаюсь распахнуть дверцу, звать на помощь. Но сильные пальцы схватили его за руку, а голос невидимого спутника бросил ему угрожающее из чёрного, как сажа, мрака:

— Если вы двигаетесь или кричите, я вас тотчас же застрелю. Прошу сидеть смирно и не волноваться...

Спутник с усилием говорил по-русски... Видно, что этот язык — не родной ему.

— На каком основании?.. Как вы смееете?.. Кто вы такой? — пытался протестовать Агапеев.

— Не все ли равно вам? Называйте меня Иксом.

— У меня нет знакомых с фамилией Икс. Если это шутка, то глупая и грубая! Я прошу вас освободить меня от вашего общества... Я спешу, меня ждут.

— Это не шутка. И затем — вас никто не ждет...

Машина, гудя и содрогаясь, подпрыгивая на ухабах, вихрем летела. И судя по безмолвию сирены, путь был совершенно свободен.

Агапеев, похолодевший, забился в угол, подалеже от этого страшного человека с револьвером. И он слышал запах сильных, сладковатых духов. Казалось, неведомый спутник весь был пропитан ими.

Тоска, тягучая тоска, чем-то вязким холодным наполнила все существо Агапеева. И кружилась голова, и тошнило. И он не знал, от чего? От страха, животного страха перед тем, что случилось, или от этих сладких, пряных духов?

Вступить в борьбу, схватить бандита за горло? Какой смысл? Он безоружен, а у того револьвер, и — шансы далеко не равные.

Крутой поворот машины, протяжный стон сирены — и опять безумный бег в слепое пространство.

И растёт, ширится тоска в груди... Неужели конец? И он уже не вернется и не увидит больше... Никого не увидит! Как глупо очутился он в этой ловушке. Вместо Шепетовского с ним говорил кто-то другой — в этом теперь никакого сомнения. Кому он понадобился и зачем?

Агапеев терялся в догадках.

А спутник, там у себя, завозился над чем-то. Агапеев услышал оттуда:

— Опустите руки... Одно движение — и я дам вам пулю!

И тотчас же что-то мокрое, липкое громадным пластырем залепило Агапееву все лицо. И стало еще темнее, и дышать было нечем... Какие-то обрывки потухающего сознания... Несколько судорожных движений, слабых, скованных снотворной истомою, и он провалился куда-то и летел, летел без конца... И по-

гас последний трепетный луч...

Светало. Над рекою клубится туман... Застилая даль, тихо и тягуче ползли жемчужно-белёдые клочья хаотическим хороводом каких-то косматых призраков... Просыпались деревья, влажные, напоенные росой, и где-то в гуще листвы несмело, еще спросонок, слышалось одинокое щебетание.

На скамейке, под приземистой липой лежал молодой человек, бледный, хорошо одетый, слишком хорошо для бесприютного бродяги, ночующего под открытым небом. У изголовья — смятый котелок. Случайно смятый. Он весь был новенький и дорогой. И странно, как у мёртвого, развернулись носками ноги в жёлтых щегольских ботинках. Развернулись и как-то деревянно застыли.

Бледный молодой человек завозился. И ему стоило усилия разомкнуть склеившиеся веки. И слабость во всем теле, как будто четверней переехало его, и дурной вкус во рту, и противный сладковатый запах...

Через минуту молодой человек сидел на скамейке, а в голове и ногах была тяжесть. И

еще не придя в себя, не понимая, где он и что с ним, озирался птичьими глазами. А мысль работала, мучительно работала, желая вспомнить...

Свежо. Прохватывала дрожь. Он повёл плечами, съежился, застегнул пальто. Взгляд блуждал.

Он вспомнил и сладкий запах духов, и угрозу, и еще запах, тяжелый, дурманящий, неприятный. И — больше ничего... Дальше — пробуждение на этой скамейке.

И до того все было нелепо, кошмарно, мелькнула даже мысль, не сон ли все это?

Увы, не сон. Спеша, он встретил на лестнице Криволицкого. Захлопнулась дверца мотора. Он хотел опустить окна, а потом, потом уже где-то далеко, в глуши ворвался к нему этот надушенный бандит. Человек без лица. Человек-фантом.

Папки, чертежи, все это исчезло. Его ограбили самым предательским, самым наглым образом. И он даже не знал кто!

Это не простые бандиты.

Золотые часы, бумажник с довольно крупной суммой — все это на месте. Ничто не

пропало.

Он поднялся с тупым безразличием ко всему, надел котелок, не позаботившись даже выпрямить его и, не зная местности, побрел вдоль набережной.

Идти пришлось конец немалый. Все клубился над рекою туман, и ползли немым хороводом косматые призраки, но становились воздушней и легче, и мертвенно-сизый расцвет медленно переливался в утро, обещавшее погоду и солнце.

Агапеев брел наугад, без мысли, без желаний, отупевший какой-то весь.

Вот уже и знакомые места. Он помнит зеленый дом на углу с вывеской «Виноторговля», помнит деревянный мост. Городовой в светлых жёстких усах с наспавшимся, красным и хмурым лицом, бросил подозрительный взгляд на человека в измятом котелке и с нетвердой походкою.

Агапеев свернул на мост. Здесь уже стали попадаться люди. Мост как-то прозрачно грохотал под копытами. Завыла сирена автомобиля. Спешили в город из загородного сада запоздавшие гуляки. Два-три помятых женских

лица по привычке стрельнули подведенными глазами из-под широких вызывающих шляпок...

Попался грязный и шершавый ночной «ванька» с такой же, как и сам, немытой и нечищенной пролеткой... Самому элегантному экипажу не обрадовался бы так Агапеев. Расцеловать был готов...

«Ванька», нахлестывая свою клячу, медленной рысцою, трюх-трюх, волок, не вез, а именно волок через весь Каменноостровский своего клюющего носом седока.

Агапеева разморило, как после кутежа. Да разве добрая порция снотворного не была своеобразным кутежом? Он дремал...

У себя в номере Агапеев свалился и крепко спал до полудня... И спал бы еще, но его разбудили... Он сердито вскочил с кровати, отпер дверь и плюхнулся назад в постель, закрывшись одеялом до горла. На пороге с готовым, учтивым извинением обрисовалась фигура молодого офицера.

— Я думал, что вы бодрствуете. И если б знал...

— Ничего... Пожалуйста, садитесь. Это я

должен извиняться... Второй час...

Офицер, сказав несколько любезностей, вполне, впрочем, искренних по адресу Агапеева, смелыми полетами которого ему приходилось не раз восхищаться, приступил к цели своего визита:

— Я беспокоил вас от имени вам несомненно знакомого, это имя полковника Шепетовского. Он обещал одному лицу с высоким положением представить вас, чтобы вы лично продемонстрировали все ваши относящиеся к «Дракону» чертежи и рисунки, сопровождая соответствующими пояснениями. Если вы сегодня свободны между...

Офицер осёкся, до того поразил его Агапеев своим видом.

Приподнявшись на локте, знаменитый авиатор, бледный, с ужасом, округлившим его птичьи глаза, смотрел на молодого офицера.

Смотрел, как столбняком объятый...

17. Барон с губами вампира

Барон Отто Гумберг еще этой зимою появился на петроградском горизонте. Другой барон, значительно старше и с более трудной и длинной фамилией — Крейцнах фон Крейцнау — взял Гумберга под свое покровительство. Барон Крейцнах занимал видный пост, имея к тому же большие связи, и немудрено, что молодой человек попал сразу в общество, перезнакомившись с военной и штатской молодежью гвардейских частей и так называемых «элегантных канцелярш».

Но барона Гумберга тянуло к военным и преимущественно кавалерским кругам. Объяснял он это любовью к конскому спорту и своему собственному, совсем недавнему кавалерийскому прошлому. Настолько недавнему, что под изящным штатским платьем, — Гумберг, надо отдать ему справедливость, одевался с подлинным, для немца в особенности, изяществом, — угадывался сразу германский офицер.

Но это не была типичная прусская, аршин глотающая, вымуштрованность... Наоборот,

во всей повадке и манере Гумберга было что-то скорей женственное, хотя в этой женственности с первого взгляда чувствовалась мужская выносливость и сила...

Светлый блондин с тщательным пробором жиденьких волос и низко подстриженными усами Гумберг четкой правильностью своего лица напоминал греческого божка. Скорей всего, молодого Гермеса. Но было в этом прусском Гермесе что-то отталкивающее, портившее его красоту, красоту несомненную.

Что-то ледяное, нечеловеческое, скорее звериное было в блеске его холодных и, если не всматриваться в них, красивых больших глаз.

На лице, бледном особенной здоровой бледностью, ярко и беспокойно алели очерченные с изысканной правильностью губы. И что-то вампирье было в них. И не всякий сказал бы сразу, тронуты они какой-нибудь жирной губной помадой, осталась ли на них еще невысохшая кровь, или такие уже они от природы у него ярко-красные?

Скорее женский рот, чем мужской. Но портили его сухие, жёсткая линии, расходившая-

ся от углов.

При своём небольшом росте Гумберг отличался редкой пропорциональностью фигуры, и поэтому не было впечатления маленького человека.

Он душился какими-то сладковатыми, чересчур сладковатыми, пряными духами. И на вопрос какой это запах, отвечал:

— Это восточные духи. Таких нет в Европе...

И действительно не было.

Что общего имел барон Гумберг с Востоком?..

По его словам, он был два года инструктором в турецкой армии, а затем дрался в её рядах против итальянцев среди песков Триполитанской пустыни.

Можно было дать ему и двадцать четыре года, и все тридцать пять — такой неуловимостью отличалось это лицо без возраста. Сегодня молодое, а завтра пожившее весьма и весьма. И трудно было сказать, в зависимости от чего именно так резко менялся барон Отто Гумберг.

В каком полку он служил у себя в Герма-

нии? Гумберг молвил с гордостью:

— В «Гусарах смерти».

Говорил правду. Охотно показывал фотографию со своим изображением в расшитой белыми шнурами венгерке и в мохнатой медвежьей шапке с белым черепом и двумя крест на крест, белыми костями.

Зачем он приехал в Петроград? И на какие живёт средства? Никто этим не интересовался. Да и не было ни охоты, ни времени интересоваться. Какое кому дело, раз на нем всегда все самое дорогое с иголки? Бумажник набит деньгами, и обладатель его не стеснялся в расходах.

Где он жил? Штаб-квартирой его был номер одной из первоклассных гостиниц. Но Гумберг часто уезжал к своим родственникам в Остзейский край, жила по нескольку дней в столичных пригородах по Варшавской, Царскосельской и Прибалтийской дорогах, а иногда отлучался в Финляндию.

Он имел знакомых и в том полку, где служил Дмитрий Солнцев-Насакин, брат княжны Тамары.

Он обнаруживал большой интерес к стро-

евой службе. Ранним утром, зимою, когда было темно, Гумберг являлся в манеж смотреть сменную езду. Всадники, друг за другом, то галопом, то рысью носились вдоль стен под наблюдением сменного офицера. И крупные, сильные лошади густо «дымились» молочным паром. Туман заволакивал весь манеж, и всадники чудились призрачными...

Он восхищался рубкою наших нижних чинов и офицеров, сознавая, что у них, в Германии, это, как и многое другое в русской коннице, к сожалению, далеко не на такой высоте.

С каким-то наивным цинизмом удивлялся он человеческим отношениям русского офицера к солдату.

— У нас подобная мягкость недопустима. Нижнего чина следует держать в ежовых рукавицах. Мне самому часто приходилось гонять смену, и я не выпускал из рук бича. И если я оставался недоволен посадкою или прыжками через барьер, я хлестал солдат бичом, и так ловко, что рассекал им рейтузы. Иначе нельзя! Необходима самая суровая дисциплина...

Не встречая в своей откровенности поощрения, Гумберг умалчивал и об остальных своих — да и не только своих, все они так у себя поступали — художествах.

Он мог бы порассказать, как господа, ротмистры и лейтенанты в медвежьих шапках с черепами, вешали солдатам на грудь торбу с навозом, перешибали кулаком барабанные перепонки и, глумясь, заставляли начисто вылизывать языком грязный пол в казарме... С особенным, смакующим наслаждением производились все эти издевательства над поляками и эльзасцами.

При желании Гумберг умел быть и тактичным, и вкрадчивым. Эта вкрадчивость помогла ему в обществе...

Дмитрий Солнцев-Насакин ввел его в свою семью. Отец не выходил к нему. Он вообще редко выходил к кому бы то ни было. Княгиня-мать, доброе, тихое и кроткое существо, относилась к Гумбергу безразлично. «Раз Дима хочет (а Дима был её божком и любимцем), пусть бывает»...

Тщеславный, падкий до всего, что связано с древностью рода и титулом, Гумберг любил

напомянуть при всяком удобном случае, что его предки — рыцари крестовых походов на языческую Литву. И при этом замечал, с одной стороны с грустью, с другой — кичливо, что дальше предки династии Гогенцоллернов — герои еще первых Крестовых походов на Святую землю, и что они, Гогенцоллерны, едва ли не самый древний род во всей Европе.

Тогда младший брат Дмитрия, Василий, армейский улан, приехавший домой в гости откуда-то из Царства Польского, развернул перед Гумбергом родословное древо Солнцевых-Насакиных. Этот громадный картон Василий в течение двух месяцев, по нескольку часов, изо дня в день, вычерчивал лежа. И он доказал барону, что Солнцевы-Насакины — прямые потомки Рюриковы и род их старше Гогенцоллернов по крайней мере лет на двести. Род, насчитывающий нескольких святых и многих удельных князей.

Гумберг проникся каким-то благоговением и стал особенно дорожить честью знакомства с этим «историческим» домом.

В княжне Тамаре он побуждал любопыт-

ство, смешанное с каким-то необъяснимым отвращением. Но кокетничать с ним было ей в удовольствие. Вообще она любила завлекать. Ей нравилось дразнить мужчин, читать в пожатии руки, в глазах, в горячей, хлынувшей в лицо краске — желание...

Оставшись как-то с княжной вдвоём, Гумберг подарил ее откровением:

— Женщин я терпеть не могу... Я их презираю. Но вы мне нравитесь. Вы — первая...

И осмотревшись своими звериными глазами, нет ли кого поблизости, Гумберг кошачьим движением прыгнул к ней.

— Слышите, вы — первая!

— Вот как! Значит мне надо преисполниться гордостью, что мне выпала честь обратиться к вам на путь истинный.

— Почему истинный... Дело вкуса...

— Верно... Вкусы бывают разные... — И в зеленоватых глазах Тамары он увидел жгучую, оскорбительную насмешку.

Он закусил губы и молча отошёл, холодный, погасший.

Он хотел наладить добрые товарищеские отношения, но Тамара была настороже.

Раз как-то поздною весною княжна проговорилась, что любит кататься верхом. Но брат днем занят в полку, вечером ездит в город к невесте, маркизе Реале, и не может быть ей кавалером. Да и вообще братья — какие же это кавалеры?..

Гумберг поймал ее на слове.

— В таком случае, покатаемся как-нибудь вместе?

— Покатаемся...

Отец, пожалуй, был бы против этой совместной прогулки своей дочери с молодым человеком, которого он упорно не замечал у себя в доме и который к тому же был немец. А немцев старый князь терпеть не мог! Он не служил никогда ни одного дня на правительственной службе из упрямого нежелания когда-нибудь и где-нибудь подчиниться начальнику-немцу.

— Чтобы я, потомок святой Ольги и Владимира Мономаха, гнул спину перед каким-то проходимцем из Риги или Митавы? Слуга покорный...

И князь часть дня проводил в халате, другую часть — в кожаной охотничьей куртке, а

вечером, при керосиновой лампе — электричества у себя в кабинете он не терпел — гусиным пером писал свои воспоминаия.

Но отец уехал по каким-то делам в Москву — выбирался он из дому редко, и это было целым событием — и осмелевшая княжна, уже готовая, в костюме и с хлыстом, поджидала на дворе усадьбы лошадей и с ними — Гумберга.

Он должен был ехать на лошади Дмитрия, а Тамара на гнедом, рослом гунтере брата — у него их было два — Конквистадоре.

Тамара ездила по-мужски. И вот почему она была в невысоких лакированных сапожках с двумя, вместо одной, шпорами. Короткое черное платье, гладко охватывавшее фигуру, переходило в нечто близкое к шароварам, хотя это не были шаровары. Туго скрученный узел темно-рыжеватых волос увенчан был пришпиленным к нему плоским мужским котелком с плоскими полями.

С улицы донеслось характерное цоканье копыт по мостовой. Барон Гумберг шагом въехал во двор. А за ним на Конквистадоре денщик Дмитрия, черноусый хохол Войтиченко.

Барон, с подчеркнутой галантностью приподнял цилиндр, акробатическим движением перенес правую ногу над седлом влево, соскочил обеими ногами на землю, не касаясь рукою ни лошади, ни седла.

— Разрешите помочь вам, княжна?

— Зачем? Видите — я по-мужски... А следовательно, должна обходиться без посторонней помощи.

18. Хлыст княжны Тамары

И вправду, Тамара показала себя настоящим кавалеристом. Войтченко хотел было опустить стремя.

— Лэгче будэ, ваше сыятэльство...

— Оставь, не надо!

Разобрала рукой поводья и, высоко подняв ногу в лакированном сапожке, сама вдела ее в стремя и потом сразу, лёгким броском своего упругого девичьего тела, очутилась уже в седле.

С красных вампирьих губ сорвалось:

— Браво, княжна, браво!

Осталась позади одна улица, другая. Всадники выехали на шоссе. От серого полотнища

убегал по сторонам луг, а впереди темной синевой обозначался на фоне ясного неба сосновый лес. У дороги время от времени поднимались гранитные, пирамидальной формыobelisks. Это были «вёрсты», уцелевшие с Екатерининских времён, когда и в этих придорожных столбах сказывался монументальный, к бессмертию стремящийся век.

— Как вы находите мою посадку, княжна? — спросил Гумберг, ожидая услышать комплимент и стараясь обеспечить его себе заранее: — В полку я считался одним из первых ездоков...

Тамара лукаво-критическим взглядом окинула своего спутника.

Гумберг был великолепен. Хоть сейчас прямо в аллее Тиргартена, в чаянии желанной встречи с кайзером, тоже притворяющимся знаменитым кавалеристом.

Цилиндр, визитка в обтяжку, застегнутая на две пуговицы, и умопомрачительный галфе, как шахматная доска — в белых и чёрных квадратиках.

Гумберг ждал с нетерпением всяческих приятностей по своему адресу. Но Тамара с

первых же слов охладила его:

— Я буду критиковать... я сама езжу. И оба моих брата в коннице.

— Критикуйте, я только этого и прошу, — хотя в душе он вовсе не желал критики.

— Извольте. У вас неестественная посадка. Вы глотаете аршин...

— Глотаю аршин?..

— Да, слишком стараетесь прямо сидеть. Нужна свобода всего тела. А в остальном — ничего... По двенадцатибалльной системе вам можно поставить восемь...

Гумберг молчал надувшись.

Княжна подняла своего гунтера в галоп. Гумберг поскакал за нею, и на галопе продолжая «глотать аршин».

Тамара, увлекшись быстрой ездой, шпорила своего Конквистадора все энергичней, и галоп перешёл в карьер. Только воздух свистел кругом. Девушка покраснелась. Каким-то вызовом, хмельным и буйным, горели зеленые глаза...

И когда вспотевший, как черная бронза, Конквистадор, роняя с морды клочья белой пены, уже выступал шагом — лес был совсем

близко, и с дыханием ветерка доносился острый аромат хвои, — барон заговорил:

— Княжна, вы давно не видели Агапеева?

— Дня три-четыре. Это я считаю давно. И он к нам не приезжал, и я эти дни в городе не была. А почему вы спрашиваете? Ведь вы даже незнакомы друг с другом?

Гумберг загадочно улыбнулся.

— Так... спросил... Вы, кажется, большие друзья?

— Да, мы друзья, — ответила просто княжна. — Он очень милый и талантливый в своей области.

— Говорят! Повсюду только и слышишь об его «Огнедышащем драконе». Он вам нравится? Не «дракон», нет, а сам Агапеев?..

— Я же вам только что сказала, что мы — друзья. А раз это так, значит, нравится...

— Вы прикидываетесь непонимающей. Я имею в виду совсем не то. Он вам нравится как мужчина? Вы чувствуете в нем пол?

Этот допрос начинал злить княжну. И она бросила:

— Вот в вас я совсем не чувствую пола! Вы нечто среднее между мужчиной и женщи-

ной... Довольны?..

Гумберг нахмурился под лоснящимся цилиндром, закусив свои подозрительно-красные губы.

— Вы начинаете говорить дерзости!

— Мой ответ стоит вашего вопроса. На каком основании вы так настойчиво допытываетесь? Нравится или не нравится он мне как мужчина. Ведь я же не любопытна знать, нравится вам или не нравится Бэби?..

Это уже не в бровь, а в самый глаз! Под кличку Бэби весьма известен был один молодой светский шалопай, румянивший щеки и подводивший глаза. Гумберг почёл за благо отразить удар чистосердечным признанием — сердиться или делать вид, что сердишься, было бы хуже. И он воскликнул:

— Бэби — одна прелесть!.. — натянуто-фальшиво прозвучало.

Кони отмахивались головой и хвостами от наседавших мух, громадных, синих, жужжащих.

Гумберг вспомнил — кстати, повод нарушить неприятное молчание...

— У нас, да и у вас, на севере — это еще ни-

чего. Но в жару, на юге, эти мухи — бич для лошадей! И я помню в Триполи, когда мы с Энвер-пашой, тогда он был только Энвер-беем, брали в плен итальянских кавалеристов: у каждого из них имелся особый султан из лошадиного хвоста, чтобы во время езды отгонять мух.

— Вот как. Это для меня вдвойне ново. Во-первых, я ничего не знала про такие султаны, а во-вторых, неужели вы сражались против итальянцев? Ведь это же нарушение — как это называется в политике?.. Германия в союзе с Италией, насколько я знаю?..

— Да, но союз одно, а собственная политика — другое. И не в интересах Германии колониальный рост нашей «союзницы».

— И много там было вас... германских офицеров?..

— В Триполи? Человек семьдесят.

— Стыдитесь, барон! И лучше никогда об этом не говорите...

— Наоборот, я горжусь! Мы, руководя всяким арабским сбродом, поколачивали эту опереточную армию... Арабы и турки, надо сознаться, большие художники по части все-

возможных пыток. Я видел, каким пыткам подвергли они пленных берсальеров. В одном оазисе я сейчас вам скажу точно, в Занзуре, они устроили живую аллею смерти. По обеим сторонам тянулись кресты и на каждом — распятый берсальер... Вы себе представить не можете, какое это было драгоценное зрелище! Именно драгоценное! Такого развлечения не могут себе позволить в наш век все Вандербильды и Корнеджи, взятые вместе... Эти свисшие головы, эти окровавленные руки и ноги... Некоторые успели сойти с ума и выли, протяжно так... Это не был человеческий вой... И арабы плясали вокруг при свете факелов, а у одного берсальера...

— Замолчите, барон! Слышите?!. Довольно этих гадостей! — оборвала его княжна. — Как вам не стыдно? Офицер избранного полка, вы, который на каждом шагу кичитесь вашей германской культурой, и вы смакуете все эти зверства?

Она задыхалась и, несмотря на жару, побледнела. Ей неудержимо хотелось ударить хлыстом по этому красивому лицу, так ударить, чтоб кровавая борозда легла поперёк...

И надолго легла...

Гумберг увидел, что зашёл далеко. Надо помнить, с кем имеешь дело. Эти русские только и носятся со своей славянской сентиментальностью.

— Княжна, вы не так меня поняли... Я сам не одобрял этих зверств. Но один в поле не воин. И осмелюсь я только выступить в защиту, эти дикие, чёрные обезьяны...

Но Тамара не слышала. Ей физически противно было соседство Гумберга, тошнило от его сладких духов, и, круто свернув с дороги, подняв лошадь в галоп, она бросилась в лес. И только там, в прохладной тени косматых, протяжно гудящих верхушками сосен, догнал ее Гумберг.

— Неужели вы сердитесь? Давайте заключим мир!

— Мира не может быть между нами. Слишком по-разному смотрит каждый из нас на вещи, — ответила княжна строго и вдумчиво.

— Ну, в таком случае — перемирие. И что за странная манера — заглубляться. Светские барышни должны скользить... А вы — углубляетесь.

— В таком случае я не светская... Но бросим этот разговор. Я не желаю отравлять всю прогулку... Довольно... Здесь так хорошо в лесу...

— Не правда ли? — подхватил Гумберг. — И поэтому я предлагаю нам спешиться и посидеть на траве...

Княжна молча кивнула, торопясь скорей сойти с лошади, чтоб Гумберг не успел ей помочь.

Он отвел коней в сторону, привязав их поводом к тоненькой молодой сосенке с так нежно шелушащейся желтыми пленками корой.

Нет, положительно испорчена прогулка, думала Тамара с досадой. С каким удовольствием, будь она одна, легла бы на спину и, запрокинув руки за голову, ушла бы вся в созерцание далёкого неба, с тихо скользящим, как вата бледным, неустанно меняющим очертанием, облачком. И так лежать долго, без мыслей, без желаний... Хорошо... Не то явь, не то прозрачный сон... А тучки плывут и, медленно разрываясь, тают в чистой лазури...

Но это в другой раз. А теперь надо чинно, поджав колени сидеть, на могучих корнях гигантской сосны и следить, как за собою, так и за своим кавалером...

Гумберг с подчеркнутой церемонностью испросил разрешения закурить.

— Мы не в гостиной, — пожала плечами Тамара.

Здесь, на природе, в лесу, под тягучий, задумчивый гул шепчущихся деревьев, в тени, с ярко дрожащими пятнами солнечных зайчиков, понемногу остыл её гнев...

Тамара вспомнила, что у неё растрепалась прическа. Она отколола шляпу, жалея, что нет под рукою зеркала. Разве распустить волосы? Легче будет сделать новый узел. Она колебалась, удобно ли? Хотя почему неудобно?.. Этим она подчеркнёт свое к нему полное безразличие. И тотчас же поймала себя на лжи. Неутомимый бесёнок ненасытного желания нравиться заговорил в ней. Знала, что распущенные волосы красят ее...

И притворяясь, что забыла не только о близости Гумберга, а и самом существовании его, вынула шпильки... Тёмным золотом хлы-

нули на покатые плечи и гибкую спину тяжёлые, упругие волны... И как сияние загорелись на солнце, пронзенные упавшим сквозь листву лучом...

Гумберг, ошалелый, не мог оторвать глаз... И в этих холодных глазах вспыхнуло какое-то безумие... Он сдерживал себя, но судорогою кривило лицо, и он задрожал весь... Он не мог видеть этих, пылающих огнём, густых, прекрасных волос... И вся княжна была прекрасна, как рыжекудрая фея лесов, как молодая амазонка, у которой так чарующе проснулась женственность...

Бешеное желание рвать целыми прядями эти волосы и до крови искусать эти недоступные, свежие коралловые губы, овладело «гусаром смерти»...

Спружинившись, он кошкою бросился на нее... Нападение не застало врасплох девушку. Молнией обожгла ее мысль, что за свое кокетство она может заплатить дорогой ценою. Страшен был вид Гумберга. И если его не осадить сейчас же, добром это не кончится... Схватив хлыст, она изо всей силы, с жестоким наслаждением ударила барона. И через всю

щеку, от виска и до подбородка, лёг кровавый рубец...

Нестерпимая боль остановила Гумберга. Он отпрянул, схватившись сначала за лицо, потом за карман своих клетчатых галифе, где у него был револьвер... Опомнившись, оскалил белые зубы, сжав кулаки... В воздухе было еще много электричества, но гроза уже миновала...

А княжна стояла бледная, решительная, все еще крепко сжимая хлыст.

— Негодяй!.. Вас хватило бы стрелять в женщину!..

— Это невольно... Вы так оскорбили меня... Но я никогда не унизился бы...

— Потому что боитесь... Страх!.. А если бы вы были уверены в безнаказанности...

— Княжна, умоляю вас, пусть это все останется между нами!.. Я и так жестоко наказан. Не говорите никому... Я готов...

— Успокойтесь! Я не скажу брату. И вы, храбрый «гусар смерти», можете быть уверенным, что вас не вызовут на дуэль...

19. За что?

Княжна слишком уже обесценивала все минусы Гумберга. Он не отличался, правда, безумной отвагою, но и не был таким уж отчаянным трусом. И где-нибудь там, у себя в Данциге или Познани, принял бы вызов и стал у барьера.

Но здесь, в этой стране, — сохрани Бог! Малейший, связанный с его именем скандал нанёс бы неизгладимый вред тому делу, ради которого он приехал в Россию. Лучше какое угодно унижение, только не скандал!

Вот почему с такой покорностью — что кипело и бушевало под этой внешней покорностью, это уже другой вопрос! — выслушал Гумберга «дружеский совет» княжны. И вправду это был дружеский совет, заботящийся о том, чтоб менее всего скомпрометировать Гумберга.

— Вернуться вместе — невозможно. Для вас было бы хуже. Этот рубец, он никак не может сойти, скажем, за след от падения с лошади. По-моему, наилучший выход, таков: здесь, на шоссе, движение небольшое, народу мало,

и вас никто не увидит. Наконец вы можете закрываться платком. А дальше такая комбинация: вы слезаете с лошади и глухими улицами кое-как пробираетесь на вокзал и едете в Петроград, забившись куда-нибудь в вагон третьего класса, чтоб вас не видели те, кто вас знает. А я с вашей лошадьёю в поводу возвращаюсь домой и отсылаю её с денщиком брата в эскадрон. На вопрос Дмитрия, где вы и что с вами, я скажу, что вы упали, расшиблись и сломя голову бросились в Петроград к вашему... ну, доктору, что ли. Таким образом, это будет настоящий секрет, а не секрет Полишинеля. Вы же сидите безвыходно у себя и, никого не принимая, почаще меняйте компрессы...

— Вы слишком заботливы, княжна, — с ироническим поклоном, ответил Гумберг.

Тамара наспех убрала свои рыже-огненные на солнце густые волны в готовый рассыпаться узел. Двинулись в обратный путь-дорогу. И если не очень весела первая часть прогулки была, то про возвращение лучше и не говорить. Княжна ехала впереди. Гумберг корпуса на два сзади. И хотя на душе его

скребли тысячи кошек злобы и мести, он, однако, именно и подумал этим кавалерским словечком: «на два корпуса».

Он об одном только молил чёрта-дьявола — бога он никогда не знал, как истый прусак, веря больше всего в Круппа, — молил, чтоб рано ли, поздно ли мог безнаказанно отомстить этой противной девчонке. О, с каким наслаждением распял бы он это молодое тело, как распинал в Триполи пленных берсальеров!..

Что ж... Если этот Агапеев и в самом деле жених, то Гумберг уже отомстил наполовину...

Близко первые домики предместья. Гумберг спешил, передал поводья Тамаре и, откланявшись, побрел задворками на вокзал. Тамара уже тронулась дальше, одвуконь. Улыбнулась при виде мелькающей в траве фигуры в изящнейшей визитке, цилиндре и пёстрых клетчатых галифе. Превратившись в пехотинца, к тому же еще «раненого», Гумберг стал жалок девушке. Исчезло к нему враждебное чувство, и она попеняла на себя за свою жестокость. Но, увы, нельзя было по-

ступить иначе. Не огрей она его хлыстом — она даже думать боялась, что могло выйти...

Тамара прошла к себе в комнату переодеться.

— Ваше сиятельство, из города несколько раз спрашивали по телефону, — доложила вся в чёрном и белом переднике белёлая горничная.

— Кто?

— Из Семирамисина... Барышня-маркиза!..

Где-то в глубине затрещало и пронесся через весь дом телефонный звонок.

— Это верно опять они, — заспешила горничная и, вернувшись, подтвердила: — Они...

— Алло?

— Мара, ты? — спросила по-французски старшая маркезина, невеста Дмитрия.

— Я только что вернулась с прогулки верхом... Ты звонила уже... Что-нибудь, или так, поболтать захотелось?

— Я спешила тебя известить. Оказывается, вчера ночью арестован Агапеев.

Трубка дрогнула в руке княжны, и чужим голосом у неё вырвалось:

— Глупости, не может быть!.. Арестован?

За что, почему? Может быть, кто-нибудь другой... Ты ошиблась...

— Ах, нет же, Мара. Он! Я не стала бы тебя волновать, если бы не знала наверное.

— Но, за что же, за что, дорогая? Какое такое преступление мог совершить этот мальчик?

— Не знаю. И мама не знает...

— погоди, милая, не вешай трубку... Дай мне собраться с мыслями. Как это дико!

И княжна почувствовала вдруг, что Агапеев близок ей, ближе, чем обыкновенный знакомый, поклонник, и надо выручать его, хлопотать. Словом, что-то такое делать, спешное, безотлагательное. Сейчас же, сию минуту она помчится в город. И она сказала Маргарите:

— Через час-полтора я буду у тебя с первым же поездом. — И повесила трубку.

Ей было стыдно за свои лакированные сапожки со шпорами, и они показались ей такими ненужными теперь.

— Переодеваться, скорей переодеваться — и на вокзал!..

В вагоне первого класса сидел громадный

свитский генерал в легком нежно-сиреневом пальто. Какие-то старухи важного и скучного вида говорили между собою по-английски. Генерал, приподнявшись и блеснув под светло-седыми усами золотом нескольких зубов, учтиво козырнул княжне.

Поезд уже тихо поплыл, как в вагон сослепу вбежала Сонечка Эспарбэ. Увидев княжну, бросилась к ней:

— Представь, Мара! Чуть-чуть не опоздала. Семён гнал вовсю... Лошадь, говорит, зарежу, а не опоздаете... Что с тобою, Мара, ты грустна?..

Приятный голос звучал не настолько громко, чтобы это было вульгарно, но и недостаточно тихо для благовоспитанной атмосферы вагона с этими скучными дамами, и, бросив мельком неодобрительный взгляд на Сонечку, с её красивым личиком, с розовыми отсветами, падавшими от шляпы на нежно-матовые черты, едва-едва распустившегося миниатюрного полуребенка, они продолжали свой английский разговор.

— Пойдём в купе, — предложила Сонечка. В купе она бросилась целовать княжну.

— Ах, Мара, я такая несчастная! Этот противный Дабиженский... Он мне всю душу вымотал...

— Как, опять?

— Опять! Все время у этой дрянной фифки! У этой, как ты их определяешь, женщины, которая принадлежит всем. И она, тварь, осмелилась мне звонить по телефону! Мне!.. Оставьте, говорит, в покое Дабиженского. Он меня любит, а не вас!.. Каково!.. Я плакала от унижения... Как она смела!..

Сонечка Эспарбэ и теперь плакала. Крупные детские слезы заблестели на ресницах громадных глаз, освещавших все лицо, и таких хрустально-глубоких, что взгляд тонул в них, пропадал, и казалось, нет в них дна. Эти бездонные глаза умели быть в одно и то же время и детскими, и порочными, знающими, что такое острая, запретная ласка...

Отец Сонечки, генерал Эспарбэ, светский человек и забубенный кутила, командовал где-то в провинции кавалерийской дивизией. Временно командовал. И семья жила под Петроградом. Сонечкина мать, исхудавшая, высохшая от любви к мужу, бывшему красавцу,

часто ездила к нему, а дочь валялась до двух часов дня на широченной кровати, кровати кокотки — не девушки, пила в ней крепкий кофе, курила, а затем лихач Семён подавал своего рысака, мчал барышню на станцию, и она уезжала в город. Там у вокзала поджидал ее лихач Артём. Сонечка швыряла ему золотые, носилась по городу, покупала всякой ненужной дряни, выслеживая «противного» Дабиженского, ревнуя его к этой фифке, которая «принадлежит всем»...

«Домашнее образование» Сонечки истощивалась французской болтовнею, да и то сомнительной, с грубыми ошибками, и чтением лёгких романов, которые перелистывались в постели.

Она продолжала сетовать на этого «дрянного мальчишку» Дабиженского, которого любит сама не знает за что, хотя он так вкусно целуется, и которого она желает во что бы то ни стало разлучить с Миташе-вой... Пусть выбирает одно из двух. Или она, Сонечка, или Миташева...

Княжна, всегда участливая к пестрым авантюрам своей младшей подруги, на этот

раз невнимательно слушала исповедь Сонечкиного сердца. Эгоизм — всегда эгоизм, и собственные печали, даже самые крохотные, всегда кажутся больше чужого горя, как бы велико оно ни было.

А у Сонечки, какое же горе? Месяц назад она увлекалась пажом Солнцевым-Насакиным, кузенком Тамары и Дмитрия, сейчас она уверяет себя, что весь смысл её пустой и праздной жизни — в Дабиженском, а через неделю она уже увлечется Друве, Опатовичем или Конапатским. Благо все трое — безусые корнеты и напоминают розовых херувимов. Херувимов с гремящими палашами и в шпорах с малиновым звоном...

Приехали...

Лоснящийся, медно-красный, в скобку остриженный Артём лихо «подал» с наглым лицом.

— Здесь всяся-ся, — крикнул он Сонечке...

— Мара, ты со мной? — спросила Сонечка.

— Нет. Я тороплюсь. Машину возьму.

— Домой на последнем? — крикнула Соня с кожаных подушек лихаческой пролетки.

— Может быть...

В «Семирамисе» Тамара ничего не узнала толком.

Княгиня Долгошеева твердила:

— Арестован, вот и все! А за что — неизвестно. Жаль. Очень милый и приятный молодой человек. Но, я думаю, это недоразумение. Хочу думать...

Тамара куда больше княгини хотела думать, что Агапеев стал жертвою недоразумения или ошибки.

— Ах, если бы скорей выяснить! — мучилась она.

Тамара вспомнила про своего двоюродного дядюшку Леонида Евгеньевича Арканцева. Он приходился кузеном её матери, урожденной Арканцевой. И хотя Леонид Евгеньевич прямого отношения к делу Агапеева не имеет, но это человек, пред которым открываются все двери. Стоит ему позвонить куда-нибудь по телефону...

Двоюродного дядюшку своего княжна не видела по крайней мере с год. Но что значит год для петроградцев, хотя бы даже связанных родственными узами? Они встречаются через год, как если бы только накануне рас-

стались...

Княжна поехала в министерство...

20. Дядя и племянница

Арканцев, елико возможно, избегал дам-просительниц. В особенности молодых и красивых. Это любят дон-жуанствующие саванники. А он — терпеть не мог.

Такие просительницы дают легкомысленный тон департаменту. Молодые чиновники с видом заговорщиков улыбаются подозрительной украдкою. А челядь в сюртуках с форменными пуговицами, та уж скалит зубы до самых ушей со всей своей хамской откровенностью.

Вот почему осанистый, в тяжёлых, звеневших на ходу медалях, курьер, как цербер, охранявший кабинет Леонида Евгеньевича, встретил весьма и весьма сурово княжну Тамару.

— Если по делу, так на то секретарь у нас имеется... А его превосходительство заняты. — И, желая щегольнуть своей осведомленностью, курьер добавил: — Новый шифр составляют... Так вот, если к секретарю...

— Мне надо видеть самого Леонида Евгеньевича... Кажется, ясно!

Обладатель звеневших, как сбруя медалей, служил тридцать лет в министерстве. И ох, как наметался у него глаз! Он понял, что эта барышня, скромно одетая и в простом соломенном канотье с черной лентой, судя по манерам и властному тону, явилась к его превосходительству как своя, равная, и хочешь не хочешь, — докладывай...

— Позвольте карточку.

— Я забыла карточку. Доложите просто: племянница, княжна Солнцева-Носакина.

Курьер вдруг весь уменьшился. И куда давалась его осанистость разленившегося в холле, да на безделье, привыкшего червонцами брать чаевые холопа.

— Сейчас доложу, ваше сиятельство. Покорно прошу обождать в приемной.

Тамара вошла в приёмную с традиционным столом посредине и не менее традиционным графином воды на широком подоконнике. Утолять жажду никому не возбраняется. А курьер степенной рысцой пустился вдоль каменного коридора к кабинету Леони-

да Евгеньевича.

Курьер не зря похвастал своей осведомленностью. Арканцев действительно занят был составлением нового шифра для дипломатических депеш. Обновлять шифр необходимо время от времени. Слишком насобачились австрийцы и германцы в разгадывании чужих политических «ребусов».

Молодому чиновнику помогать в составлении шифра такому тузу, как Леонид Евгеньевич Арканцев, считалось в завидное отличие. Влиятельные тетушки желали воткнуть Арканцеву прибалтийского барона Дубль фон Тингель-Тангеля, но Леонид Евгеньевич отклонил это золотушное сокровище с моноклем и в чудовищных гетрах. И на вопрос, почему отклонил, разглаживая свои благоухающие «валуевские» бакены, отвечал, думая другое или почти другое:

— Недостаточно правильно говорит по... русски.

И взял к себе Кратова. У Кратова, сына священника, не было ни громкого титула, ни монокля, но была голова на плечах, и он считался способным, подающим надежны чиновни-

КОМ.

Курьер постучал согнутым пальцем в дверь, щедро обитую войлоком и еще какой-то материей, чтоб ни один звук не долетал из кабинета. Курьер громко повторил свой стук и привычным ухом поймал разрешение войти.

Посредине большого кабинета по диагонали — внушительный письменный стол.

— Пантелеев?

— Так точно... Ваше превосходительство желают видеть племянница вашего превосходительства.

— Какая племянница? — сощурил Леонид Евгеньевич свои «фарфоровые» глаза.

— Княжна Солнцева-Носакина.

— Проси в кабинет. — И, обращаясь к молоджавому блондину Кратову: — Алексей Алексеевич, извините меня... Через пять минут я приглашу вас...

Кратов ушел в маленькую «интимную» одностворчатую дверь.

Леонид Евгеньевич указал племяннице тот стул, на котором за минуту сидел Кратов. И словно посещение Тамары было в порядке

вещей и они только на днях виделись, Арканцев спросил:

— Как здоровье мама?.. Дмитрия встретил недавно в «Семирамис-отеле». Выровнялся, красавец... Уже поручик... Что папа? Все по-прежнему — гусиные перья, охотничья куртка и презрение к нашему брату-чиновнику?.. Скоро замуж?.. То есть не папа, а ты... Давно я у вас не был. Года... года три, пожалуй. Никак не соберешься. Все недосуг. В Париж легче съездить, чем к вам. У тебя ко мне дело? Говори! В моём распоряжении пять минут. Минута уже прошла. Осталось четыре.

— Я извиняюсь, дядя, что беспокоила вас, вы так заняты... Вы не ошиблись, у меня дело к вам. Вы единственный человек, от которого я могу узнать, за что именно арестован Агапеев, известный авиатор?

— Вот как! А давно ли ты начала интересоваться воздухоплаванием?..

— Он наш хороший знакомый, дядя, — смутилась Тамара вспыхнув.

— К тебе очень идет, когда ты краснеешь... Я только что разглядел как следует твои волосы. Удивительный цвет! Теперь такие волосы

попадают лишь на портретах тициановских догаресс... Итак, Агапеев... Но, мой друг, это же не моя область!

— Я это знаю, дядя. Но с вашим влиянием...

— Ты преувеличиваешь мое влияние, — ответил, снисходительно улыбаясь, польщенный Арканцев. — Твой Агапеев...

— Он совсем не мой, дядя.

— Во всяком случае, он более твой, чем мой. Повторяю, этот Агапеев столь же талантлив, сколь и непростительно легкомысленный молодой человек. Так говорить у меня есть основание... и, вероятно, по милости своего легкомыслия он и попал в эту неприятную историю... Попробую узнать...

Арканцев подвинул к себе телефон, вызвал барышню, сказал номер.

— Попросите генерала Добычина... Говорит Арканцев... Сейчас подойдет, — бросил племяннице дядюшка. — Ваше высокопревосходительство? Здравия желаю... Как изволите?.. Мне хотелось бы знать подробности ареста частного летчика Агапеева... Да-да... Так-так... Скажите пожалуйста!.. Неужели?.. Вот и все?.. Благодарствуйте, имею честь кланяться,

ваше высокопревосходительство...

Арканцев повесил трубку.

— Дело в следующем, друг мой. У него как-то загадочно пропали все чертежи и рисунки, относящиеся к «Огнедышащему дракону». Он объясняет это довольно фантастическим приключением. Ему устроили ловушку и тому подобное... Доказательств — никаких. А факт исчезновения чертежей — налицо. И кроме этого, получился анонимный донос, обвиняющий Агапеева в продаже этого материала агентам чужой страны.

— Я этому не верю, дядя! — горячо воскликнула княжна.

— И я не хочу верить. Надеюсь, это выяснится со временем. А пока... Ну вот и все, мой друг, чем я могу быть полезным тебе. Остается терпеливо ждать. Кланяйся дома. У мама целую ручку...

Пять минут прошло, Леонид Евгеньевич встал. Убитый вид племянницы слегка тронул его.

— Не падай духом. Все образуется... В этом простонародном словечке — целая философия! До свидания, моя милая племянница, с

волосами тициановской догарессы. На Рождество заеду к вам... Кстати, хочется взглянуть лишний раз на портрет Боровиковского. Висит у вас в гостиной над роялем... Екатерининский прадед твоего отца, в красном камзоле и парике. Дивный портрет!..

Тамара покинула дядюшкин кабинет разочарованная. Ждала большего от посещения. Чего именно — сама толком не знала, но — большего.

В «Семирамисе» княгиня Долгошеева с маркезинами ждала Тамару. Предлагали закусить. Можно взять чего-нибудь из ресторана, тем более княжна, уехавшая второпях, не успела даже позавтракать дома. Но у Тамары не было никакого аппетита. Сама себе казалась несчастной. Княгиня сетовала:

— Какое безобразие!.. Погода стоит чудесная, мы завтракали все дни под открытым небом в «висячем саду». Это так нам напоминает Италию. И что же? Оказывается, по случаю ремонта «висячий сад» закрыт для публики. Решительно не понимаю, зачем этот ремонт! — И в южных глазах княгини было недоумение вместе с досадою.

Ремонт давал себя знать не только одним закрытием «висячего сада». Ежедневно с утра и до вечера нахально, почти вызывающе сновали через белый, в мраморных колоннах вестибюль и такой же белый читальный зал немецкие рабочие в синих блузах и съехавших на затылок блинообразных кепках. Лифт был к услугам этих развязных плотных людей, отравлявших воздух дымом вонючих сигар, трубок и запахом перепачканных чем-то жирным блуз.

Дирекция отеля кормила их на убой. Они поглощали невероятное количество пива. За ними ухаживали, как если бы это были самые выгодные постояльцы. Руководившие «ремонтом» инженеры и два старших механика завтракали и обедали в общем зале ресторана.

«Нейтральный салон» княгини Долгошеевой — этот салон совершенно особый номер, обставленный, как гостиная, куда сходилась мать с дочерью, если был кто-нибудь чужой. Тамара не в счет, она была скорее своя, чем чужая, а вот зашёл еще Криволуцкий.

От Вовки, первого человека, узнала княж-

на хоть какие-нибудь подробности, связанные с арестом Агапеева. Авиатор успел рассказать Вовке свое приключение в автомобиле со всеми его последствиями.

Княжна слушала, вся притихнув, затаившись, так это было странно, фантастично, совсем глава какого-нибудь бульварно-уголовного романа.

— И вот, — закончил свой рассказ Криволицкий, — те, кто арестовал Агапеева, сомневаются во всей этой истории, находя ее сочиненной. А между тем такого не выдумаешь. Или, чтоб выдумать, надо иметь фантазию Киплинга или Конан Дойла. И при том Агапеев, несмотря на свое легкомыслие, для того чтобы учинить предательство, слишком порядочный.

— Позвольте, — перебила княжна. — Вы говорите, этот ограбивший его спутник... От него сильно пахло какими-то пряными и сладкими духами?

— Вот-вот! И еще прежде, чем он усыпил Агапеева, у бедняги стала кружиться голова... Что с вами, княжна? — спросил Вовка, увидев, как Тамара вздрогнула вся, с полуоткры-

тыми губами, словно желая сказать что-то и не решаясь...

— Может ли это быть? Мне пришла безумная мысль... Хотя почему безумная? Разве то, что было с Агапеевым, а оно было, не может показаться безумным?.. Владимир Никитич, вы знаете барона Гумберга?

— Слышал и далее видел. Тип довольно мрачный, кажется.

— Поедем к нему! Сию же минуту. Не спрашивайте меня ни о чем, поедем!

И, оставив в изумлении княгиню и обеих маркизов, Тамара вышла вместе с Криволюцким. Через несколько минут они были у подъезда гостиницы «Палас-отель».

На вопрос, дома ли барон Гумберг, портфель ответил:

— Барон недавно вернулся откуда-то, застал телеграмму и полчаса назад уехал на Варшавский вокзал...

21. Флуг-ревизор

Флуг исчез, не уехал, а именно исчез — такие люди исчезают — в отдельном купе, в вагоне международного общества. Он не любил никаких спутников, предпочитая находиться в единственном числе.

Тронулся поезд навстречу гаснущим летним сумеркам болотистой равнины. Флуг зажёг у откинутого столика электричество и на готовых бланках — он имел их много — одну за другою писал телеграммы. Проводник сдавал их повсюду на остановках, в Александровской, Гатчине, Северской, в Луге.

Бритый человек тусклыми глазами своими смотрел в окно. Резвились огненные искры, и тонул в ночной дымке равнинный пейзаж. Темными силуэтами проносились деревни.

Флуг думал о своей неутомонной, бешеным темпом галопирующей жизни. И вся она — как этот мчащийся вдаль поезд. Ни минуты покоя, отдыха. Да и к чему? Он ненавидит покой! И чем больше скитаний, встреч и острого подъема нервов — тем лучше.

В его распоряжении месяц. А сколько за этот месяц он должен объехать? С таким может соперничать только разве экран кинематографа. Варшава, Лодзь, Познань, Берлин, Вена, Будапешт, Белград, Константинополь. Оттуда морем в Салоники и через всю Сербию по железной дороге в Боснию. Из Сараево опять назад в Будапешт, Вену и Берлин. Оттуда — в Париж. На обратном пути он позволит себе роскошь побыть в пути лишние сутки, и от Рагузы сделать морское путешествие вдоль живописных Далматинских берегов... Все это вместе, чем не кинематограф?..

Во Пскове Флуг вышел в дорожной каскетке на платформу. Его поджидал какой-то господин... Обменялись двумя-тремя немецкими фразами.

Поезд двинулся... Флуг разделся и лёг спать, заказав проводнику разбудить себя перед Вильно.

Проводник, в темно-коричневой куртке, в усердии своём разбудил Флуга за целый час. Флуг успел тщательно заняться туалетом, побрился и вышел на Виленский перрон, свежий, сухой, обращая внимание своим высо-

ким ростом и лицом не то актера, не то пастора, не то каторжника.

Здесь его встретил тучный немец с заплавленными глазами и сигарой в зубах. Они отправились в буфет и под звон посуды и стук ножей просидели четверть часа. Немец показывал Флугу какие-то телеграммы и письма. Пробил второй звонок. «Заплавленные глазки» спрятали в большой, пухлый бумажник все телеграммы и письма, а Флуг, через подземный туннель, поспешил к своему вагону. И было время — поезд уже тихо тронулся...

В Варшаве Флуг провел сутки. Но эти двадцать четыре часа стоили иных месяцев. Банкир из немцев предоставил ему свой чудовищный автомобиль, по крайней мере человек десять вмещавший. Да и сопровождавшая Флуга свита была такая же приблизительно. Большинство спутников — служащие местных фабричных контор и банков. Все эти, на первый взгляд чрезвычайно штатские господа, мирным, безмятежным делом занимающиеся, походили на прусских лейтенантов и капитанов, только что снявших мундиры. При всем желании трудно было скрыть воен-

ную выправку.

Вся эта компания носилась за городом, в окрестностях Варшавы. Правил автомобилем не шофёр, а один из «штатских лейтенантов». Особенное внимание обращалось на мосты. Иногда все слезали с машины, спускались к берегу, делая вид, что любуются панорамой великой славянской реки, и, осмотревшись кругом, нет ли чьих-нибудь любопытных глаз, делали пометки на складной «трехверстке».

Затем, после трудов праведных, обедали все у местного богача, фамилия которого была то ли Шмидт, то ли Шульц, то ли Мейер. Но это неважно, потому что из десяти немцев, трое непременно окажутся с одной из этих фамилий. А важно, что варшавский Шульц-Шмидт-Мейер обладал восьмизэтажным домом, самым высоким во всей столице Польской, если не считать телефонной станции в целых четырнадцать этажей.

Крыша дома Шмидта-Шульца-Мейера была плоская. Такая плоская, в пору где-нибудь в Алжире или Египте.

И Флуг любовался с этой крыши необъят-

ным пейзажем. Долго любовался. И с таким же самым чувством, как в Петрограде на вышке «Семирамис-отеля». А следующим утром на крыше миллионера-немца закипела работа...

Флуг подъезжал к Лодзи, этому уездному городу с населением в полмиллиона, прозванному «польским Манчестером».

Еще не было видно города, казалось, ушедшего в землю, над равниною хаотической колоннадою поднимались многие сотни фабричных труб.

Здесь Флугу устроили прямо помпезную встречу. Съехались на вокзале самые густые сливки немецкой колонии. И все это — громоздкое, самодовольное, пропахшее сигарами и пивом. И каждая такая фигура — ходячий миллион, по крайней мере, на самый худой счет. Были и дамы. Большеногие, больше-рукие, богато, но без вкуса одетые.

Дамы забросали Флуга цветами. Один из фабрикантов порывался даже сказать краткую речь, но жена дернула его за сюртук, выразительно кивнув по направлению синей фуражки жандармского ротмистра.

Словом, вышло так парадно и так торжественно, можно было подумать, что немецкую колонию города Лодзи осчастливил своим визитом, если даже и не сам кайзер Вильгельм, то, по крайней мере, — кронпринц. Но это были пока цветочки. Ягодки были впереди.

Семь самых крупных миллионеров едва не перессорились из-за высокой чести приютить у себя важного гостя. Эта честь выпала двум братьям, пивным королям, королям в буквальном смысле, потому что фамилия их была Кениг.

От вокзала, чрез Петровскую улицу, этот Невский проспект Лодзи, мчалась целая фаланга автомобилей с двадцатитысячной машиною в авангарде, на которую счастливые и сияющие братья Кениг посадили между собою Флуга. Евреи, старые и молодые, в длинных кафтанах, изумленно провожали глазами этот мчащийся, мотор за мотором, поезд. В лучшей гостинице города «Гранд-отель» немецкая колония чествовала Флуга обедом. Лилось шампанское, лились тосты...

Братья Кениг ни на минуту не выпускали

свою законную добычу и волей-неволей Флуг должен был сидеть между ними. Братья, похожие, как близнецы, ревновали друг друга. Каждому хотелось одному занимать гостя. Но никто не уступал, и они говорили вместе. Говорили то же самое, так как они были во всех отношениях близнецы.

— Вот мы пьем шампанское, угощаем вас тонким обедом. Это исключительно ради такого высокого гостя! Что же касается нашего повседневного обихода, мы все живем здесь очень скромно. Да-да! Не из скупости, нет, а из принципа. Наш принцип: здесь, в чужой стране — доводить все расходы и траты до минимума. Зато, наезжая домой, в родную Германию, мы с лихвою вознаграждаем себя за временную диету в России. Там, у себя, мы живем широко везде: на курортах, в Берлине, в Мюнхене. Много тратим. Но мы знаем, что каждый пфенниг, каждая марка попадает в немецкие руки... Россия для нас — это колоссальный баран, которого мы стрижем, но которому мы вовсе не желаем золотить рога... Пусть она, Россия, возит нам свои денежки, это совсем другое дело...

Так говорили братья Кениг, и Флуг вполне им сочувствовал.

Глубокой ночью закончился обед, которым немцы, изменив своему принципу лодзинского воздержания, чествовали Флуга.

Утром, эскортируемый своими добровольными адъютантами-близнецами, Флуг посетил некоторые фабрики. Дольше всего задержался он у мануфактурного короля Людвига. В Лодзи многое было связано с этим именем. Был квартал Людвига, улица Людвига, площадь Людвига и, наконец, фабрика Людвига. Громадное, из нескольких корпусов здание, с башнями, которые, по мнению Флуга, так и созданы для пулемётов, стояло среди исполинского парка с гущами вековых деревьев. Парк обнесен был каменной, двухэтажной стеною. И все вместе: и эта фабрика, и этот дремучий парк, напоминали собою крепость...

Людвиг, старый, величественный, отец двух сыновей, служивших в прусской гвардии и часто наезжавших к отцу, как школьник, желающий выслужиться, похвастался Флугу:

— Какие у меня подвалы! И никто, кроме самых близких, посвящённых, не подозревает об их существовании. Руководили сооружавшем их наши инженерные офицеры, работавшие у меня в качестве мастеров.

Людвиг не зря хвастал.

Это были целые подземные галереи с изразцовыми сводами, гаражом для автомобилей, помещением для лошадей, скота и разных припасов, от хлебного зерна до оружейных снарядов включительно.

Желая совсем очаровать гостя, Людвиг прибавил:

— ...А из своего кабинета я могу разговаривать по телефону с Познанью.

Братья Кениг побледнели от зависти. Их телефонная проволока так далеко не убегала за пределы фатерленда. Она соединяла их пивоваренный завод лишь с первой германской станцией по ту сторону границы. Сущие пустяки!..

Флуг уехал в Берлин, пообещав мануфактурным, шерстяным, пивным и всяким другим королям:

— Через две недели вы получите из Петро-

града несколько пулемётов. Надо будет их хорошенько спрятать...

— Почему же из Петрограда? — удивились немцы.

— Вопрос?.. Потому что наш посланник получит их согласно международному праву, или вернее, международной любезности, без всякого таможенного досмотра. А из Петрограда уже будет легко переслать их сюда...

Проводы Флуга пышностью и единодушием превзошли встречу...

Опять вагон, только поменьше. Свой, немецкий. От быстрой езды его швыряло. Вечером поезд мчался над огнями Берлина, улицами, трамваями, омнибусами. И, словно укрощенный зверь, остановился вдруг на Фридрихштрассе как вкопанный.

Флуг, выйдя с вокзала с маленьким ручным чемоданом, сразу очутился на перекрестке шумных, залитых светом улиц. Здесь его никто не встретил. Какая-то жирная особа с тупым нарумяненным лицом толкнула его: «Пойдём ко мне!»

Он зашел в «Централ-отель», оставил свой чемодан, велел отнести его в свободный че-

тыреста двадцать третий номер, а сам отправился в кафе и спросил себе порцию сосисок, ветчины и двойной бокал пива. Он проголодался. Надо подкрепить силы и — спать.

А утром... Утром он увидит своего императора...

22. У императора

Утром вылощенный, белобрысый кельнер подал в постель Флугу кофе. Настоящий немецкий кофе, где больше было молока, чем кофе. И все это из двух крохотных кувшинчиков выливалось в большую и тяжелую чашку, которой можно было бы проломить любой, самый крепкий череп.

И за кельнером вслед — мальчишка, но уже самодовольный и наглый мальчишка-шассёр в куцей, до пояса, расшитой тремя рядами пуговиц куртке — принес две телеграммы. Одну от Ирмы Чечени, другую от Гумберга. Обе шифрованные. Телеграмма от «гусара смерти» была подписана цифрой «12». Псевдонимом же Ирмы Флуг выбрал фатальное число «13».

Гумберг обещал, самое большое через двое

суток, нагнать Флуга в Берлине и вручить ему похищенное у Агапеева. Отправлена была депеша из Вильно.

Флуг поморщился. Слишком долго придется ждать. Это его задержит. Он хотел, если удастся, сегодня же ночью покинуть Берлин.

Вооружавшись бумагою, карандашом и романом «Цвет цивилизации», Флуг занялся расшифровкой телеграммы Ирмы. Скучная работа. И текст довольно скучный. И хотя сообщения графини весьма и весьма не лишены ценности, он предпочёл бы из этих длинных, монотонных цифр вычитать хоть одно, ласкою и приветом дышащее, слово. Но такого слова не было. Вся телеграмма носила сухой, деловой, официальный характер доклада подчинённого своему шефу...

Флуг, весь в чёрном — черный простой галстук, черный сюртук — спустился вниз, в парикмахерскую, вышел оттуда помолодевший, до глянца выбритый, и через десять минут пузатый, в красном жилете и в белом клеёнчатом цилиндре извозчик с какой-то нелепой меховой пелериною на плечах остановил свою коляску возле казарменного типа зда-

ния прусской архитектуры еще времён Фридриха Великого.

Здание охранялось. У главного входа стояли две полосатые будки, и у каждой — по часовому. Рослые гвардейцы в касках, однобортных синих мундирах и полетному в белых парусиновых штанах. Какой-то штатский, по всей видимости, один из низших агентов, дружески беседовал с приземистым рыжеусым шуцманом, тоже в каске и тоже в парусиновых штанах.

Увидев Флуга, шуцман вытянулся и, задрав щетиною обросший подбородок, отдал честь с той прусско-немецкой выправкою, которая нам всегда кажется неестественной, карикатурной. Его штатский собеседник учтиво приподнял шляпу.

Флуга знали здесь...

Знали его хорошо и внутри старого, казарменного типа здания. Но здесь для всех были одинаковы правила. Флуга повели в приемную. Повели, потому что за ним по пятам шел жандармский унтер-офицер. В приемной дежурный чиновник, поздоровавшись с Флугом за руку, тотчас же с непроницаемым, «чу-

жим» видом спросил:

— Как ваша фамилия и кем вы желаете быть принятым?

Ничуть не удивленный бритый господин с тусклыми глазами ответил:

— Моя фамилия Прэн. Американский подданный. Желая быть принятым его сиятельством графом Ведлем.

— Его сиятельство здесь. Будет сейчас же доложено. Соблаговолите присесть.

Дежурный чиновник вышел, а Флуг остался в обществе жандармского унтер-офицера.

Чиновник вернулся.

— Пожалуйста наверх...

В обширном круглом вестибюле с каменным полом жандармский унтер-офицер передал Флуга другому унтер-офицеру. Флуг вместе с ним поднялся на второй этаж. Прошли вдоль коридора с тяжелыми сводами и остановились у дверей с курьером, обшитым галунами и позументом. Курьер, пожилой, бордатый человек, ветеран Франко-прусской войны, поклонился Флугу, как знакомому, и как незнакомого спросил:

— Вы тот самый Прэн, который желает ви-

деть его сиятельство?

— Да, я тот самый.

Курьер скрылся за дверью, тщательно прихлопнул ее за собою и тотчас же вышел обратно.

— Просят...

Флуг очутился в кабинете графа и действительного тайного советника Ведля, одного из самых близких императору Вильгельму сановников.

Высокий, седой, сухощавый старик, типичный прусский бюрократ, приподнялся с легкой улыбкою навстречу. Флуг почтительно коснулся протянутой через письменный стол руки.

Стол завален весь был картами, чертежами. Там и сям, в виде пресс-папье — стаканы орудийных снарядов. Несколько обойм с патронами для винтовок. На стене висели гигантские карты Франции и России. Для удобства они могли подниматься и опускаться на горизонтальном стержне.

Граф молвил:

— Я не предлагаю вам сесть потому, что, вероятно, сейчас же Его Величество потребу-

ет вас к себе.

Флуг молча поклонился.

— Много интересных новостей?..

— Очень много, ваше сиятельство.

— Здесь мы готовы. Готовы с головы до ног. А как вы там, в Польше?..

— И там готовы. Мои наблюдения дали самые отрадные результаты.

— Да? Впрочем, я ни минуты не сомневался в нашем верном авангарде.

Ведль нажал кнопку. На пороге кабинета вырос ветеран Франко-прусской войны.

— Я сейчас доложу, — вставая, сказал Ведль Флугу.

Он скрылся за дверью, которая маскировалась сплошной, тяжело падавшей портьерой. Флуг улыбнулся глазами, чтоб не видел курьер. Повторяется та же самая комедия, как и в тот раз, когда он был послан в марокканские воды, на «Пантеру».

Минут через пять граф вернулся.

— Ступайте за мною.

Опять коридор с двумя кирасирами на часах в глубине. Кирасиры в ботфортах с раструбами и белых лосинах стояли, как изваяние.

И только с приближением графа вплотную отсалютовали ему обнаженными палашами.

Флуг, неробкий, выдавший всякие виды, почувствовал какой-то странный, сковывающий холодок во всем теле. Вслед за графом он вошёл в квадратную комнату с паркетом, сияющим, как лед, золочеными стульями и с громадным портретом Фридриха Великого кисти Менцеля.

— Подождите!

Флуг остался один. И опять улыбка глазами. Все исполняется по программе с математической точностью.

— За мной, — лаконически уронил как-то незаметно для него вернувшийся граф.

Ведь сам открыл массивную дубовую дверь и на этот раз пропустил Флуга вперёд. Флуг инстинктивно зажмурился на мгновение и, когда раскрыл глаза, увидел в пяти шагах от себя императора Вильгельма, сидевшего в маленьком кабинете за маленьким столом. На императоре был зеленый мундир со звездой «Пур ле мерит»[8] на груди.

Кайзер движением беспокойных перламутровых белков ответил на низкий поклон

Флуга и сказал Ведлю:

— Оставьте нас вдвоём, граф.

Ведль вышел на кончиках пальцев, бережно и тихо притворив дубовую дверь...

Флуг с самого агадирского конфликта не видел императора. Мало переменился кайзер. Несколько новых морщин. В плотной щетке рыжеватых волос появились бело-серебряные нити. Но с таким же гордым вызовом торчат кверху концы спрессованных бинтом усов. Лицо бледно-желтое — повелитель Германии не выспался. Всю ночь терзал его надоедливый тик, и сейчас правый глаз подергивался все время каким-то моргающим движением, словно император неустанно подмигивал кому-то... И вдобавок еще болело ухо, заложенное ватой, чтоб остановить вытекавшую желто-зеленую жидкость.

— Поляки? — резко спросил Вильгельм.

— Встанут как один человек, Ваше Величество. Таково общее мнение. Слишком велика их ненависть к русским.

— Ну, положим, эти французы в славянстве и к нам особенно нежных чувств не питают... Но, если этому легкомысленному на-

родцу вскружить голову и надавать обещаний... Ведь водил же их за нос Наполеон!.. И как водил!..

Император задал еще несколько вопросов Флугу. Потом вынул из письменного стола небольшую тетрадку, исписанную убористо машинописным шрифтом, и листик бумаги. Этот листик он протянул Флугу.

— Здесь всего несколько строк. Вы обладаете памятью, это я знаю по Агадиру. Сейчас же, слово в слово, заучите наизусть все содержание. Только три человека должны знать, что здесь написано. Я, вы и граф Бертхольд. Слышите!.. Отсюда вы отправитесь в Вену и, повидавшись с графом, с глазу на глаз, скажете от моего имени содержание этой бумажки. Пусть он руководствуется этим, и только этим. И если отсюда, из Берлина, и от нашего посла в Вене он будет получать самые противоречивые документы, он не должен ни на минуту считаться с ними. Поняли? Даже если бы получил мое собственноручное письмо... Даже! Поняли?..

— Понял, Ваше Величество.

— А теперь — наизусть... до последней за-

пятой!..

Флуг, нечеловеческим усилием напрягая всю свою действительно богатую память, беззвучно шептал эти страшные фразы, чтоб каждая неизгладимым каленым железом отпечаталась в мозгу.

— Есть, Ваше Величество...

— Дайте сюда бумажку... Повторите.

Флуг повторил.

— Так, верно... Еще раз!..

Флуг повторил еще раз.

Император зажѐг одну из восковых свечей, стоявших у чернильницы, и медленно поднёс к мигающему огоньку таинственную бумагу. Она вспыхнула и горела до тех пор, пока не превратилась в черный, как мягкий тюль, пепел и пока между большим и указательным пальцами не остался крохотный белый клочок.

— А теперь, теперь возьмите и спрячьте понадежней это. — Вильгельм подвинул Флугу тетрадку с машинным шрифтом. — Запечатайте сейчас же в конверты... При мне!.. Вот сургуч!.. Вот именная печать!..

— Слушаю, Ваше Величество! Каково на-

значение тетрадки, Ваше Величество?

— Вы ее вручите графу Бертольдусу одновременно с моим словесным приказанием. Это уже готовый ультиматум Сербии... Что делать! Императору Германии приходится исполнять обязанности также министра иностранных дел Австро-Венгрии... И еще, на словах же: чтоб между Сараевским инцидентом и посылкою ультиматума в Белград прошло бы как можно меньше времени. Это очень важно... Не забудете?

— Ваше Величество...

— Я не удерживаю вас больше. Желаю полной удачи. У графа Ведля ждет вас необходимая сумма. Если покажется мало, он прибавит еще.

Подёргивания в глазу заметно усилились. И колющая боль в ухе давала себя знать. Кайзер движением своих бегающих перламутровых белков поспешил отпустить Флуга.

Флуг вышел, пятясь к дверям и унося в кармане сюртука пакет за именными печатями, а под черепом — страшное содержание сторевшей бумажки.

23. «Зеленый инфант» и дальнейшее

Теперь уже не оставалось никаких сомнений... По крайней мере, Тамара убеждена была, что Гумберг, он, Гумберг, с такой поспешностью увез сейчас рисунки и все остальное, принадлежавшее ограбленному им Агапееву.

И когда княжна с Вовкою вышли на улицу, она горячо, вся волнуясь, попросила:

— Голубчик, Владимир Никитич, поедем на вокзал! Необходимо задержать этого негодяя. Пусть его арестуют, допросят! Очная ставка — не знаю, как это у вас, мужчин, называется. Не все ли равно? Главное, пусть его освободят. Ведь он же не виноват. Вот и вы сами... Но едем же, едем!

— Ехать бесполезно. И если бы мы через минуту даже очутились на Варшавском вокзале, все равно поезд ушел. Успокойтесь, княжна. Мы придумаем что-нибудь более осуществимое...

— В таком случае дайте телеграмму, чтобы его задержали в пути.

— Я сам об этом думаю. Но и здесь нужна

известная осторожность. Вы знаете, как у нас щепетильны по отношению к «знатым иностранцам». А Гумберг, с его баронским титулом, прусским происхождением и теми знакомствами, которые он приобрёл через Крейцнаха фон Кренау, может считаться, во всяком случае, «полузнатым иностранцем». И буде при нём того, что мы имеем в виду, нет с собою — надо всякое предположить...

— Но вы же сказали, что вы не сомневаетесь! — перебила княжна.

— Не сомневаюсь в чем? В самом факте похищения Агапеевских документов вообще, и в частности в том, что украл их этот мерзавец Гумберг. Улика — его противные духи, которых, по вашим же словам, нет во всем Петрограде ни у кого больше. Но если вы меня спросите, как поступил Гумберг с документами, передал он их сразу в чужие руки или сам увозит их сейчас с собою, — я вам не поручусь. Одинаково и первое и второе возможно...

— Но этот внезапный отъезд, похожий на бегство?

— Ничего удивительного. Гумберг вообще

шпион и, кроме того, офицер запаса. А может быть, и на действительной службе. Мало ли в силу каких соображений, комбинаций понадобилось извлечь этого господина из Петрограда с наивозможнейшей стремительностью!.. Возвращаюсь к вашему желанию задержать его телеграммой. Ссадить Гумберга где-нибудь во Пскове или даже Вильне — было бы рискованно. Вообразите, что формально он оказался бы чист. Да он поднял бы такой гвалт!.. Сейчас же телеграмма своему послу, и — пошла писать губерния!.. Вот с нашим братом не церемонятся в Германии и в Австрии. По нелепейшему какому-нибудь подозрению месяцами гноят в тюрьмах... Да, попробую разве дать телеграмму, чтоб на самой границе ознакомились, хотя бы поверхностно, с его багажом. Я спрашивал Агапеева. Все эти документы на больших твёрдых картонах и в карман их не спрячешь. Итак, я отвезу вас сейчас в отель, княжна, вы останетесь у Долгошеевой. Это полезно вам будет. Она удивительно успокаивающе действует на нервы. Бром, а не женщина! И потом обе маркезины такие мягкие, ласковые. И вы, как родная для

них. Да скоро и на самом деле породнитесь. Я же тем временем позвоню кое-куда, посоветуюсь и дам телеграмму на вержболовскую станцию. Гумбергу ее не миновать, потому что поезд, на котором он уехал, вержболовский.

Тамара продолжала гореть вся. И трудно было сказать, чего больше в этом горении: беспокойства за участь лишённого свободы и, главное без вины виноватого, Агапеева, или ненависти к Гумбергу, которого она так жгуче хотела увидеть посрамлённым, униженным. И с такими злыми огоньками в своих зелёных японских глазах нарисовала она картину: Гумберг, запершись в уборной, ежеминутно меняет холодные компрессы, чтоб погасить эту кровавую борозду на своём бледном, выхоленном лице...

Вовка был прав. Княгиня Долгошеева и всем видом своим, и певучим голосом — не речь выходила, а пение, — обладала каким-то секретом успокаивающе влиять на самые развинченные нервы. И всегда был у неё в запасе какой-нибудь любопытный анекдот, вынутый, как книга из библиотечной полки, из бо-

гатой впечатлениями и встречами жизни.

Вот и сейчас, обволакивая Тамару таким благожелательным взглядом своих южных глаз, Долгошеева предложила ей чаю. И когда камеристка княгини, смуглая, с резкими чертами испанка Мария внесла большой поднос с чайниками и удалилась молча, поджав губы, княгиня вспомнила:

— Ах, эта Мария! Она очень горда. В Париже мы познакомились с инфантом Луисом. Двоюродный брат короля Альфонса и сын инфанты Эулалии, той самой, что опубликовала свои знаменитые записки. Помните? Так этот Луис... Ему двадцать два года, и ростом он — гномик! Но когда этот гномик входит, почтенные дамы встают, встречая его глубоким реверансом. У него характерная, несколько отвисшая нижняя губа. И когда ему говорят, что это так называемая губа Габсбургов, он сердится. Он считает себя чистокровным Бурбоном без единой капли габсбургской крови... Я ожидала его к себе с визитом. И говорю Марии: «У нас будет ваш инфант Луис. Я вас представляю ему как его подданную, и вы поцелуете у него руку». Мария молча кивнула, и

это вышло у неё как знак согласия. Могла ли я сомневаться? Является инфант. Мария, как вот сейчас нам, подаёт чай. Я и говорю Луису: «Вот одна из ваших подданных, монсеньор». Гномик протягивает ей руку. И представьте себе мой ужас, она не целует руку, а лишь ограничивается пожатием. Я готова была провалиться сквозь землю! Когда он ушел, я говорю ей: «Мария, как же вам не стыдно. Вы меня подвели. Отчего вы не поцеловали руки инфанту?» А она мне в ответ: «Сеньора принцесса, это противно моим убеждениям. Я республиканка». Слышите, как это вам понравится?..

Княжне понравилось. Она улыбнулась.

Но у княгини было еще кое-что в запасе об этом крохотном инфанте:

— Ежегодно бывает в Париже «Бал четырех искусств». Обязательная форма одежды — нагота. И всякий, кто хочет быть на балу, должен быть непременно голым. Допускается в виде исключения какая-нибудь легкая ткань. И вообразите, инфант Луис явился весь выкрашенный в зеленую краску. Произвёл фурор! И когда его спрашивали, что это такое,

он говорил, что символически представляет собою лазоревый грот на Капри. Ну и вышутили же его за этот лазоревый грот... в газетах! Вот вам инфант Луис.

Княжна отошла понемногу. «Зеленый инфант» как будто развеял ее.

А виновник всех её треволнений и неправду менял в поезде холодные компрессы один за другим. И так усердно, что через несколько часов красная полоса через всю щеку угасла, став бледно-розовой.

Гумберг, едва успев захватить чемодан, бежал, как был, вернувшись в гостиницу со своей злополучной прогулки верхом. В клетчатых галифе и высоких сапогах. Не успел переодеться и даже шпоры отцепил в автомобиле по пути на вокзал.

В «международном» не было свободных мест, и он кое-как — и за то спасибо! — устроился в купе второго класса в казённом вагоне. Из Вильно послал Флугу телеграмму в Берлин. Весь путь «гусар смерти» сидел у себя в купе. Завтрак и обед приносили ему из вагона-ресторана.

Все ближе и ближе граница... У небольшо-

го полустанка, в двадцати минутах от Верж-болова, поезд шёл замедленным ходом. Гумберг выбросил на платформу свой чемодан и вслед за ним прыгнул сам. Поезд ушел, а на пустынной платформе, с одиноко маячащей фигурой человека в красной шапке, остались под солнцепёком летнего дня чемодан и Гумберг.

Гумберг отыскал сторожа и, посулив на чай, просил раздобыть какую-нибудь подводу.

Через полчаса, тарахтя, подкатил крестьянский воз. Бритый, в длинных седых волосах и в белой, расшитой узорами свитке поляк правил маленьким шершавым коньком. На ухабах вместе с возом подпрыгивал щегольской чемодан. Гумбергу неудобно было сидеть на сбивавшемся сене, затекали ноги.

— Далеко еще?

— Недалеко, проше пана...

Расстирался плоский пейзаж с черной пахотой. Уходили по дороге жиденские ветлы... В стороне обозначился фольварк, обнесенный высокой кирпичной стеною. На этот самый фольварк и держал свой путь Гумберг. Его

встретил плотный немец в черной мягкой шляпе и с массивной серебряной цепочкою на жилете. Дымилась в зубах фарфоровая трубка.

— Вы господин Герман? — спросил Гумберг.

— О да, натурально это я! — закивал головою немец. — Кто же другой может быть здесь Герман?

Гумберг сунул бритому седовласому крестьянину полтинник.

— Пишпадало бы сен на пиво, ласки паньски...

— Мало тебе? Ах-ты, польская свинья, вот накладу по шее, будешь знать! — посулил Герман. Мужичок стегнул своего шершавого коня и давай бог ноги подальше от беды! С этими фольварковыми немцами свяжись только. Сам не рад будешь.

Гумберг назвал себя, прибавив, что везёт секретные бумаги.

— Вы можете меня этой же ночью переправить через границу, господин Герман?

— Натурально могу, герр ритмейстер! И хотя здесь днем и ночью шатаются русские по-

границники, но мы знаем такие укромные местечки... Я вам гарантирую полную безопасность.

Гумберг провел весь день под радушным кровом колониста Германа.

Сытно пообедали. Габер-суп, тушеная свинина с горячими огурцами, картофельный салат. Осушили несколько бутылок пива. Дородная фрау Герман не знала, где посадить господина ритмейстера.

Герр ритмейстер, придя в благодушное настроение, подсев к пианино с висевшим над ним портретом-олеографией кайзера Вильгельма, сыграл «Вахт-ам-Райн».

Так прошёл день и наступила ночь, темная, безлунная, с пеленою облаков, застлавших звёзды...

24. Дама под вуалью

Ирма из себя выходила...

И задавал же ей египетскую работу Флуг каждой своей телеграммой. Бог знает сколько времени уходило, чтоб расшифровать депешу в каких-нибудь семьдесят — восемьдесят слов!.. Цифры, цифры, цифры... Ночью они вырастали в кошмарных, скелетоподобных уродцев и сухо стучащим, как мертвеца кости, хороводом плясали у изголовья Ирмы...

Вот до чего довёл ее Флуг! Правда, и для него каторга склеивать все эти цифры из повсюду в книге разбросанных букв, но ей от этого сознания, право, нисколько не легче.

И с карандашом — в час по ложке столовой — добивалась она смысла из этих, понахватанных на любой странице — извольте отыскать ее — букв.

Как быть с восстановленными депешами? Удобней и проще всего, получив и расшифровав их, уничтожить. Концы в воду — и на душе легче и с плеч долой... Никаких, по крайней мере, улик...

А с другой стороны, каждая такая телеграмма — документ против Флуга, хотя и не его рукою написанный. Ирма личным опытом знала, как дорог бывает вовремя припрятанный клочок бумаги и какую он может иногда сослужить драгоценную услугу...

А между нею и этим американцем бренденбургской фабрикации мало ли что может произойти! Флуг, человек, против которого необходимо всегда иметь камень за пазухой. И пусть таким камнем будет пачка его депеш...

Вот одна из телеграмм, отнявшая у Ирмы целое утро:

«Пишу из Вены. Катастрофа близка. Эрцгерцог уезжает на маневры в Боснию. Торжественное окончание манёвров приурочено к пятнадцатому июля, по варварскому стилю... Это — день Косова поля у сербов. Необходимо растравить этим раны в Белграде. Познакомьтесь непременно с майором Яшей Ненадовичем. Соберите о нем справки в австрийском посольстве. Этот серб нам нужен. Талантливый офицер, любимец воеводы Путника. Ненадович разрабатывает вторже-

ние сербской армии в Боснию и Венгрию. Во время войны будет для сербского штаба неоценимым человеком. Знает каждую тропинку в Боснии, каждый хуторок по всей Хорватии и южной Венгрии. Необходимы документы. Когда используете, надо изъять его совсем из обращения. В саду „Альгамбра“ — атлет-борец Вебер. Поручите ему за хороший гонорар. Уличная ссора, удар кулаком в висок. Телеграфируйте: Сараево, канцелярию наместника»...

Флуг приказывает, графиня должна повиноваться. Она поехала на Сергиевскую. В австро-венгерском посольстве ее снабдили не только биографическими и всяческими еще данными, касательно особы майора Ненадовича, но еще предупредительно показали его фотографию.

Бравый, красивый южно-славянской красотою офицер, с четкими, энергичными чертами лица. Небольшие усы, огненный взгляд. Парадная шапка с белым султаном и вся широкая грудь в орденах за храбрость, геройски проявленную в трех последних войнах — турецкой, болгарской и албанской.

Ирма узнала адрес молодого майора, его телефон; узнала, что он не только отважный офицер, но и большой донжуан. Белобрысый, как спаржа тонкий, первый секретарь, с осведомлённостью завязтого сводника, назвал графине тех дам, которые грешили с майором. Секретарь, поблескивая замаслившимися рыбьими глазами, обмолвился, что при пылком темпераменте серба графиня имеет все данные выполнить до конца свою миссию...

Легкий тон молодого человека покорибил Ирму. Восточными глазами своими она смерила с головы и до ног несуразную, длинную фигуру спаржевидного секретаря...

Ненадович жил в мебелированных комнатах на Литейном. Он только что позавтракал на Невском в одном из ресторанов и не спеша, походкою фланирующего человека, возвращался к себе. Стройный, с мускулистым, сильно развитым телом, он шёл гремя саблей. Женщины заглядывались на красивого офицера в чужой, незнакомой форме, фуражке с бархатным лиловым околышем, в сером походном мундире и в чёрных, до колен, ловко

охватывающих ногу гетрах.

Ненадович не любил летнего Петрограда. Его тянуло туда, к себе, в Сербию, к гористым берегам вольно текущей Моравы. Завтра он пойдёт в посольство, чтоб выхлопотать себе двухмесячный отпуск.

Майор занимал большую, чистую, в два солнечных окна, комнату. Над оттоманкой — ночью она превращалась в постель — висело оружие. Это были трофеи: турецкая и болгарская винтовки, и среди них два громадных, старинных пистолета, гранёных, с золотой насечкою и рукояткой, украшенной бирюзой. Пистолеты — покойного деда. А вот и сам дед. С выцветшей фотографии смотрел из-под седых, нависших бровей, в круглой шапочке серб с длинными, гайдуцкими усами. Да так оно и было. Весь свой долгий век старый юнак гайдучил в горах и много порезал и пострелял турок...

Ненадович снял мундир, повесил его на стул, а сам, развернув книгу по военной истории, улегся на оттоманку с папиросой в зубах. И не успел он углубиться в испанские операции наполеоновского маршала Бертье, как

коридорный мальчик, постучав, доложил, что майора зовут к телефону.

— Кто зовет?

— Какая-то барыня... Только не называются...

Серб накинул мундир и, очутившись в обитой войлоком телефонной будке, спросил:

— Кто говорит?

— Вы меня совершенно не знаете, и поэтому, имя мое вам ничего не скажет, — услышал он молодой женский голос, говоривший по-французски.

Пауза...

Ненадович спросил:

— Что же вам угодно, сударыня?..

— Познакомиться с вами...

— Зачем?

— Невежа! Разве такие вопросы предлагают избалованной женщине, которая хороша собой?

— Увы, сударыня. Техника еще не сделала таких успехов, чтоб, разговаривая по телефону, можно было видеть своего собеседника. И почему я должен верить вам на слово?..

— Несносный человек! Так вам же предла-

гают убедиться! Скажите, разве все сербские герои такие... такие «трудные» мужчины?..

— Я отвечаю только за себя. Итак, на чем же мы остановимся?

— Вы свободны сегодня, в десять вечера?..

— Свободен!..

— Великолепно... Я назначаю вам свидание...

— Где?

— Где... Дайте подумать. Вот где! В условленный час буду ждать вас у памятника Петру Великому...

— Ровно в десять часов — у памятника Петру Великому...

До свиданья!

— Еще, сударыня, один вопрос, даже целых два. Во-первых, чему я обязан таким лестным вниманием?

— Многому. Мне говорили о вас, и потом, я вас видела. Довольны?.. Ну а во-вторых?..

— Во-вторых, как же я вас узнаю?

— Это нетрудно. Там всегда пустынно, и, следовательно, я буду в единственном числе. А затем, вы увидите женщину под густой вуалью, и в руке у неё будет золотой мешочек.

Этих примет более чем достаточно, и, наконец, я же вас знаю! Я сама подойду к вам. Вы будете в форме?

— Нет, в штатском. На свидания предпочитаю ходить в штатском. Зачем обращать на себя внимание? Тем более, нас только четверо сербских офицеров на весь Петроград.

Не находя в себе ни покоя, ни сна, дремала бледная, белая ночь. И стоном затерянных, таких же бесприютных, как эта скитальческая ночь, душ чудились протяжные, доносившееся с Невы свистки пароходов.

Гордым и мощным силуэтом замер в титаническом прыжке на своей скале Медный всадник.

Серб, в чёрном котелке и в летнем пальто, подъехал на извозчике. Незнакомка была уже на месте. Это она! Густая вуаль, золотой мешочек. Первое впечатление — выгодное. И хотя лица нельзя рассмотреть, но вся дивная фигура обещает, что и лицо прекрасно.

— Я опоздал?..

— Ничуть. Это я пришла несколькими минутами раньше. Пойдём к Неве...

Остановились у гранитного парапета, влажного от сырого дыхания белой ночи. В прозрачную серебристую мглу уходила полноводная ширь Невы. И тихо, замороженно тихо, и не вспугивают бессонной немоты протяжные, стонущие свистки, эти покаянные души метущихся грешников. И мелодичный, как отзвуки давно минувшего былого, нежной и чистой музыкою донесся бой курантов Петропавловской крепости.

— Как хорошо... — молвила незнакомка.

— Да, хорошо... — повторил серб, пытаюсь рассмотреть скрытые темной паутиною вуали черты. Но все неясно, и поэтому — загадочно-маняще.

Ненадович видел свет и людей. В Париже он окончил Сен-Сирскую школу. Он с первого впечатления убедился, что и по манерам, и по туалету, и по чистому французскому языку перед ним — дама. Настоящая дама общества.

Он спросил:

— Кто вы, назовите себя?..

— Зачем? Разве в такую дивную ночь спрашивают об имени? Так гораздо таинственней. Не надо имен, и, кроме того, у меня есть осно-

вание остаться для вас безымянной. Если хотите, называйте меня каким-нибудь псевдонимом. Пусть я буду для вас Белая ночь. Хорошо?..

— Пусть!..

Он был на все согласен. Близость этой «Белой ночи» волновала его южную кровь. Они стояли рядом, почти касаясь друг друга, и от него веяло таким жаром, что незнакомке передалось это, и её глаза торжественно блеснули под вуалью.

— Поедем куда-нибудь чай пить?.. — предложил серб.

— Поедем, — охотно согласилась она. — Только куда? Появиться с вами где-нибудь в ресторане, я не хотела бы... Неудобно... А вот что, можно к вам?.. Но с условием. В половине двенадцатого я должна быть свободна... Вы меня отпустите?..

— Что за вопрос?.. Я весь ваш покорный слуга...

Теперь он более, чем минуту назад, готов был на все согласиться...

25. Кабинет № 3

Здесь, в своей комнате, майору было еще страннее чувствовать себя с глазу на глаз с этой женщиной, лицо которой для него — загадка. Густая вуаль, к тому же двойная, почти непроницаема.

Это совсем другое, чем маска. Маска закрывает вплотную. Вуаль же дразнит, отделяясь какими-то, не дающими покоя, намеками...

Ненадович жадно тянулся к незнакомке.

— Снимите же!.. Дайте взглянуть на вас! Я готов поклясться, вот на этой самой сабле с запекшейся кровью трех войн, что я не буду следить за вами, узнавать кто вы и что вы... Один миг!..

— Не просите... Я верю вам и вашей клятве, но... кстати... Неужели — запекшаяся кровь?..

Он снял со стены саблю в металлических ножнах, погнутых, бывших во всякой боевой и походной переделке и вынул острый клинок, весь темно-красный какой-то зловецей ржавчиною.

Дама под вуалью хотела коснуться своим нежным и тонким пальцем лезвия. Он отдернул саблю.

— Боже сохрани вас... Малейший порез — и не миновать заражения крови.

— Да? Прямо пугаете!.. И сейчас, в этой мирной обстановке, — все еще страшное оружие... Что же там, на войне!.. И вы лицом к лицу... рубили?..

— А то как же... На моей душе немало посеченных турок, болгар и албанцев... Но мне все-таки далеко до моего деда...

— Так что сабля ваша насытилась кровью?..

— О нет, еще далеко нет!.. Я ее еще берегу для встречи с мадьярами и швабами... Не миновать же войны, в конце концов!.. И тогда... Мы, сербы, припомним Боснию и Герцеговину!..

Голос Ненадовича окреп вдруг какой-то пророческой мощью. И жестокий огонёк вспыхнул в его горячих южнославянских глазах...

Женщина, чуть вздрогнув, спросила:

— Разве сербы так ненавидят австрийцев?

За что? Может быть, мой вопрос глупый... Но я — полнейший профан в политике...

— За что?.. За что? — с горечью усмехнувшись, повторил майор. — Нет подлее страны! Нет подлее правительства, чем австрийское! Нет! К туркам и десятой доли не питали мы той ненависти, которой с колыбели вскормлен каждый серб по отношению к Австрии... Турки — дикари! Но у них было что-то похожее на благородство. Пусть азиатское, варварское, но все же благородство. Австрийцы же — это «культурные» угнетатели, провокаторы, мошенники, поддельватели документов... Каждый посланник, каждый дипломат — чернильный бандит, способный подсыпать вам в кофе яд, сфабриковать какие угодно документы, лишь бы оклеветать славян вообще и сербов — в частности... Заветная мечта моей жизни — дождаться войны... Весь мой народ встанет как один человек! Дети, старики пойдут, женщины! И в Будапеште или Вене, занятых русскими и сербскими войсками, будет продиктован унижительный мир для этой швабско-мадьярской сволочи!..

Какая-то вдохновенная свежая сила чув-

ствовала в всей мужественной фигуре и в страстно звучащем голосе Ненадовича. Он опомнился вдруг.

— Зачем это я? Вам скучно! Да и не поймете... Надо быть сербом, чтоб понять всю нашу ненависть к этой подлой, разлагающейся стране с её полусгнившими Габсбургами... Но почём я знаю? Быть может, вы сочувствуете... и я невольно оскорбил ваши симпатии... В таком случае извиняюсь... Но довольно политики. Что же нам не дают чаю?..

Он позвонил.

Дама усмехнулась под густой вуалью.

— Можете не стесняться, майор... Мне нравится эта ваша благородная горячность, и, если уж хотите знать, в жилах моих течёт скорее итальянская кровь... Мой дед погиб в Виченце от руки палачей фельдмаршала Радецкого. Этим все сказано...

— Вот видите! Как я рад! — подхватил Ненадович. — Рад, хотя для вас лично во всем этом больше горя, чем радости...

Горничная внесла на подносе заботливо сервированный чай со сливками и разным печеньем. Сказав: «Здравствуйте, барыня», —

и поставив чай на круглый прикроватный стол, удалилась. В раскрытую дверь вошёл мальчишка.

— Пожалуйста к телефону!..

Серб, извинившись, покинул гостью. Через минуту вернулся.

— Вас, может быть, куда-нибудь вызывают? Пожалуйста, не стесняйтесь...

— Нет, никуда. Из посольства звонили... Завтра один из секретарей уезжает курьером в Белград... Напомнили, чтоб я переслал через него одну бумагу в Военное министерство. Надо ее сейчас отправить...

На письменном столе, рядом с чернильницей — майоликовый стакан для карандашей и перьев. Ненадович взял со дна стакана ключ, открыл ящик письменного стола и, добыв оттуда какую-то бумагу, заклеив ее в большой конверт, запечатав и надписав адрес, вышел вместе с пакетом.

Ящик остался выдвинутым. Незнакомка, бросив опасливый взгляд на дверь, кинулась к ящику, раскрыла шире... Так и есть... То, что ей нужно! Чертежи, планы и карты на прозрачной кальке... Тетрадь в каких-то цифрах,

пометках и выкладках, развернутая...

Донеслись твердые, энергичные шаги. Дама под вуалью быстро задвинула ящик, уйдя в рассматривание дедовских пистолетов.

— Еще раз, виноват. Надо было экстренно отослать... — извинился майор.

Щёлкнул замок... Ненадович вынул ключ и бросил его на дно майоликового стакана. Дама украдкой следила за ним.

— Сливки, варенье, лимон, что вам по вкусу? — угощал майор.

Она пригубила из чашки, спохватившись:

— Уже поздно! — взглянула на эмалированные золотые, как медальон, висевшие на груди часики. — Уже четверть двенадцатого... Пора!

— Так скоро... Но вы же обещали до половины... Куда вы спешите?

— Домой! Если я не буду вовремя дома, неприятностей не обернется...

— Муж?

— И вдобавок безумно ревнивый...

— В таком случае не смею задерживать. Жаль! Очень жаль!.. Но когда же мы увидимся с вами, Белая ночь?

— Дайте сообразить...

— Имейте в виду, через неделю я, по всей вероятности, уезжаю в отпуск.

— В отпуск? Вы не уедете так скоро... Слышите, я не отпущу вас!

И она доверчиво протянула ему обе руки, подаваясь к майору с какой-то кокетливой грацией всем своим гибким телом...

И он схватил нежные, холёные ручки и, вдыхая затрепетавшими ноздрями аромат кожи, целовал их, теряя голову. Притянул к себе и крепко обнял эту женщину... Она забилась в его сильных руках, пытаясь вырваться. И вырвалась...

— Не надо... Не волнуйтесь же понапрасну... Потом!..

— Когда потом? Вы меня обманываете, вы исчезнете, Белая ночь!

— Нет... Я верна своему слову... Хотите завтра? В девять вечера я буду у вас.

— Она спрашивает?.. Хочу ли я? Безумно хочу!

— Итак, до завтра... Ждите... А сейчас не провожайте меня. Слово, что вы останетесь дома. Малейшая неосторожность — и это ме-

ня погубит...

Она ушла.

Белые, павильонного стиля ворота увеселительного учреждения «Альгамбра» сияли лампами, то вспыхивавшими, то погасавшими. Ливрейная прислуга в красном пропускала вереницею подъезжавших гостей. В саду из десятка-другого тощих деревьев гремел военный оркестр.

Тесная уборная пропиталась запахом пота здоровых и сильных людей. Эти здоровые, сильные — борцы-атлеты. Плечистый Вебер с остриженным бычачьим затылком вернулся в уборную после долгой, утомительной схватки с тяжёлым противником. Весь Вебер вместе со своим чёрным трико «дымился», как запаренная лошадь. Его широкое, тупое лицо с низким лбом блестело, как смазанное маслом. Он сел, отдуваясь, на скамейку и, вынув из сумочки, где у него хранилось вместе с башмаками для арены трико, бриллиантовый перстень, украсил им свой обрубковатый мизинец. Борцы с завистью глядели на крупный, дорогой, переливающийся огнями брилли-

ант. Вебер получил его от одной из своих поклонниц.

Постучав в дверь, вошёл рослый официант с салфеткой под мышкой. Он произвел впечатление заморыша среди этих громадных, из мяса и мускулов атлетов.

— Господин Вебер! Вас желают видеть одна дама. Они заняли кабинет номер третий...

— Какой дамен, молодой, красивый?

— Очень из себя такие аккуратные...

— Везёт же каналье Веберу! — хлопнув борца по плечу, воскликнул русский атлет Бандурин.

Вебер самодовольно сиял.

— Меня лубит здэшний дамен!

— Так вы придете, господин Вебер? Я буду вас ждать у дверей...

— Карошо, я будить кабинет. Я только снять свой трико и одевалься...

Через несколько минут официант распахнул перед Вебером дверь. Огромная туша протиснулась в оклеенный бумагою кабинет с пианино и бронзовыми канделябрами. Расползаясь тупым лицом в улыбку, атлет приветствовал одиноко сидевшую на плюшевом

диване даму с золотым мешочком и под вуалью.

— Гутн абенд!..

Ему ответили по-немецки...

— Мне писали о вас из Берлина. От вас требуется одна весьма патриотическая услуга...

— Патриотическая услуга?!. Вебер добрый немец, и почему нет!

— Но это сопряжено с опасностью... Ведь вы очень сильный, господин Вебер, не так ли?

— О да... Колоссально! — И борец сжал свой кулачище с добрый телячий окорок. На этом окороке искрился радугою бриллиант.

— Если б вам указали человека, опасного вашему отечеству?..

— Я бы его задушил...

— Душить не надо. Это уже преступление. А так... Случайный удар, один из тех ударов, после которых люди неожиданно умирают...

— Это я могу... Я убил двух человек. И оба раза кулаком!

— Вот видите, какой вы сильный, господин Вебер... Но, хотя вы и патриот, деньги никогда не бывают лишними...

— О да, натурально! — оживился он. — Деньги — вещь хорошая!

— Так вот... За ваш удар вы получите две тысячи крон. Это восемьсот рублей...

— Мало... Меня могут выслать, и я потеряю ангажемент. Четыре тысячи!

— Хорошо... Четыре! Вот задаток.

Вебер протянул свою лапищу. И узенькая ручка потонула вся в теплом потном окороке венского чемпиона...

26. Наполеон из Бобруйска

Белый людовиковский зал в особняке Ольгерда Фердинандовича Пенебельского украсился тремя фамильными портретами. Ольгерд Фердинандович охотно показывал их гостям, давая соответствующие пояснения:

— Это мой папаша. Он был в варшавском университете за профессора. Это мой дед, маршалек на Волыни. Это мой прадедушка — улан Иосифа Понятовскаго.

На портретах лежала печать времени. Заботами художника, обегавшего весь Александровский рынок, они и обрамлены были подобающим образом.

И все, кто любовался портретами, все в один голос:

— А знаете, Ольгерд Фердинандович, у вашего покойного батюшки разительное сходство с Генрихом Сенкевичем!

— А что вы думаете? Двойник! Совсем две капли воды. Их часто перепутывали в Варшаве.

Если б это видел и слышал седобородый патриарх Нахман Пенебельский, всю свою бедную, трудовую жизнь, как рыба об лёд бившийся в крохотной и тесной лавочке с её жалким, копеечным оборотом. Если бы он видел и слышал!

Но он не мог ни видеть, ни слышать, давно угомонившийся в белом саване своём под серой плитой уже поросшего зеленоватым мохом камня на унылом Бобруйском кладбище.

Ольгерд Фердинандович был на седьмом небе. Тысячу раз прав он! Да и вообще разве он когда-нибудь в чем ошибался? Предки необходимы! Особняк без предков — какой же это особняк?..

Вот супруга Ольгерда Фердинандовича не разделяла его восторгов:

— А вдруг узнают?

Пенебельский снисходительно пожимал плечами:

— Евдокия, ты говоришь глупости! Кто же станет копаться в моей родословной? И наконец, если бы даже узнали. Нехай! Наплевать! Теперь мне на многое наплевать.

Он был прав. Человеку в его положении и с его миллионами — очень нужно стесняться...

Евдокия Ермолаевна когда-то была крупной и довольно красивой блондинкой. Теперь она стала еще крупнее, но с годами от сидячей жизни красота отяжелела и расплылась. Глаза были прежде томными, теперь они смотрели припухло и лениво. И губы маленького рта были томными, а теперь линия их обозначалась тоже как-то лениво и вяло.

Евдокия Ермолаевна приходилась племянницей тому самому Гальперину, у которого в Минске Пенебельский делал первые шаги своей столь ярко разгоревшейся карьеры. Тогда этот брак для племянницы Гальперина считался мезальянсом. А теперь уже Ольгерд Фердинандович смотрел на него, как на меза-

льянс для себя.

А главное, Евдокия Ермолаевна, точно бесплодная смоковница, не дает ему потомства. Между тем необходим наследник. Наследник, которого отец называл бы «дофином».

Ах, зачем у него нет дофина! Он определил бы его в лицей или правоведение, и, почём знать, впоследствии дофин мог бы носить раззолоченный камер-юнкерский мундир.

Говорят, что для этого требуется доказать сто лет дворянства. Но мало ли что говорят? Камер-юнкер Пенебельский, как бы это красиво и гордо звучало! Но, увы, также бесплодны мечты, как бесплодна сама Евдокия Ермолаевна. Это было весьма и весьма большим местом Ольгерда Фердинандовича.

Ему даже приходила мысль развестись и жениться вторично. Жениться на какой-нибудь обедневшей княжне. Бывали примеры...

Несколько лет назад Ольгерд Фердинандович был по делам своего банка в Париже. Там он познакомился с Артуром Мейэром, издателем газеты «Галуа». Мейэр женат на графине де Тюрени. Шутка ли сказать, какое историческое имя!..

Мейэр — семидесятилетний еврей. Графиня — молодое очаровательное существо. Но у Мейэра своя газета, свои миллионы, и он мог позволить себе роскошь жениться на девушке из когда-то владетельного дома.

У Пенебельского нет газеты, но у него есть миллионы, и ему не семьдесят лет, а всего под пятьдесят, и, наконец, он не еврей, а православный и недаром же ему так хотелось быть церковным старостой...

Развестись? Развестись — не то слово. Гораздо внушительнее звучит «расторгнуть брак». Ведь расторгнул же свой брак Наполеон с бесплодной Жозефиной и взял себе Марию-Луизу Австрийскую. А чем, спрашивается, Ольгерд Фердинандович не Наполеон в финансовых и банковских кругах Петрограда? И не только одного Петрограда. Его имя известно, и не как-нибудь, а по-настоящему, на биржах Лондона, Берлина, Парижа, Вены и Будапешта.

Молодая жена, да еще с титулом!..

Ольгерд Фердинандович был неравнодушен к титулам. Служащих своего банка он держал в чёрном теле. Если кто-нибудь из

этих тружеников просил у него хотя бы самой ничтожной прибавки, он морщился:

— Раз вам невыгодно служить, поищите себе другого места. Ведь я же вас не удерживаю?

Но если какой-нибудь титулованный прохвост с подмоченной репутацией, волочивший по грязи свой графский или княжеский герб, обращался к Пенебельскому с просьбою дать займы пару-другую тысяч, Ольгерд Фердинандович, отлично зная, что не видать ему больше этих денег как ушей своих, никогда не отказывал. Не хватило бы духу отказать человеку с титулом.

Своих «аристократических друзей» Пенебельский облагал единственной повинностью. Это — бывать на его обедах и завтраках. Повинность — не из обременительных, принимая во внимание вкусные обеды, тонкое вино и дорогие сигары.

А Ольгерд Фердинандович мог небрежно сказать при случае:

— У меня обедал князь такой-то, граф такой-то, барон такой-то...

Чем дальше, тем больше разгорались его

аппетиты. Князья и графы с подмоченной репутацией удовлетворяли его наполовину. Хотелось видеть в своей готической столовой особ дипломатического корпуса, министров. Он даже помирился бы на первое время с двумя-тремя «товарищами», которые, почём знать, не сегодня завтра сами могут выскочить в министры...

Утром Ольгерд Фердинандович заглянул в свой банк, принял нескольких человек, завтракал на Морской с двумя биржевиками и заглянул на минутку домой, не отпустив шофёра, так как ему надо было заехать еще к своей содержанке. Ольгерд Фердинандович имел содержанку, иначе это было бы совсем уж не по-банкирски...

В своём «наполеоновском» кабинете он докуривал сигару, просматривая отчеты своих отделений в Тегеране и Софии. Вошёл с карточкою на подносе лакей.

— Дама желает видеть ваше превосходительство...

Ольгерд Фердинандович взял карточку, тоненькую, узенькую, прозрачную. Стояло на ней: «Графиня Джулия Тригона».

— Проси!

Ольгерд Фердинандович сам выкатился навстречу графине.

Привела ее к Пенебельскому полученная утром телеграмма от Флуга:

«Сборы на воздушный флот наш требуют крайнего напряжения. Побывайте у Пенебельского. Пусть даст еще тысяч пятнадцать. Скажите, что „декорация“ ему пожалована, и я сам ему привезу вместе с патентом. И еще скажите ему, что „час близок“»...

Ольгерд Фердинандович, галантно расшаркавшись, приложился к ручке.

— Польщён видеть у себя вас, графиня. Прошу садиться. Я много наслышан о вашей красоте, графиня, но то, что я вижу, выше всяких описаний!

— Мерси, вы очень любезны, господин Пенебельский... Я привезла вам поклон от нашего общего друга Прэна.

Ольгерд Фердинандович насторожился и выжидающе вежливо смотрел на графиню.

— Да, поклон! И кроме того, господин Прэн уполномочил мне передать, что привезёт вам «декорацию» лично и, кроме того, самое глав-

ное — уведомить вас, что час близок.

Пенебельский просиял. И жестом, перехваченным у Арканцева, с которым завтракал сегодня за соседним столиком и с которым так жаждал познакомиться, разгладил свои тёмные бакены.

— Я очарован таким внимавшем господина Прэна, графиня! Мой ему поклон и привет, графиня...

— Это еще не все. Сумма, пожертвованная вами, оказалась недостаточной. Ваше имя слишком хорошо знакомо в Берлине. А вы знаете: большому кораблю — большое плавание...

Ольгерд Фердинандович слегка заерзал в своём кресле. Ему показалось, что в кабинете сквозит, хотя не сквозило вовсе.

— Я полагаю, что при ваших немецких симпатиях и кроме того — вы сами немец...

«И дернула же меня нелегкая назваться немцем!» — сказал про себя с досадою Пенебельский и молвил вслух:

— Если в Берлине эту сумму нашли недостаточной, что ж, я готов пополнить...

— В таком же размере, как и первый

взнос, — подхватила графиня.

— Графиня, я хотел бы увидеть человека, осмелившегося вам отказать...

Ирма холодно приняла этот комплимент.

— Вы делаете это не ради меня, а как гражданин и патриот.

С подавленным вздохом Пенебельский написал чек. И опять ему показалось, что в кабинете сквозит...

Из золотого мешочка Ирма вынула крохотную книжечку в переплете оксидированного серебра. Забыв, что ему подобает держаться олимпийцем, Ольгерд Фердинандович, испугавшись одного вида книжечки, замахал руками:

— Полноте, графиня, какие же формальности между своими людьми!..

— Извиняюсь, господин Пенебельский... Но я в данном случае формалистка. Потрудитесь расписаться.

Прижатый к стене, да еще такой очаровательной женщиной, Ольгерд Фердинандович расписался. И опять, как тогда с Флугом, дрожали пухлые, короткие пальцы с плоскими ногтями, а белый, как слонобая кость, нос

увлажнил себя двумя-тремя капельками...

Овладев собою, Ольгерд Фердинандович сказал:

— Я сегодня же буду у вас с визитом, графиня. Надеюсь, что как-нибудь, на днях, вы не откажетесь украсить вашим присутствием мой скромный обеденный стол. Соберутся все люди нашего общества, и вы будете в своём кругу... А сейчас, быть может, вы разрешите, графиня доставить вас в моём автомобиле? Куда прикажете, графиня?..

27. Так начался их роман

«Службу» свою интересам габсбургской монархии Ирма начала еще при покойном графе Эрентале. Этот внук, или даже сын банкира, проскочивший сначала в бароны, а потом в графы, заявил Ирме довольно цинично:

— Кто много платит, — а мы платим весьма щедро, — тот вправе предъявлять совершенно пропорциональные требования... Не так ли? И когда нам нужно, когда это в наших соображениях, мы будем пользоваться вами, как женщиной, которая может нравиться тем, кто нам нужен и которая умеет быть не

совсем уже такой неприступной... Имейте в виду, что самый опытный в паре агент спасует перед женщиной, и там, где он в бессилии разведёт руками, там она сумеет узнать и добыть требуемое. В её руках два могущественных орудия. Во-первых, её тело, во-вторых, извиняюсь, постель! Да, постель!.. И на этом алтаре любви приносились неоднократно великие политические жертвоприношения... И самые искусные дипломаты поднимались на утро с этого алтаря, если и без ночного колпака, то за это кругом околпаченные. Будете слушаться, из вас может получиться толк. У вас красота, манеры, чудная фигура, вы владеете языками и, кроме того, вы действительно, графиня, настоящая, не маргаритиновая...

Таков был первый урок, преподанный графине Чечени графом Эренталём в его «интимном» кабинете Министерства иностранных дел. Ирма оправдала с лихвою надежды своего учителя.

В её послужном списке числились две крупные заслуги. Во-первых, однажды в Ницце — ее специально командировали туда лет пять назад — ей задалось раскрыть существо-

вание тайного договора между Францией и Англией. Как-нибудь, при случае, мы расскажем об этом подробно. Во-вторых, уже об этом вскользь упоминалось, Ирма сыграла далеко не последнюю роль в аннексии Боснии-Герцеговины. В Бухлау, наследственном замке Эренталевой супруги, Ирма провела несколько дней. И там в её чарах и густых волосах запутался до потери своей, и без того не особенно крепкой головы, крупный европейский дипломат. Крупный не способностями, а положением, которое занимал...

После Бухлау граф Эренталь представил Ирму эрцгерцогу Францу-Фердинанду. И тот, покручивая свои вахмистрские усы, обещал ей орден «Золотого руна» и крупную денежную награду. «Золотое руно» почему-то «улыбнулось», а денежная награда, и действительно крупная, выдана была графине.

В венских придворных кругах шутя говорили, что молодая вдова Ирма Чечени — она действительно была вдовой — получит новый титул герцогини Боснийской.

Но, как бы там ни было, вся эта эпопея в Бухлау оставила в ней осадок чего-то позор-

ного. Сын банкира, вершивший политические судьбы Австро-Венгрии, с каким-то неогциантским плантаторским цинизмом торговал её телом в этом магнатском замке со старинными портретами и пылью Средних веков.

И когда она вспоминала желтое, морщинистое бульдожье лицо, типичное лицо настоящего бульвардье и эти несвежие губы, которые ее целовали, Ирму охватывала дрожь вместе с презрением к самой себе... И не потому, чтобы она была когда-нибудь женщиной строгих правил... Ничуть! Наоборот. Юность её прошла легкомысленно, в распущенной атмосфере Будапешта, где у женщин так рано, по-восточному рано, просыпается чувственность.

Ирма слишком любила любовь, чтобы профанировать ее, отдаваясь тому, кто не нравится. На этом основании так резко оттолкнула она от себя нужного и полезного ей Флуга. Может статься, и, пожалуй, наверное, в глазах других женщин он был бы превосходным самцом. Но если б ее заставили ласкать Флуга, ей показалось бы, что она отвечает на по-

целуи трупа. В самом деле, порою голова Флуга, с глубоко засевшими, тусклыми, без блеска, словно давно-давно погасшими глазами, производила впечатление мертвой...

И если ей понравился кто-нибудь в Петрограде, понравился с первого же взгляда, так это Вовка. С опытностью наметавшейся тридцатилетней женщины, оценила она и его фигуру, и все продолговатое ассирийское лицо, с черной, в завитках бородою и полной, сочной нижней губою, к которой так близко и густо, вплотную, подошла эта стильная, напоминающая барельефы тысячелетних саркофагов борода.

Графиня решила, что на фоне «Семирамис-отеля» мог бы создаться у неё с этим человеком интересный, полный восторгов, красивый роман. Именно красивый, хотя Ирма не самообольщалась никакими иллюзиями о духовных запросах и тяготениях. Жить сердцем — это не для неё, и, кроме того, романы сердца ничего, в конце концов, кроме разочарования, не приносят...

Языческая любовь античных людей не носилась в облака. Тогда смотрели здоровее и

проще. И если говорят, что Алкивиад ценил в Астазии душу, и она помогала ему быть государственным мужем, — так это ложь. Ложь, которая сквозь туманную дымку вереницы веков может сойти за красивую правду...

В данном случае тяготение было совершенно взаимное. Вовку безумно тянуло к ней, и когда, поздно возвращаясь к себе, он проходил мимо её номера, он замедлял шаг, думая о ней мучительно, представляя себе, как она там разметалась на холодных простынях, или плещется, совершая свой ночной туалет, — у него пересыхало во рту!.. И подгибались дрожь колени...

Раз он не мог сдержатъ себя и, будь что будет, забыв всякое условное приличие, ворвался к ней... Ирмы не было, и он унес фотографии.

К любви вообще, как к таковой, Криволицкий предъявлял романтические требования. И в его бурном, скитальческом прошлом бывали моменты возвышенной, иногда сентиментальной влюбленности. Что же касается Ирмы, по отношению к ней он не ощущал никаких романтических взлетов. Она была его

по чувственности... Жестоко была!.. До горячего шума в висках, до того, что смугло-матовое лицо этого ассирийца бледнело мертвенной бледностью...

И он решил, что дальше так продолжаться не может. Он утратил и сон, и покой, а ему нужно и то и другое.

Как это случилось?

Просто... В жизни это сплошь да рядом случается просто. Совсем по-другому, чем в романах. Он выдумал какой-то нелепый предлог. В такие моменты предлоги являются всегда нелепые. И чем позже к ночи и нервней, и напряженней все ощущается, тем нелепей.

Вовка проходил по коридору в полночь, и ему непременно сейчас же — вынь да положь — захотел узнать, имеет ли юридическое право муж-итальянец распоряжаться состоянием жены? Кто, как не графиня Юлия Тригона, может в данном случае удовлетворить его любопытство?..

В овальном окошечке над дверью — зеленоватый свет. Электричество горит, значит, дома. И он поднял руку постучать. Но рука была холодная и чужая. Он опустил ее и,

только сделав над собою усилие и глотнув сухими, горячими губами, стукнул раз и другой в белую дверь с торчащим ключом, который Вовка называл «камергерским».

Ему ответили, он не разобрал толком, но, если б и услышал «нельзя», все равно вошёл бы.

Ирма не удивилась нисколько. До того не удивилась, словно ждала его и это было стоворенное свидание. Ему почудилось, что глаза её стали необыкновенно большими, и, кроме этих глаз, он ничего не видел...

И забыв про итальянские законы, забыв даже поздороваться, он молча, бледный, с такими же вдруг большими глазами, как у Ирмы, подошёл к ней и взял ее выше кисти за руки, такой нежной полированной наготою сверкающие из распашных рукавов капота... И словно отдаваясь, эти руки поплыли к нему навстречу, и у своей груди он ощутил прикосновение небольшой теплой груди. И он обнял что-то гибкое, послушное, и тогда только вырвалось у него каким-то невыносимым страданием, с мольбою вырвалось:

— Я измучился, Юлия, места не нахожу се-

бе...

Она улыбнулась всегдашней в таких случаях улыбкою превосходства женщины над мужчиной.

— И не надо было мучиться... Надо было давно прийти сюда... Понял? Глупый!.. Понял?..

Но Вовка понимал одно. Если он не получит сейчас же этих губ, уже в истоме раскрытых, зовущих, он умрёт...

И все зашаталось кругом, как потрясенное могучим ударом. И погасла вдруг комната, и вместе с гранитным «Семирамис-отелем» помчалась в какой-то мигающий, вертящийся хаос...

Утром Вовка проснулся не у себя. И в первый момент не сообразил, где он. Хотел приподняться. Но две руки, нажав его плечи, заставили опуститься на подушку. И эти же самые руки нежным, ласкающим движением спрессовали в компактную массу его ассирийскую бороду, а голос прозвучал, смеясь:

— Теперь тебя запеленать, и ты будешь мумия... Мумия Рамзеса Второго в Булакском музее, в Каире...

— Благодарю покорно! К чёрту все мумии! Я хочу жить и целовать мою прекрасную Джулию.

Он обнял ее. Так просто начался их роман...

Вечером Вовка был у Арканцева, вызванный им по телефону.

— Никаких новостей?

— Никаких, если не считать... но... умолкаю. Ты ведь не любишь эротических отступлений.

— Однако?

— Можешь меня поздравить... Вот женщина!..

— Поздравляю. Но ты ошибаешься, мой друг, называя это эротическим отступлением. Наоборот, я нахожу, что это имеет прямое отношение к делу. Ты будешь, по крайней мере, в курсе вещей. Тебе легче и удобнее следить за своей собственной любовницей, чем за посторонней женщиной...

— Ленька, ты развращаешь меня. Ведь это же — предательство!

— Какие громкие слова. Ведь вы нужны друг другу — я не люблю таких слов, но что

поделаешь, ничего другого не подберешь, — как самец и самка... Ведь ничего духовного, высокого?

— Ничего...

— А следовательно — странная щепетильность. А пользу России ты забываешь? Да одна её переписка с этим американцем! Какое это драгоценное значение для всех нас...

— Кстати, утром она тщательно перебирала и прятала какие-то листочки, её же почерком написанные.

— Вот видишь! И это несомненно его телеграммы, которые она сама расшифровала.

— Пожалуй, и, кроме того, ей поданы были две телеграммы. И хотя она читала их, пряча от меня, я увидел бесконечное количество цифр.

Арканцев прищурился, подумал, разглядел надушенные бакены.

— Вот что... Попробуй... Но только с величайшей осторожностью... Попробуй переманить её ко мне на службу. Я не могу оплачивать её услуги в такой мере, как это делал блаженной памяти Эренталь, а теперь делает Бертхольд, не могу... Но если бросить на одну

чашку весов вместе с моим более скромным гонораром, еще к тому же интересного ассирийца, кто знает, которая из двух перетянет?..

28. О дипломатах, о Гумберте и его чемодане

Вовка просидел у товарища юных дней своих целый вечер. Совсем недавно еще Вовка был наиболее безмятежным образом равнодушен ко всему, что называлось политикой, дипломатией и тому подобными скучными словами. Скучными — тогда, раньше...

Теперь же, чувствуя себя каким-то, пусть даже самым незаметным и крохотным колесиком громадного, сложного, запутанного механизма явных и тайных международных взаимоотношений, теперь Вовка не находил эти слова «скучными». Наоборот. В его воображении стали они облекаться в нечто живое, трепещущее, сотканное из ярких и жутких образов...

Вот почему и сам Арканцев приобрёл в его глазах особую интересность, которой Вовка не замечал раньше. Интересность профессионала, знающего тот мир, которого Вовка не

знает, но теперь весьма и весьма любопытно ствует постигнуть...

И, как ученик учителю, с наивностью экспансивного человека, задавал он те или другие вопросы.

Арканцев, прихлебывая чай, по-деловому сервированный Герасимом на краюшке большого письменного стола, удовлетворял охотно Вовкино любопытство. Еще бы неохотно! Чем больше будет знать Вовка, тем лучше для дела.

Урок свой Вовка начал просьбою охарактеризовать ему германскую и австрийскую дипломатию. Качества и той и другой.

— Точнее попробуй выразиться. Что именно тебе хотелось бы знать и что ты сумеешь под словом «качество»? Насколько дипломатия осведомлена в истинном порядке вещей в тех странах, при которых она аккредитована? Это? Затем, назначаются ли на дипломатические посты люди талантливые, дипломаты по призванию? Или, наконец, тебя интересует, насколько они умеют отстаивать интересы своих правительств?

— Я хотел бы знать и то, и другое, и тре-

тье... Все!

— Всего нельзя... Все знает один Господь Бог... А то, и другое, и третье — можно. Видишь ли, между германской и австрийской дипломатией много общего, хотя, безусловно, германская — солидней, серьезней. Оно и немудрено, так как германская армия много сильнее и боеспособней австрийской. Дипломатия с большим или меньшим апломбом всегда базируется на количестве корпусов, которые государство может мобилизовать в наикратчайший срок...

— Так что ноты — нотами, любезности — любезностями, а сквозь все это глядят дула пушек и пулемётов.

— И винтовок! Ты забыл про винтовки... Теперь следующее: дипломатия этих двух правительств поставила свой шпионаж, как никто, в странах не только тех, с которыми она рассчитывает когда-либо воевать, но и совсем даже в нейтральных. Но вот истинный трагизм и тех и других, австрийцев в особенности. Несмотря на весь свой шпионаж, дипломаты из Вены никогда ничего толком не знают. Вот тебе пример: Балканская война.

Почему австрийцы не вмешались в эту войну? Их дипломаты на Балканах уверяли свое правительство, что турки разобьют в пух и прах союзников. Знаменитый Форгач, с которым австрийцы носятся, считая его чуть ли не гением, бывший посланник в Белграде, доносил, что сербская армия никуда не годится и турки без малейших усилий раздавят Сербию. По результатам ты можешь убедиться в прозорливости Форгача и его агентов. Сербская армия оказалась на удивительной высоте и в месяц разгромила турок, завоевав Македонию и старую Сербию. С этим Форгачем я встречался. На меня он произвёл впечатление круглого ничтожества. Типичный австрийский дипломат, дипломат авантюрист, не брезгающий самой грубой пошлейшей провокацией и подкупом наёмных убийц... Албанские головорезы всегда у них были на жалованье... Помнишь полосу, вряд ли помнишь, когда наших русских консулов в Македонии и в Старой Сербии албанцы систематически подстреливали, как перепелов? Так погиб талантливый и умный, энергичный Ростовский, сейчас не скажу в точности, где

именно — в Митровице, Ускюбе или Монастыре. Да это неважно теперь. Так погиб Щербина... И все говорили тогда, что это взрывы мусульманского фанатизма по отношению к христианам-гяурам... Чистейший вздор! Это Форгач и компания платили за каждую голову русского консула албанским разбойникам, желая уронить наш престиж на Балканах, и, почему знать, быть может, этим вызвать серьезный конфликт?.. Душою таких гнусных убийств был косовский арнаут Исса Болетинац... А на днях было в телеграммах, что этот самый Исса Болетинац поднялся со своей шайкой на защиту албанского фюрста Вида от повстанцев... Исса получает из Австрии ежегодно несколько десятков тысяч крон, и один из девяти сыновей его воспитывается на казенный счет в военном училище, в Вене... Этим Иссою, лет двенадцать назад, выпущен был целый манифест... Начинаясь он так: «Исса Болетинац и народ повелевает: кавасам [9] русских консулов в Митровице, Ускюбе и Приштине не давать ни хлеба, ни воды, не разговаривать с ними и при случае убивать их, как собак»... Ростковский — это было пе-

ред его убийством — запротестовал, и Абдул-Гамид волей-неволей, должен был убрать Иссу к себе, в Константинополь, и там это сокровище прожило больше двух лет в почетной ссылке, вернувшись в Косово со звездой, усыпанной бриллиантами. Вот тебе образец австрийской политики на Балканах. Убийства, мелкие гнусности, клеветнические подлоги. А серьезного отношения к делу и проникновения в глубь вещей и настроений — никакого!..

Тишину погруженного в полумрак кабинета вспугнул затрещавший вдруг телефон.

— Спросить кто? — предложил Вовка, сидевший ближе к телефону.

— Нет, дай мне трубку... Здравия желаю, — ответил Арканцев на чье-то приветствие и в течение двух минут слушал, время от времени кивая благообразной головою своей. Передал Вовке трубку и тот ее повесил. Арканцев откинулся на спинку кресла.

— Ну вот... Который час? Четверть двенадцатого?.. А в одиннадцатом, в нескольких верстах от Вержболова, на границе была перестрелка между нашими и прусскими погра-

ничниками. Колонист Герман пытался тайно перевести через границу какого-то подозрительного субъекта, по всей вероятности, этого мерзавца Гумберга, о котором ты телеграфировал. Но Гумберг оказался не таким уже простофилю и предпочёл обойти Вержболово. Герман, очевидно, известил своих приятелей с той стороны, и они все подготовили к переправе. Наши пограничники подоспели, открыв огонь. Немцы отвечали, Герман ранен и задержан, Гумберг успел убежать, кинувшись вброд через реку, но выпустил чемодан, поплывший по течению. Это было замечено и приняты меры, чтоб его выловить, если только чемодан не прибьёт к прусскому берегу.

— Вот было бы хорошо, чтоб не достался им! Пусть Агапеевские документы, хоть и подмоченные, вернуться к нам.

— Чего лучше?.. Но если даже предположить и худшее, то после такой основательной ванны вряд ли немцы смогут разобраться в чем-нибудь...

— А бедный мальчик невинно сидит!

— Это несерьезно, его скоро освободят. Я похлопочу об этом... А вот, что... Завтра, несо-

мненно, предстоит мне неприятное объяснение с этим сиятельным дегенератом, у которого вместо черепа сплюснутая тыква. Будет лить крокодиловы слезы о том, что наша пограничная стража нарушает мирные, добрососедские отношения...

Опять задребезжал телефон, и опять Арканцев сказал:

— Дай мне трубку...

Какой-то хриплый, задушенный, скрипящий шелест. Арканцев, закрыв на мгновение рупор ладонью, успел шепнуть Вовке:

— Лёгок на помине!.. — И сразу лицо его застыло в непроницаемой маске. Сдавленный голос шелестел довольно громко, и даже к Вовке долетали неясные обрывки французских слов старческой речи...

Арканцев выслушал терпеливо и с еще более холодным лицом заговорил в свою очередь:

— Картина, вашим превосходительством нарисованная, была бы действительно характеризующей нарушение добрососедских отношений чинами русской пограничной стражи. Но я уверен, что вы, ваше превосходитель-

ство, получили не совсем точные сведения. На самом деле была попытка тайного перехода границы двумя подданными Его Величества императора Германии колонистом Германом и ротмистром полка «гусар смерти» бароном Гумбертом. И когда чины русской пограничной стражи потребовали от них остановиться, оба кинулись в воду по направлению к прусскому берегу. И тогда же чины конной и пешей пограничной стражи Прусского королевства первые открыли огонь, на который не оставалось ничего другого, как отвечать...

Арканцев прислушивался к своему собеседнику.

— Двое убитых и трое раненых? Это очень прискорбный факт, и я выражаю мое искреннее сожаление вашему превосходительству... Но это уже дело случая или, вернее, меткости стрельбы... Чины русской пограничной стражи, к глубокому прискорбию, тоже понесли потери, выразившиеся в двух, слава богу, легко раненных рядовых.

Прибавив несколько официальных любезностей, Арканцев прекратил этот «диплома-

тический» разговор.

— Вот тебе наглядная иллюстрация только что набросанной характеристики. Делают пакости, по уши сидят во всевозможных грязных историях и туда же, притворяются невинными агнцами. Они такие-сякие, хорошие, а мы взяли и напали на них. Ведь вот этот дегенерат... Думаешь, он в курсе вещей? И что-нибудь толком знает? Он уверен, что мы расползаемся по всем швам и не готовы к войне, и в таком же духе шлет в Берлин свои сообщения... И на здоровье! Тем лучше для нас... А когда пробьёт время — не миновать же войны, слишком сгустился воздух, — мы им покажем и нашу неготовность, и как мы расползаемся по швам...

— Мне нравится тон, как ты с ним говорил... И всегда по-французски?

— Всегда! Прежде он пускал в ход немецкий язык, но я неукоснительно отвечал ему всегда по-французски... Ты говоришь — тон? Друг мой, мягкий тон с этими господами недопустим. Чуть повышенная любезность — они понимают ее по-своему... Ага, значит, боишься! И норовят сесть на голову...

Вернувшись в отель, Вовка замедлил шаги, подходя к номеру графини. Но не горело зелёным светом овальное окошечко, дверь была закрыта и вынут ключ. Вовкину грудь сжала ревность. Ревность без любви. Ревность собственника. Он постоял, ушёл к себе, но не мог спать. Сон бежал. Думал одеться и пойти к Ирме — не вернулась-ли? Но мешала какая-то гордость...

А между тем Чечени вернулась спустя несколько минут вслед за ним. Вернулась от майора Ненадовича...

29. Египетские папиросы графини

Пылкого серба захватило это приключение. В самом деле, какая-то загадочность во всём... И это упорное желание остаться под вуалью, и самое глубокое инкогнито, и запрещение выйти вместе, словом, что ни шаг — всюду натывается на какую-то странную таинственность... Да, странную...

И если предположить, что она из общества и муж её занимает видное положение, все же нет основания так тщательно скрывать свое имя.

Ведь не проходимец же он, могущий ее шантажировать. Он офицер, командированный своим правительством в дружественную Россию с определенными полномочиями, и его красивый парадный мундир в кованых эполетах и в золотом шитье бывал далеко не последним на фоне нарядной вечерней толпы в посольствах и миссиях.

Но этой Белой ночи майор нигде не встречал. А может быть и встречал. Но извольте угадать, раз эти черты, без сомнения красивые, задернуты паутиною вуали, как солнце тучей.

И горела кровь, и весь Ненадович полон был этой незнакомкой. И, в конце концов, не все ли равно ему, кто она и что? И если она окажется искательницей приключений — какая-нибудь скучающая международная дамочка, многое видевшая, многим пресытившаяся, пусть так — не все ли равно? Если их встреча не будет одним только, ударившим по нервам эпизодом, а явится лишь первой главою — что ж, тем лучше!.. И он отодвинет на время свой отпуск.

Майор не знал, как убить долгий летний

день. Вечером придёт к нему Белая ночь. Шутка ли сказать — вечером! Истомиться можно одним ожиданием...

Перед завтраком он сходил в посольство. Там он узнал из шифрованных телеграмм из Белграда, что далеко не все обстоит благополучно. Ничего определённого, никаких резких выступлений, но уже намечаются какие-то тревожные, правда, пока еще туманные предчувствия...

Под самой столицей в Топчидерском парке схвачена целая шайка австрийских шпионов. Многочисленная банда арнаутов пыталась перейти границу у самого Призрена. Пограничная стража, или так называемые финансы, отбили нападение. Арнауты бежали, оставив несколько десятков «манлихеров». И каждая из этих винтовок — с клеймом венского арсенала...

Приближался день годовщины Косовской битвы. Первой годовщины, которую можно отпраздновать уже на своей родной земле, потому что сербы отвоевали Косово у турок. Отвоевали через полтысячи лет.

Праздник обещает особенную пышность.

Съедутся на Косово поле и король Петр с сыновьями, и Пашич, все генералы и министры. Но в этот же самый день с бестактностью тупого, недалёкого человека эрцгерцог Франц-Фердинанд приурочил церемониальный смотр австрийским войскам в Сараево после боснийских манёвров. И сразу потускнел и омрачился для сербов их великий праздник...

Вот что узнал в посольстве майор Ненадович.

В мрачных думах возвратился он к себе. Его дорогая и прекрасная Сербия, если даже не в прямой логически признаваемой опасности, то, во всяком случае, ясная лазурь тёплых, южных небес омрачилось кое-где легкими тучками. Но кто поручкою, что эти небольшие тучки не вырастут вдруг в целое сонмище исполинских, вздутых, зловеще так шевелящихся грозowych туч?..

С усилием отогнал от себя серб эти мрачные мысли. Его потянуло на воздух, на улицу — хоть немного развеяться.

Летний Петроград на каждом шагу давал себя знать. Чинилась торцовая мостовая. Пахло жжёным асфальтом, смолою и еще чем-то

особенным, чисто ремонтным. Красились дома, и у стен, высоко, под самой крышею, висели на канатах деревянные люльки с перепачканными поющими малярами.

Жарко и скучно. И серб почувствовал себя здесь ненужным, лишним, и его потянуло туда, к пышнозелёным берегам Савы, Моравы и Дрины. И ему чудился ослепительно сияющий на солнце острый, снеговой шлем Шар-Планины, этого сербского Олимпа.

Нет, не развеяла его прогулка...

И когда ровно в девять часов, минута в минуту, Белая ночь под темной вуалью постучалась в дверь его комнаты и вошла, она удивилась:

— Что с вами? На вас лица нет!..

Он хотел улыбнуться. Но это не вышло.

— Так... Настроение... Это бывает... Но я уверен, что вы, как добрая фея, дадите несколько иное направление моим мыслям. И если б вы сняли вуаль...

— Нет, милый майор, этого не будет. Не просите! Хотя... это возможно при одном лишь условии.

— Каком? — оживился Ненадович.

— Если в комнате будет совершенная темнота... И я заручусь вашим словом, словом сербского офицера, что вы не зажжете внезапно электричества.

— Даю. Можно погасить?

— Нет, еще нельзя. Зачем спешить... Времени еще много. Какой вы нетерпеливый! Душно было сегодня... Пить хочу... Предложите мне чаю...

Ненадович позвонил и распорядился, чтобы горничная сервировала чай. И она опять вошла, как вчера, и опять молвила: «Здравствуйте, барыня».

Сидели рядом на оттоманке, под висящим оружием. Сидели, почти касаясь друг друга. И близость этой загадочной Белой ночи волновала серба, и понемногу таяли его мрачные мысли, вытесняемые одним желанием...

А она, кидая на него косые взгляды, пила чай, и, чтоб в моменты глотков он не видел, как она приподнимает вуаль, не видел даже её подбородка и губ, она слегка отворачивалась.

Он пытался привлечь ее к себе, но услышал в ответ:

— Погодите...

— Ах, как вы меня мучаете, Белая ночь! Можно погасить электричество?

— Нет, нельзя. Я скажу, когда будет можно. Сидите спокойно. Разве вам так плохо со мной?

— Нет. Но я хотел бы...

— Мало ли чего бы вы хотели. Мужчины всегда хотят одного... Почему вы не курите? Вы, сербы, теперь избалованы македонским табаком. Но я вас угощу египетской папироской...

Она вынула из мешочка маленький портсигар. В нем лежало несколько папирос с узеньким — только губами ухватить — золотым мундштуком.

— Попробуйте... Какой аромат!

— А вы, Белая ночь?..

— Не могу, весь день с утра болит голова...

Ненадович закурил. И действительно, вся комната наполнилась крепким, сладким благоуханием. И ароматный дым, как курево кадилъницы, окутывал прозрачным облаком серба.

— Удивительные папиросы! Мне случа-

лось пробовать египетские, но таких никогда не курил. Что-то опьяняющее...

— Это кажется, а потом вы войдете во вкус...

Как бы охваченный какой-то обессиливающей истомою, Ненадович откинулся на твёрдые цветные подушки, заменяющие спинку. Два глаза пытливо следили за ним сквозь густую паутину вуали.

— Странное чувство, — говорил Ненадович, улыбаясь улыбкой блаженства, — какая-то легкость в мыслях, и в то же время — в голове туман... Вероятно, это же самое испытывает курильщик опиума... Что же вы молчите, Белая ночь? Где вы?.. И далеко, и близко... Я хочу слышать ваш голос. Почему вы здесь? Кто вам говорил обо мне?..

— Слышала... Вас многие знают. Меня заинтересовало, что вы отважный солдат, что вы герой... Их так мало в наше время — героев! И даже самое слово это теперь звучит каким-то анахронизмом. Скажите, вы боялись там, на войне? Было чувство боязни, страха?

— Там — нет. Слишком реальна опасность, чтобы ее бояться. Равные шансы. А вот ко-

гда... Когда переодетый бродячим торговцем свирелей, мышеловок и всякой такой дряни, капитан сербского Генерального штаба зарисовывал форты сараевских укреплений, ежеминутно рискуя, что меня вздернут на первом попавшемся дереве и я погибну так темно и бесславно... вот тогда было страшно! И потом еще в Венгрии... Какой жуткий был раз момент... Вы понимаете... Жандармы с петушиными перьями на шляпах... На волосок... и, если не бывает чудес... Вы верите?.. Как я успел спрятаться... У меня была...

Все тише, слабее, похожий на бред голос. С усилием, с трудом шевелились губы. И смолкли. И плотно сомкнулись веки... Она окликнула его раз-другой. Никакого ответа. За плечо тронула. Плечо опустилось, и упала на грудь голова... Да, он уснул и уснул крепко. В этом не было никакого сомнения.

Оглядываясь на майора, она подошла к двери, прислушалась. Тихо, ни звука. Повернула ключ, дернула к себе ручку. Дверь заперта. Можно действовать...

Вот и майоликовый стакан с ключом на дне.

Серб шевельнулся. Стон, чуть слышный, сквозь зубы. Жуткий стон, как от задушенной боли. Женщина под вуалью застыла, и похолодел ключ в руке... Тревога напрасна... Спит, крепко спит...

Выдвинутый ящик как-то странно и жутко зиял своим содержимым. Вот одна калька, другая, третья, подробнейше вычерченная. Это все сараевские форты, с таким трудом добытые человеком в лохмотьях торговца мышеловками. Теперь он сам в мышеловке...

Все это завернуть в большой лист бумаги. И она уедет, уйдет с пакетом. И если ее даже увидит кто-нибудь — какие же могут быть подозрения? Ведь у него бывали и бывают женщины. А пакет — в этом ничего подозрительного. Женщины сплошь да рядом покидают своих любовников, унося завернутый в бумагу корсет. И все эти чертежи и планы, драгоценные, не столько заветными тайнами австрийских крепостей, сколько проектом обороны самой Сербии, в случае неприятельского вторжения, могут сойти за корсет.

Стол заперт. На дно майоликового стакана упал ключ, и Белая ночь, бросив последний

взгляд на спящего майора, ушла под своей непроницаемой вуалью.

Ушла, никем не замеченная. Даже швейцара не было на парадной.

30. Журналист — пинкертон

На другой день в вечерних газетах появились заметки, сенсационно озаглавленные: «Таинственное похищение важных документов у сербского майора Ненадовича». Весь город прочёл это. И всякий читал по-своему.

Леонид Евгеньевич Арканцев еще утром узнал о беде, постигшей сербского офицера, но все же, наморщив свой гладкий и бледный лоб, прочёл заметку.

И японские зеленоватые глаза княжны Тамары бегло пробежали эти строки, и ей почудилась какая-то связь между ограблением Агапеева и похищением документов на Литейном, в меблированных комнатах «Сан-Ремо».

И ассирийские глаза Криволицкого внимательно, до последней буквы, прочли все относящееся к этому сенсационному заголовку. И

когда он сопоставил позднее возвращение своей любовницы вместе, к тому же еще с подозрительным обстоятельством, что все утро она не пускала его к себе, довольно сухо переговариваясь через дверь, конечно, запертую на замок, иначе Вовка открыл бы ее, — когда он сопоставил все это, у него шевельнулась мысль, что похищение в комнатах «Сан-Ремо» не обошлось, пожалуй, без благосклонного участия графини Джулии Тригона.

Тем более газеты намекали, глухо правда, что кража совершена молодой и, по-видимому, красивой особой, по всей вероятности, дамою общества.

Это могла с одинаковым успехом быть и графиня, и кто-нибудь другая, но Вовкина ревность нашептывала ему, что это была именно Джулия, и только она. Вообще с первых же поцелуев, объятий он заметил в ней способность резко двоиться. Она была искренна в своих изощрённых ласках, но отдавая свое тело, душу держала за семью замками. И в этих восточных глазах, с тяжелыми веками, он угадывал какую-то свою, обособленную жизнь, загадочную и, пожалуй, пре-

ступную, которой ему никогда не откроют и в которую его никогда не впустят...

Еще не угасли в нервах все поцелуи, прикосновения, а вот она, как чужая, запирается, ускользнула куда-то и — взятки гладки. Забронировалась! А вечером, если будет свободна, сама позовёт, чтоб из занятой своими делами политической шпионки превратиться в вакханку...

И Криволуцкий, когда подумал об этом, вздрогнул весь, до того ему унизительною показалась его роль... Роль... — он даже подыскать не мог соответствующего слова, забывая в мужском эгоизме своём, что получает он ровно в такой же мере, сколько дает сам. Он, Вовка, разве пытался по примеру своих минувших романтических взлётов, подняться с нею над восторгами тела? Нет, не пробовал. А раз нет, на основании каких таких логических выводов требует он, чтобы она взяла, да и обнажила свою душу? Но спрашивать от ревнивого мужчины-самца логики — это уже совсем праздное, никудышное занятие...

Больше всех, пожалуй, кроме, конечно, пострадавшего, заинтересовался ночным похи-

щением документов в «Сан-Ремо» Борис Сергеевич Мирэ, помощник редактора газеты «Четверть секунды». Этот румяный и бритый, холеный молодой человек, с густым париком собственных волос, близорукий до какой-то смехотворной беспомощности и поэтому никогда не расстававшийся с пенсне, культивировал и в себе самом, и в сотрудниках уклад нравов и традиции западной печати.

Он говорил:

— Журналист должен быть Пинкертоном, светским человеком, спортсменом, смельчаком и невероятным наглецом, который ни перед чем не остановится, раз необходимо добыть для газеты какой-нибудь сенсационный, «ударный» материал!

И отдать полную справедливость Борису Сергеевичу Мирэ, слово почти не расходилось у него с делом. Он тщательно одевался, всегда был выбрит до глянца и в петличке его новенькой визитки всегда красовалась чудовищная орхидея. Это — «светскость».

Не так блестяще обстоял вопрос по части спорта. Борис Сергеевич однажды упал в Летнем саду с лошади, и это надолго отбило у

него желание сделаться «центавром». Вот что касается наглости, то она была такая мягкая, обволакивающая собеседника, что на помощника редактора «Четверть секунды» нельзя было сердиться.

Из «собственного» редакционного кабинета Борис Сергеевич позвонил по домашнему телефону в глубь редакции.

— Кегич здесь? Пришлите его ко мне!..

Это был тот самый Дмитрий Петрович Кегич, который вместе с Вовкою делил черные дни на одной из Подъяческих улиц. Но, как это часто бывает в жизни газетных людей, обстоятельства Кегича резко вдруг переменялись к лучшему. Изменились в два-три дня. Он попал в число сотрудников газеты «Четверть секунды» и, как говорится, походя, зарабатывал в неделю около ста рублей.

Вот почему вошёл он в кабинет помощника редактора прилично одетый, с аккуратно подстриженной бородкою и сразу как-то отъевшийся после долгих перебиваний с хлеба на квас, вернее — с хлеба на водку и пиво.

— Вы меня звали, Борис Сергеевич?..

— Да, мой телохранитель!

Мирэ называл сильного, плечистого Кегича своим телохранителем и любил его брать с собою в те или другие «экскурсии» по делам газеты.

— С таким дядей я чувствую себя гораздо спокойнее...

Кегич «дядя» был, что и говорить, основательный. И многим приходилось отведавать увесистую тяжесть его кулака.

— Едем, Дмитрий Петрович.

— Куда?..

— Разве можно спрашивать — куда? Газетчик — тот же солдат. Солдат свинцовой армии. Едем — значит едем!

— Пусть так... Мне решительно все равно, — пожал плечами Кегич.

На редакционном моторе, на дверцах которого было написано чёрным по красному «Четверть секунды», Мирэ подкатил со своим «телохранителем» к подъезду меблированных комнат «Сан-Ремо».

— Дома господин Ненадович, майор Королевско-сербской армии?

— Так точно, дома-с, — ответила рыжая, спутанная борода швейцара. — Только они

вряд ли примут... Они в больших неприятностях.

— Вот именно, по поводу этих самых больших неприятностей мы и пожаловали сюда, милейший, — с апломбом ответил Мирэ.

Рыжая, спутанная борода решила, что перед ним какое-нибудь начальство и — покорно, угодливо:

— Пожалуйста наверх! Второй этаж... Комната номер первый...

Ненадович встретил посетителей более, чем сдержанно. Не до посетителей! Он весь почернел как-то... Глаза, такие всегда энергичные и огневые, — погасли.

— Мы очень извиняемся, господин майор, — начал Борис Сергеевич, растягивая свои гуттаперчевые губы в благожелательную, ободряющую улыбку. — Но сначала позвольте представиться: Мирэ, второй редактор газеты «Четверть секунды». А это мой секретарь Кегич. Поверьте, господин майор, нас привела сюда к вам не погоня за сенсационным материалом, а главным образом искреннее желание осветить хоть немного всю эту темную историю, причинившую вам, видному офице-

ру симпатичной и дружественной Сербии, столько неприятностей.

— Это нечто значительно большее, чем неприятность. Это целая катастрофа для меня! — воскликнул майор, тронутый участием «второго» редактора газеты «Четверть секунды».

Он предложил гостям сесть и сам опустился в кресло, вытянув свои крепкие, длинные ноги в сапогах со шпорами.

— Будьте откровенны, господин майор. Мы журналисты, и с нами вы можете, как на духу! Мы те же священники, врачи, адвокаты, судебные следователи, прокуроры. Да-да, не удивляйтесь — прокуроры! Соблаговолите, не упуская ни одной детали, описать как самое событие, так и все, что ему предшествовало...

— Извольте. Хотя моя убедительная просьба не оглашать всего в печати. Неудобно... по некоторым соображениям...

— Разумеется, не для печати! Вся эта авантюра слишком щекотлива для того, чтобы делать ее достоянием улицы... Полноте, дорогой майор, я слишком опытный журналист... Итак, я весь внимание...

Ненадович рассказал о своём знакомстве по телефону, потом, как они встретились у памятника Петру Великому с этой женщиной под вуалью, как она поехала к нему, как была на другой день и угостила его египетской папироской...

Мирэ, поглядывая то на серба, то на Кеги-ча, сквозь стекла пенсне близорукими глазами своими, сочувственно кивал головой.

— Да-да. Какие же могут быть сомнения... Шпионка высшего полета, осведомленная, что вами разработан проект обороны вашей страны от нашествия австро-венгерской армии. Вы говорите, она пришла в девять часов?

— Минута в минуту.

— Прекрасно! А не можете ли вы вспомнить, дорогой майор, через какой промежуток времени закурили вы эту фатальную папироску, увы, усыпившую вас?

— Через... я думаю, спустя часа полтора приблизительно.

— Итак, около одиннадцати часов вы уже наверное крепко спали. Тогда она преспокойно берёт ключ из этого майоликового стака-

на — она успела подсмотреть, как вы его оттуда вынимали накануне — и десять минут ей было совершенно достаточно, чтоб выполнить кражу. Она преспокойно уходит себе задолго до полуночи. Парадная открыта, дама под вуалью вне всякой опасности. И главное — никаких следов. Кто она, что она, откуда? Вы не могли бы даже узнать в лицо, не правда ли?

— Не мог бы.

— Что вы скажете на все это, Дмитрий Петрович? — обратился помощник редактора к своему секретарю, как старший врач к своему консультанту.

Кегич крутил бородку.

— Анекдот прескверный, черт побери! И так же темно во всей этой истории, как у негра в желудке...

— Любит человек выражаться! Друг мой, всякая темная история, в конце концов, если ее осветить умеючи... — Мирэ задумался, пожевывая мягкими гуттаперчевыми губами. — Вот что, возьмём операционный нож! Во-первых, кто заинтересован украденными у нашего симпатичнейшего майора документами?

Австрийское посольство. И документы либо уже там, либо по пути на Сергиевскую. Это необходимо узнать. Трудно, хотя ничего нет невозможного. Дальше? Прекрасная незнакомка? Судя по всему, такая особа должна иметь пребывание в какой-нибудь первой-классной гостинице. Авантюристка высокого полета и нужно искать именно там, где я сказал. А так как «Семирамис-отель» пользуется определенной репутацией штаб-квартиры австро-германского шпионажа, то... и так далее.

— В «Семирамис-отеле» живёт один мой приятель, — вставил Кегич.

— Поздравляю вас, Дмитрий Петрович. Приятель, позволяющий себе роскошь жить в таком блистательном заведении, — это уже нечто! Итак, вы берете на себя «Семирамис» и будете искать там прекрасную незнакомку с египетскими папиросами и, запомните, это важно — золотым мешочком... А я возьму на себя австрийское посольство. Кстати, у меня есть предлог проинтервьюировать графа Сапери о... я еще не выдумал, о чем. Но это неважно. Авось что-нибудь узнаю. Во всяком случае, попытаюсь. Все это начинает меня за-

хватывать. Совсем как в Париже где-нибудь.
Это именно то, что я всегда проповедую...
Журналист должен быть Пинкертоном...

Часть вторая

1. «Титулованный грех»

Сонечка Эспарбэ во всех птичьих переживаниях своих, во всех своих печалях и радостях, положительно была прелестна. И плакала Сонечка, и смеялась, и терзалась муками ревности — все это выходило у неё с донельзя трогательной искренностью. И все колебания души этого, в сущности, полуробенка, можно было читать в прозрачной бездонной — конца краю не увидишь — синеве её громадных глаз.

Какая-то лазурь ясных, глубоких небес. И так же, подобно небесам, изменчивы эти два «окна» в Сонечкиной душе. В солнечную благодать сияет лазурь безмятежная, чистая. По дул ветер, погнал тучки, и все насупилось и, приуныв, потускнело.

Княжна, как знакомую, давно знакомую книгу, читала безошибочно все по Сонечкиным глазам. Вот и сегодня прочла...

Старый князь терпеть не мог, чтоб кто-ни-

будь из домашних посягал на письменный стол его кабинета. В виде исключения допускалась иногда Тамара. Да и то если отец бывал в из рук вон хорошем настроении.

А княжну с детства манило сюда, в эту комнату, обилие света и солнца. Вся стена, выходящая на юг, являла собою одно сплошное громадное окно. И летом солнце потоками, без удержу и меры, лилось и наполняло кабинет своим горячим, таким шаловливым на блестящих предметах, сверканием.

И вся в лучах, с пылающей в огненном сиянии рыжеватой головкой, Тамара любила забраться к письменному столу с книгой, читая ее по кусочкам, отрываясь нарочно и сладко томясь: что будет дальше? Или, щурясь, мечтала, как в дреме замороженная истомою, и маленькое ухо розовело все прозрачнее, и можно было пересчитать нежные, тоненькие жилки... Свои набегі в отцовский кабинет де-вушка называла «солнечной ванной».

Во время одной из таких «солнечных ванн» ворвался в окно стук копыт, и въехал во двор усадьбы маленький желтый кэб. Лошадью правила Сонечка Эспарбэ. Сияющая,

свежая, как этот летний день.

Через минуту в строгий кабинет с заржавленной елизаветинской шпагою на стене и почерневшими картинами ворвался вместе с Сонечкой её серебром колокольчиков звенящий голос. Щурясь зеленоватыми — на солнце они казались изумрудно-жёлтыми, как у тигрицы, — глазами княжна спросила:

— Сонечка, ты влюблена?

— Ничего подобного! — возмутилась Сонечка. И лгала всем своим существом...

— Посмотри на меня!

Сонечка обдала подругу бездонной синевой прекрасных глаз своих.

— Влюблена! — решила бесповоротно Мара. — Кто он?..

Сонечка полуплутовски, полувиновато улыбнулась.

— Угадай!

— Мудрено, милая. Ты так часто влюбляешься! Предмет нового твоего увлечения, разумеется, титулованный. Ты терпеть не можешь влюбляться в обыкновенных смертных. И если собрать все твои «грехи», — все они записаны в бархатную книгу.

— Уже и все!

— Конечно... Дабиженский, например...

— Ах, не говори мне больше о Дабиженском!

— Дабиженский, — не слушая продолжала Тамара, — мало того что князь, но еще к тому же из владетельного рода... Сознайся же наконец в своей слабости!

— Сознаюсь. В титуле для меня всегда что-то обаятельное. Но не для себя, нет! А для того, кем я увлекаюсь. Лично же я довольна тем, что мы Эспарбэ. Вернее, д'Эспарбэ. Один мой дядя — генерал от кавалерии, другой — начальник целого края. Нас знают, и я не хотела бы ни графского, ни княжеского титула. Д'Эспарбэ — это звучит!

— Назови же его, Сонечка?

— Ты его у меня отобьешь! — с каким-то суеверным страхом вырвалось у Сонечки.

— И не подумаю. И затем — куда мне? Одни твои глаза чего стоят. И личико у тебя на зависть правильное! А у меня, у меня ни одной правильной черты нет.

— И однако же тянет к тебе мужчин. Тянет всех! И мальчиков, и молодых, и стариков.

— Я не виновата, — усмехнулась Тамара, блеснув под влажной коралловой губою густым рядом белых и острых зубов. И вместе с прищуренной на солнце желтизною изумрудных глаз, это увеличило её сходство с молодой тигрицей.

— Следовательно, Дабиженского в чистую отставку, без мундира и пенсии?

— Сам виноват! Марочка, я застала, понимаешь, застала! Эти вечные подозрения... Ну а ты? Агапеев сидит все?

— Сидит, — равнодушно ответила Мара. — Я тоже устала думать о нем, хлопотать. Был порыв, и нет его. Выдохся!..

В конце концов, Сонечка, открывшись подруге в своём новом «титулованном грехе», умчалась куда-то в лёгоньком жёлтом кэбе...

Штабс-ротмистр маркиз Каулуччи служил в одном полку с братом княжны, Дмитрием. Каулуччи, замкнутый и мрачный, если и не пользовался особенной любовью в полку, то никто не мог отказать ему в уважении. Он был умен, резок и самонадеян. Самонадеян — без фатовства и рисовки. Он видел и знал

больше всех товарищей, много путешествовал — до Индии и Центральной Африки, включительно. Если у него не было историй, оканчивавшихся барьером, то разве потому лишь, что он считался превосходным стрелком и фехтовальщиком на эскадронах. Последнее было у него в крови, по наследству от предков, наслаждавшихся, воевавших и разбойничавших под римским небом.

И походка у него была смелая, гордая и в то же время легкая, хищная, крадущаяся. Так ходят кавказцы, да некоторые итальянцы офицеры-кавалеристы. Лицо не отличалось красотой. Смуглое лицо с большим, очень большим носом. Над низким лбом густо курчавились крутыми завитками темные волосы. Искусные ножницы парикмахера не могли, при всем желании, сообщить маленькой бородке шаблон тщательной выстриженности. Но — и это было гораздо ценнее — она походила на мефистофельскую. Какой-то жуткой силою, недоброй, своевольной и упрямой, веяло от его взгляда и от линии рта...

Он бывал у Солнцевых-Насакиных. Бывал как товарищ Дмитрия, но Тамара не давала

себе труда, или просто не хотела в нем разобраться. А теперь, после Сонечкиного признания, этот Кауллуччи совсем уже как-то по-новому, по-другому стоял перед нею.

Сонечка знала Тамару, говоря «ты у меня его отобьешь». У княжны была такая повадка! Если она видела, что кто-нибудь из её знакомых подруг, девушка ли, дама ли, все равно, пытается увлечь кого-нибудь, и это стоит ей сложных ухищрений, ей доставляло какое-то жгучее удовольствие переманить этого поклонника к себе, в свой лагерь. И чем больше затрачивала подруга нервов, сил и энергии, чем больше она вкладывала в свой роман, тем жгучей домогалась Тамара своего торжества. Так и теперь...

К тому же ей давно подсказывал женский инстинкт, что нравится она маркизу весьма и весьма. Но сдержанный, замкнутый, он умел это прятать в себе и только порою, случайно выдавал себя жутким, пристальным взглядом. Взглядом, от которого невольно вспыхивала Мара! И вспыхивала чем-то розоватым и тёплым, нежная шея, острым вырезом платья — она любила этот вырез — переходив-

шая в крепкую, девственную грудь...

И вот после Сонечкиного визита Мара, встретившись с Каулуччи, сама задержала свою руку в его руке, и её пальцы с тёплым, конвульсивным трепетом, ответили на его твердое, мужское пожатие. И он, воспользовавшись минутою их случайного одиночества, поднес её руку к губам и, не отрывая взгляда от зелёных, сузившихся глаз Мары, поцеловал её руку тягучим и долгим поцелуем.

А потом... Это было на другой день в саду. Тамара очутилась в конце густой липовой — вековые липы — аллеи. Было жарко. Истотно жарко... Парило... Сквозь всю длину этого зелёного грота-аллеи она видела ступеньки в сад выходявшей террасы с двумя урнами по бокам. Донесся голос отца оттуда и еще чей-то голос. Стройно замелькали по ступенькам ноги в синих рейтузах и высоких сапогах. Придерживая саблю, быстро шёл, почти бежал, Каулуччи...

— Вы здесь, княжна? — спросил каким-то чужим голосом, хотя видел ее перед собою и знал, что найдёт ее в саду.

Он так смотрел на нее... Маре сделалось и как-то страшно, и охватило какое-то ожидание...

Он знал, что нельзя упустить момента. И отец, и мать не оставят их долго с глазу на глаз... Скорее... Он обнял ее. Она встрепенулась, гибким телом своим перегнувшись назад. И придерживая у затылка её рыжеватую головку, касаясь рукою нежной, белой шеи, пьянея от этого прикосновения, он поцеловал ее прямо в губы. Так поцеловал, что она вся затуманилась...

— Мара, где ты? — слышался голос княгини с террасы.

Но было уже поздно. Девушку отравил поцелуй. Этот первый поцелуй в её жизни.

И после этого они всегда искали случая остаться вдвоём...

Он избегал встречаться с Сонечкой. Сонечка утратила всякий покой. И опять — метание в город, лихачи, ревность, покупка в магазинах всякой ненужной дряни. То же самое, как и недавно с Дабиженским, только в более крупном масштабе.

Сонечка хотела отравиться. Спрашивала,

какие яды самые действенные. Она всегда была религиозна и верила какой-то горячей, наивно детской верою. В её комнате с пышной постелью теплилась в углу под образом неугасимая лампада. Теперь Сонечкина вера получила какую-то экзальтированную окраску. Она бегала по церквям и часовням, ставила десятки свечей и молилась горячо и страстно, чтобы Каулуччи вернулся к ней...

С Марою она виделась реже. При встречах, теперь уже случайных, мимолётных, молчала, как несправедливо обиженный ребёнок. Молчала, но в бездонной синеве скорбных и кротких глаз Мара читала немой укор...

Между подругами стало незримой, прозрачной стеною что-то недоговоренное. И гордость соперниц мешала им объясниться. И ни та ни другая не хотела сделать первый шаг. И обе не знали, о чем говорить, и росло отчуждение. Но переживания у них были разные... Тамара как-то беспокойно расцветала от украдкой сорванных поцелуев, которых она жадно искала и по которым томилась... А Сонечка худела, бледнела, ставила свечи, молилась и прятала какие-то маленькие таин-

ственные пузырьки с чем-то...

2. План господина Мирэ

Помощник редактора газеты «Четверть секунды» вошёл в свою роль Пинкертонa:

— Дорогой майор, соблаговолите дать мне окурок этой египетской папиросы, если он уцелел только.

— Кажется, уцелел. Я и забыл про него. Да и какая же это улика?..

— А, не скажите, майор, не скажите! Иногда ничтожнейший окурочок... В данном случае, например, легче отыскать даму с золотым мешочком и с египетскими папиросами, чем без египетских папирос. Дайте-ка, пожалуйста, мне пепельницу. С вашего благосклонного разрешения, сюда, в этот конвертик, я припрячу фатальный окурочок с золотым ободком. Я раскрываю конверт и сюда в уголок, раз-два-три — кладу!

Поймав улыбку офицера, — невольно улыбнулся — Мирэ ответил мягким, благожелательным взглядом.

— Вам смешно, майор? А и в самом деле, пожалуй, смешно. Я, как заезжий фокусник,

демонстрирую перед вами один из своих трюков, после чего окурок, несомненно положенный в конверт, исчезнет. Не исчезнет! Я, сам Борис Сергеевич Мирэ, этому поручаюсь. Это уже нечто! Однако довольно слов и побольше дела. Который час? Пять лишь! О, еще океан времени! Итак, милейший, Дмитрий Петрович, цвет и украшение репортажа столицы, отправляйтесь в «Семирамис-отель», найдите вашего светского друга, покажите ему этот окурок, наведите справки о всех одиноко и неодиноким живущих интересных дамах и... словом, действуйте. А я махну в австрийское посольство. У меня нет никакой почвы под ногами. Я не имею никаких осязательных данных. Но мой инстинкт подсказывает мне, что дело с бумагами симпатичнейшего майора обстоит не так уже плохо. Мне почему-то кажется, что мой пинкертоновский нюх не обманет меня. Дмитрий Петрович, я назначаю вам свидание в читальном зале «Семирамис-отеля». Ждите меня!

Ненадович крепким пожатием, способным раздробить кость, простился с обоими журналистами. Мирэ, несмотря на весь этот милый,

беззастенчивый балаган, который он по привычке внес в это расследование похищения документов, вселил, однако, майору какую-то надежду...

Садясь в редакционный автомобиль и громко крикнув шоферу: «На Сергиевскую, в австрийское посольство!» — Мирэ долго тряс в воздухе слипшимися пальцами и дул на них.

— Ну и рука у этого сербского молодчаги! Клещи какие-то железные, а не пальцы. Спаси и помилуй Бог попасть к нему когда-нибудь в переделку.

Кегич более скромным способом передвижения направился в «Семирамис-отель» — вскочил на ходу в пробегавший мимо трамвай. Кондуктор грудью хотел отразить нападение пассажира, не исполняющего обязательных правил, но Кегич, ступив на подножку и зацепившись за поручень, хватил кондуктора головой в живот. Кондуктор отлетал через всю площадку и еще в назидание получил от Дмитрия Петровича:

— Ты что же это, болван, дурья голова твоя?..

— Не велено!

— Так поэтому, что не велено, ты хотел меня искалечить? Осел стоеросовый!

Кондуктор тихо и несмело, для очистки совести, огрызнулся. Тем более, ни в ком из пассажиров он не встретил сочувствия...

Кегич привык больше к трактирам и маленьким ресторанам с их грязью, копотью и серой публикой. И поэтому роскошный «Семирамис-отель» мог бы ошеломить его своими белыми колоннами и нарядной толпой. Но Дмитрию Петрович совсем не такой человек, чтоб его можно было ошеломить. И, очутившись за стеклянной, турником вращающейся дверью, он буравил этот благовоспитанный воздух своими острыми, как гвозди, глазами с такой же уверенностью, как если б попал в одно из щеголяющих желто-зеленой вывескою где-нибудь на Садовой или на Екатерингофском заведений. Он подошёл к белому, крытому зеркальной доскою «прилавку», за которым весь в галунах и в обшитом позументом кепи красовался величественный портье, говорящий на пяти языках.

— Послушай, как там тебя? В каком номере

живёт здесь у вас Владимир Никитич Криво-
луцкий?

Этот презрительно фамильярный тон с
непривычным обращавшем на «ты» не оскор-
бил международного портье потому лишь,
что он считал себя вне всяких оскорблений. И
глядя перед собою, он уронил куда-то вбок:

— Сто сорок шесть...

— Лифт! — крикнул Дмитрий Петрович у
стеклянной, забранной металлической ре-
шеткою дверцы.

И вместе с каким-то хорошо одетым госпо-
дином и покрашенной дамой, пропахшей на-
сквозь духами, Кегич поплыл вверх.

Вовка был дома. Он с такой же искренно-
стью обрадовался неожиданному появлению
товарища тяжёлых дней своих, насколько ис-
кренно успел забыть об его существовании, с
того же самого дня, как уехал с Подъяческой
навстречу новой жизни, новым интересам.

— Дмитриии Петрович, какими судьбами?
Вас не узнать. Пополнели, раздобрели. Да и
вообще...

— Хотите сказать, что выгляжу я довольно
прилично и вид у меня не такой хулиган-

ский? Так ведь? В нашем деле всегда то пусто, то густо. Я теперь в «Четверть секунды». Пока — ничего. Не могу жаловаться. Монет пятьсот в месяц наколачиваю. Но если вы думаете, что ваш покорный слуга явился вернуть вам золотой, вы ошибаетесь.

— Я ничего не думаю. И даже не помню, какой такой золотой.

— Ну, вы эти барско-дворянские штучки оставьте... Да и не в этом суть. Пришёл я к вам по делу. Без дела в Петрограде никто не приходит. Вот что: вы в этом самом великолепном «Семирамисе» свой человек. Помогите нам раскопаться в одном деле. Вы понимаете, честь редакции... Сегодня в вечерних газетах есть заметка о похищении...

— Читал, знаю.

— Вот что значит с умным человеком!.. С полуслова. Итак, не знаете ли вы случайно, нет ли здесь у вас... Этакая молодая, пикантная особа с золотым мешочком и балующаяся египетскими папиросами.

— С золотым мешочком? — Вовка загадочно посмотрел на собеседника ассирийскими глазами своими и стал оглаживать длинные-

ми пальцами чудесную, в завитках бороду, чтоб спрессовать ее плотней и компактней. — Видите что, Дмитрий Петрович. Ваша задача — не из лёгких. Здесь, в этом гранитном муравейнике, — население целого уездного города. А женщин пикантных, как вы говорите, и с золотыми мешочками, если не сотни, то, во всяком случае, десятки. Согласитесь?

— Ну вот. Я так и знал. Где же, в самом деле... Это меня сюда помощник редактора направил. Славный малый. Но пинкертоновщина у него — пунктик... Так что, выражаясь изысканным языком нашей прессы, озарить светлым лучом эту довольно грязную историю вы не можете?

— Сейчас, в данный момент, — ни в каком случае.

— Вы свободны? Время есть?..

— Относительно.

— В таком случае давайте спустимся вниз. Там, в читальной назначил мне рандевушку помощник редактора. Кстати, я вас познакомлю. Это никогда не лишнее... Мало ли что...

— С удовольствием, ничего не имею против.

— Отлично... Вот как вы живете! Номерок чисто, уютно. Свой телефон, гравюры. Сколько? Шесть рублей. По здешним местам — недорого...

Спустившись, подсели к столику и через несколько минут вошёл Мирэ в небрежно измятой панаме и с тростью. Кегич познакомил его с Криволуцким. Борис Сергеевич обволакивал Вовку близоруким, благожелательным взглядом.

— Мне ваше лицо и ваша фигура давно знакомы. Еще бы, на весь город вы один с такой внешностью. Сколько экзотики! Внешность — невыгодная для преступника. Нельзя скрыться.

— Благодарю вас, — иронически поклонился Вовка.

— Нет, в самом деле... Послушайте Дмитрий Петрович... Я только что из посольства. От вас, мосье Криволуцкий, я не буду скрывать, ведь вы свой, — что хотел сказать помощник редактора этим «свой», он так и не пояснил. — Граф Сапари принял меня в своём кабинете весьма любезно, однако сквозь эту любезность проглядывало какое-то беспокой-

ство. Вообще во всём посольстве настроение какое-то нервное, повышенное. Словно они все ждут чего-то. Ну, я развёл турысы на колёсах. Притворился, что меня до смерти интересует Албания и роль австрийского протектора над нею. А он, в свою очередь, притворился, что политические круги Австрии несколько не интересуются албанским вопросом. В это время входит к нему старший секретарь, князь Шварценштейн. Такая подгнившая спаржа. Обменялись несколькими фразами, из чего видно было, что завтра этот самый Шварценштейн выезжает курьером в Вену. Тут меня осенила мысль. Молнией обожгло! Значит, везет с собою, каналья, документы сербского майора. По логике вещей это несомненно так. Почтою послать такой рискованный материал эти господа ни за что не решились бы. Следовательно, вместе с курьером. И вот в моей голове зародился безумно дерзкий план... — Мирэ понизил голос. — План, повторяю, прямо чудовищный! Но — чем чёрт не шутит — Осуществимый. Вас, Дмитрий Петрович, я командирую за редакционный счет с этим же самым поездом. Вы

отправитесь грансенъером в спальном международном вагоне. Первый класс. Все честь честью. И — в этом я всецело полагаюсь на вашу изобретательность — вы должны отнять у Шварценштейна интересующие нас документы. Хотя бы пришлось для этого обокрасть его, избить до потери сознания, или я уже не знаю, там что. Дело ваше — и полная свобода действий. А я, в свою очередь, воспользовавшись редакционными связями, постараюсь, чтоб вы получили негласное и неофициальное покровительство кой-каких, в данном случае весьма полезных, властей предержажших. Жаль, что я не знаком лично с Леонидом Евгеньевичем Арканцевым. Вот человек!

— Я его знаю, — перебил Вовка. — Леонид Евгеньевич, товарищ мой по училищу.

— Да? Отец родной, благодетель! Помогите!..

— Охотно посодействую...

— Вот видите! Все от случая!.. Познакомились с вами, и вот через самого Арканцева... Но я-то хорош. Продаю шкуру еще не убитого медведя. Я не заручился даже ответом Дмит-

рия Петровича, согласен он или нет совершить всю эту опасную авантюру?.. Хотя отказаться было бы величайшей нелепостью. Человек смел, силён, дерзок. Ничего не боится!

— Послушайте, Борис Сергеевич. Что же вы меня убеждаете, как мёртвого. Я еще пока живой человек. Согласен! Стократ согласен, чёрт побери! Но такая гастрольная поездка сопряжена с изрядным кровопусканием, которое я намерен учинить конторе нашей газеты. Все расходы плюс двести монет, независимо от результата. В случае же успеха — еще триста. Угодно?

— Какие же могут быть разговоры!

И плавным широким жестом, по крайней мере Натана Ротшильда, Борис Сергеевич показал глубочайшее презрение свое к мизерным условиям Кегича.

— Вы понимаете? В случае успеха это будет такой бум, такой ударный треск! Ведь как мы подадим всю эту историю! Это будет совсем по-американски. Тираж газеты увеличится вдвое.

3. Необходимо решительно действовать!

После сенсационных заметок вечерних газет, после Кегича, думавшего напасть на след женщины с золотым мешочком, после знакомства с Борисом Сергеевичем Мирэ, после того, как Леонид Евгеньевич Арканцев обронил мысль, что недурно было бы переманить графиню Юлию в свой лагерь, после всего этого Вовка захотел объясниться с нею самым решительным образом.

— Так или этак!..

Или она пойдёт вместе с ним рука об руку, или... он себе не представлял ясно этого второго «или». Но, во всяком случае, и ему самому и графине Джулии оно не обещало ничего хорошего...

И когда Кегич с помощником редактора откланялись, покинув белоколонный читальный зал, Вовка поднялся к себе. Вернее, не к себе, а к графине.

Тронул первую наружную дверь — открыта. Другая — тоже. Криволицкий быстро, без всяких предупреждений, вошёл. Так быстро,

что склонившаяся над письменным столиком Ирма не успела сунуть в ящик, выдвинутый второпях, какие-то бумаги. И она прикрыла их обеими руками. И словно испуганный человеком хищный зверёк, эластичный и гибкий, обернулась на Вовку с какой-то вызывающей и вместе трусливой злобою в своих восточных глазах. Того и гляди, оцетинившись, бросится и начнёт царапаться и кусаться. И при этом почти обнаженная, потому что было жарко, душно и нежный шёлк цветного кимоно лишь подчёркивал её наготу.

И забыв недавнее «ты», забыв еще не успевшие отгореть безумства, она бросила ему:

— Как вы смели войти не постучавшись? Что это за манера! Я не жена вам и не содержанка. Я вправе иметь... и наконец...

Она осеклась, пораженная невозмутимостью Вовки. Он стоял, скрестив на груди руки, и не сводил с графини пристального взгляда ассирийских глаз своих.

— И наконец... — она еще раз осеклась и, закусив губы, смотрела на него растерянно-гневная.

— Вы кончили? — невозмутимо спросил он.

— Кончила и еще раз повторяю... Вы не смели врывать ко мне!

— Даже в том случае, если, руководимый тёплым и хорошим чувством к вам, я хотел предупредить вас о грозящем аресте, а может быть, и перспективах еще посерьезнее?..

— Я не понимаю вас. Вы говорите вздор, — передернув плечами, с которых сползла ткань кимоно, попробовала Ирма насильственно усмехнуться.

— Сейчас поймете!

Он плотно прикрыл обе двери и вновь стоял перед Ирмой, скрестивши руки.

— Сейчас поймете. Вы слишком умная и ловкая женщина, чтоб после того, что я вам скажу, играть со мною в прятки. Давайте начистоту. Я никогда не был предателем! Наоборот. Несколько минут назад ко мне влетал один журналист с покорнейшей просьбою подействовать его розыскам. А ищет он ни более ни менее, как даму с золотым мешочком и с египетскими папиросами необычайной крепости... Поняли?..

— Решительно ничего не понимаю, — гнула Ирма и всем своим телом, и недоуменным движением рук, и глазами.

— Графиня Ирма Чечени, вы плохая актриса. Сара Бернар, вся с ног до головы фальшивая, и она искренней вас... Но вернемся к этому журналисту. Я сразу понял, что речь идет о вас, но дал ему уклончивый ответ.

— Ничего не понимаю... Папиросы, золотой мешочек...

— Сейчас поймете, на этот раз, надеюсь уже окончательно. Улики сгущаются вокруг вас неотразимые. Половины довольно, чтоб из этого удобного номера с ванной и прочими благами комфорта вы перекочевали в помещение с четырьмя голыми стенами и решеткой в окне. Да-да! Я нисколько не преувеличиваю... И мне нравится тот искренний испуг, который я поймал наконец в вашем взгляде. Нравится! Посмотрим теперь, что принесло бы вам лишение свободы? Конец! Крушение всех планов! Прощай шифрованная переписка с Флугом! Прощай свобода и ночные экскурсии в меблированные комнаты «Сан-Ремо»! Словом, смерть заживо и ни-

какой пользы тем, для кого вы так хлопчете и стараетесь.

— Но ведь это ужасно! — вырвалось у неё.

— Ужасно!.. Однако есть выход.

— Какой? — живо спросила Ирма.

— Переход на службу к другим лицам. Переход, о котором ваши прежние сообщники и знать не будут.

А если и догадаются, — много воды утечёт! И поверьте, что эти новые люди, о которых я говорю, никогда не потребуют от вас тех гнусностей, которыми опутали вас разные австрийские и германские проходимцы. Внешность останется без всяких изменений. Вы будете получать от них телеграммы, директивы. Но... все это должно проходить сквозь контроль... Пока не до подробностей. Важно ваше принципиальное согласие.

— Но ведь это же измена?

Вовка расхохотался.

— Полноте, графиня! В ваших устах это звучит до того дико! Измена? Кому, во имя чего? Что, вы такая рьяная австро-венгерская патриотка? Или, исполняя приказания этого мерзавца Флуга, вы пламенеете всей душой к

интересам разбойничьей германской политики? Вам хочется весело и богато жить. Это все! Деньги будут! А рубли это, кроны ли, марки — не все ли равно, в конце концов?

— А если... если узнают. При одной этой мысли меня охватывает ужас... Эти люди не остановятся перед самой жестокой мстью... Ни перед чем.

— Вздор! Мы сумеем вас защитить. Этот демонический Флуг не так уже страшен, как хочет казаться.

— Он хотел быть моим любовником. Но я оттолкнула его.

— И отлично сделали! Представить вас хоть на мгновение в объятиях этого каторжника? Бр-р-р... Мороз по коже! Я беру вас под свою защиту, и мы еще потягаемся с этим господином. Итак, графиня?..

— Я право не знаю. Такой сумбур... и так это все...

Изменив своей наполеоновской позе, Вовка рванулся к Джулии, обнял, целуя шею и грудь.

— Вот видишь!.. Видишь, милая, давно бы так!

И млея, вся извивалась под этими поцелуями, Ирма.

— Мне самой было тяжело. Я сама томилась, сама хотела тебя... Но что-то между нами стояло... И потому я была такая чужая... А теперь...

— Теперь мы будем вдвоём, и это даст нам такую силу!..

Через полчаса утомленная, зацелованная, вся пылающая красными пятнами, затихшая, покорная, графиня с кротостью ученицы, желающей получить хороший балл, отвечала на все вопросы Вовки. Потом они ушли вдвоём в «литературу», одну за другою читая расшифрованные Ирмою телеграммы.

И Криволицкий отказывался верить ушам и глазам — такие открывались перед ним чудовищные перспективы. И он дрожал весь, холодея от сознания громадной важности всех этих, посыпавшихся рогом изобилия откровений...

Одно лишь скрыла от него Ирма. Не хватало духу сказать. Если скажет, он отвернется от неё с гадливым презрением. Это про Вебера, подкупленного ею убить майора Ненадо-

вича. Слова замерзали на губах... Нет, ни за что не скажет. Открыться ему в этом было бы выше её сил... И когда она вспомнила нагло протянутую ей лапищу борца, этот потный окорок с бриллиантом на мизинце — ее в дрожь кинуло всю...

Никогда, за всю свою жизнь, такую размеренную, чуждую ярких бушующих страстей, не ожидал никого с таким жгучим нетерпением Леонид Евгеньевич в этот вечер, как Вовку. Вовка предупредил его по телефону, что получил запас новостей исключительной, ошеломляющей важности. И вот Леонид Евгеньевич изнывал нетерпением, посматривал на часы, нервничал. Словом, делал все то, чего никогда не делал.

Неожиданный, тем более неожиданный, что он все время подстерегал его, звонок ужалил Арканцева и проник в самое сердце.

— Почему так поздно? — встретил он Вовку.

— Господь с тобою! Условились в девять, а сейчас без десяти.

Заперлись в кабинете.

— Говори же, говори, что такое?

— Я не знаю, с чего начать, голова идет кругом.

— Не мучь же ты меня! — с мольбою вырвалось у Леонида Евгеньевича.

Отрывисто, скачками, перепрыгивая с предмета на предмет, рассказал Вовка о приготовлениях Германии и Австрии к войне с нами через войну с Сербией, о готовившемся покушении в Сараево, об ультиматуме сербам, посланном Бертхольду кайзером.

Арканцев слушал, бледный. В его лице, всегда розовом, кровинки не было. Вся отхлынула.

И оба — и говорящий, и слушатель — гипнотизировали друг друга взаимным волнением, от которого холодели у них кончики пальцев.

Арканцев опустился в изнеможении в кресло.

— Какие драгоценные сведения! Какие неисчислимы выгоды — знать заранее весь этот дьявольский план, чтоб соответствующим образом подготовиться...

— Вот еще телеграммы...

— Постой... Дай привыкнуть сначала к этому. Мне кажется, что я с ума схожу. И мой череп сдавлен каким-то железным обручем. Вовка, ты сам не подозреваешь, Вовка, всей громадности услуги, которую ты оказал!

— Напрасно так думаешь, — обиделся Вовка. — Я не умаляю значения...

— Нет, умаляешь! Я опытней тебя и грамотней в этом отношении. Но я сам теряюсь и не могу охватить во всём объеме...

И вдруг Арканцев закрыл глаза, и Вовке почудилось, что он мгновенно уснул. Так прошла минута-другая.

Арканцев резким движением встал, выпрямился, и опять это был розовый, спокойно-уверенный в себе и решительный Леонид Евгеньевич.

— Дай сюда телеграммы! Марш назад в отель, и к одиннадцати часам ты будешь здесь вместе с нею. Мы поужинаем втроём. И за стаканом вина я наведу на те вопросы, которые ускользнули от тебя. Ступай! Я должен остаться один. Жду вас минута в минуту. Необходимо решительно действовать! Каждый лишний час дорог... В этом залог успеха!..

4. Дорогая книга

Вовка испарился.

Леонид Евгеньевич кликнул Герасима:

— Позвоните в телефон, пусть привезут к нам от «Кюба» к двенадцати часам холодный ужин.

— На сколько персон, ваше превосходительство?..

— Для троих... Закуска... Зернистой икры во льду, балык, свежих огурцов... Потом — холодная пулярка с провансалем...

— А на счет вина, ваше превосходительство?..

— Вина? Бутылку лафиту, вы его здесь подогреете. Мой лафит, который мне всегда подают. Затем — две бутылки шампанского... — Леонид Евгеньевич мысленно сообразовался с предполагаемым вкусом графини. Такие, как она, должны предпочитать «мум» всякому другому вину... — И он добавил: — Две бутылки «мум». Во льду пусть привезут... Вот и все... Ликеры у нас есть... Не перепутаете?..

— Никак нет, ваше превосходительство. Не в первый раз, слава богу!..

— Пальто и шляпу, Герасим!.. Я выйду прогуляться немного. А если будут звонить — через полчаса вернуться.

После всех этих ошеломляющих новостей, привезённых Вовкою, Леонид Евгеньевич ощутил прямо физическую необходимость движения. Нахлынувший вдруг избыток энергии толкал его все вперёд и вперёд, и ему было тесно в квартире.

Пустынная, тихая, вечерняя Мойка. Побледневшие небеса тусклым, металлическим отсветом опрокидываются в недвижимом зеркале застывшей воды... И самые прозаические дома чудятся сказочными дворцами, обвеянными дымкою серебристой белой ночи...

Арканцев быстро шёл, почти бежал вдоль чугунного кружева по гранитным плитам. Воздуху, простору хотелось, и нечем было дышать!

Вот если бы подсмотрел Леонида Евгеньевича кто-нибудь из его чиновников! Диву дался бы!.. Глазам не поверил бы!.. Леонид Евгеньевич, с его размеренным спокойствием и какой-то механической неторопливостью во всем, что касалось передвижения его благооб-

разной особы, и вдруг мчится этакой легкомысленной припрыжкой!..

Но Арканцев готовил для своих чиновников, воображаемых свидетелей его прогулки, еще больший сюрприз. Здесь каждый из них превратился бы в обалделый, истуканческий вопросительный знак. Это когда, проходя мимо германского посольства, насупившегося каменной громадою по ту сторону Мойки, он совсем уж по-мальчишески погрозил своей тростью этому на острог или табачную фабрику смахивавшему зданию.

Сегодня Леонид Евгеньевич изменил своей обычной аккуратности. Наказал говорить, что вернется через полчаса, а между тем прогулял, вернее, пробежал, целых сорок пять минут...

Встретив графиню и Вовку, Леонид Евгеньевич сразу повёл их в гостиную, ступешевывая этим чисто деловую подкладку знакомства. Он держал себя так, словно этот поздний визит носил исключительно светский характер. Он спрашивал, как нравится графине Петроград, пошутив при этом:

— Очевидно, вам мало, графиня, ваших побед там, у тёплого моря, под зонтиками пальм и под бирюзовым небом... И вот вы приехали сюда смущать сердца наших скромных, суровых, северных «медведей»...

Зажигая лампы с яркими рефлекторами, Леонид Евгеньевич показывал гостье свои картины.

— Если вам не скучно, графиня, и если вы любите живопись?..

— О да, я очень люблю картины!..

— Вот чем похвастаю... Это ваша национальная гордость. Мункачи! Мне удалось этот его этюд приобрести в Париже. Помните, его знаменитая картина «Христос перед Пилатом»? Голова одного из воинов. Что за сила и какой могучий рельеф лепки! — молвил Арканцев, давая понять, что, записывая графиню в соотечественницы Мункачи, намерен видеть в ней венгерку.

Сухо щелкали выключатели. Одни рефлекторы погасали, другие вспыхивали.

— Это портрет Рейнольдса... Не правда ли, сколько в нём чисто английского благородства?..

— А этот офицер в гусарской форме?

— Это мой дед, Евгений Арканцев... Герой двенадцатого года и участник похода во Францию... Писал Доу...

Можно было подумать, что цель посещения графини — знакомство с коллекцией картин этого молодого сановника, с таким розовым лицом и «валуевскими» бакенами.

Ирма по достоинству оценила такт Леонида Евгеньевича, невольно сопоставив его с покойным графом Эренталем, с первых же слов огорошившим ее своими плантаторски-рабовладельческими требованиями.

Что графиня, Вовка и тот удивлялся!.. «Сам горел нетерпением забросать ее каскадом вопросов, а когда она здесь, налицо, он ее угощает своими картинами...»

За ужином в таком же самом духе история. Леонид Евгеньевич оказался очаровательным хозяином, ухаживал за гостьей, сам подливал вина, спрашивая, по вкусу ли... Пустая беседа, так же искрящаяся, как холодное шампанское в бокалах, ни к чему никого не обязывала, и за тридевять земель далека была от всякой политики. Говорили о чем угодно... О мелан-

холической скуке Ментоны[10], о парижских улицах, о европейском комфорте, и тут же рядом о восточной грязи мусульманских кварталов Каира, о чем угодно кроме того, чем интересовался в данный момент Леонид Евгеньевич.

Вовка недоуменно пялил на него ассирийские глаза свои. Да и такой, более стреляный воробей, как графиня, и та уже теряла под собой почву...

Кончили ужин... Булькал подогреваемый синим пламенем кофе в сверкающей машинке... Герасим поставил ликеры... Мужчины, испросив разрешение дамы, закурили сигары.

И вдруг, словно продолжая беседу на тему об удобствах пляжа в Биаррице, Леонид Евгеньевич, выпустив клуб ароматного дыма, небрежно спросил:

— Как вы полагаете, графиня, когда приступит монархия Габсбургов к мобилизации Восточной Венгрии и Галиции? Я полагаю, что тайная мобилизация уже началась и корпуса понемногу стягиваются... Я догадываюсь, но одних догадок мало...

— Догадки вашего превосходительства имеют полное основание. Мобилизация уже началась под покровом глубочайшей тайны. Войска перевозятся глухою ночью, и даже командиры полков и дивизий сами не знают, куда именно отправляются их эшелоны.

Арканцев чуть заметно склонил голову. Новый клуб дыма и новая просьба. Именно просьба:

— Графиня, вы меня весьма обяжете, сделав маленькую любезность. Вы свой человек на Сергиевской. Будьте добры узнать, какие именно корпуса перебрасываются к нашей границе?.. Это не будет вам в тягость?..

— Отчего же, с удовольствием. Кстати, завтра же надо мне быть на Сергиевской.

— Попробуйте этот ликёр, графиня. Это «стреха». Его мало пьют у нас. Но, по-моему, в смысле аромата и вкуса он гораздо лучше бенедиктина... Кстати, заодно: раз вы будете завтра на Сергиевской, мне любопытно знать, каков будет образ действий по отношению к Сербии? Ограничатся ли венские военные круги одним угрожающим, вернее, запугивающим заслоном или будут действовать более

энергично, вплоть до стремительного вторжения на территорию этой симпатичной славянской страны? Еще одно «кстати». В данном случае мы обойдемся без благосклонного участия Сергиевской. Неизвестен ли вам, случайно, приблизительный день, когда именно должно произойти злодейское покушение на его высочество эрцгерцога Франца-Фердинанда?..

Ясным взглядом восточных глаз своих Ирма отвечала:

— Это должно случиться со дня на день. Быть может... быть может, послезавтра... Словом, в день Косова.

Графиня пригубила густой золотистый ликёр из тоненькой рюмочки.

— Стрега вам нравится, графиня?..

— Очень. Я пила, но давно. Очень нравится!..

— Весьма рад. Хозяину приятно, когда хвалят у него, даже хотя бы из самой элементарной любезности... Вы мне доставили большое удовольствие, графиня, вашим малым первым посещением. Надеюсь, не последним! В вашем обществе так незаметно летит время...

Право, она мила, — бросил Арканцев Вовке по-русски и опять перешёл на французский язык: — Мне хотелось бы, графиня, как-нибудь отметить наше знакомство. Не откажите принять от меня скромный подарок... В моей библиотеке имеется одна венгерская книжка. Это сборник баллад и легенд вашего славного поэта Мадача. Иллюстрирован сборник не менее славным художником Зичи...

— Ах, Зичи!..

— Да. Он прожил полвека в России, и я лично хорошо знал покойного. Извиняюсь, чтоб не забыть, я сейчас же отыщу эту книгу... Вы простите мое двухминутное отсутствие... А ты, Вовка, займешь графиню.

Арканцев вышел. Ирма и Вовка остались вдвоём.

— Вот видишь, а ты стеснялась!.. Как все это вышло мило и просто. Какое он на тебя произвёл впечатление?

— Чарующее. Это настоящий барин, настоящий грансеньёр.

— Не похож на Эренталя?

— Фи... можно ли сравнивать. То хам, выскочка... Какие хорошие картины. У него тон-

кий вкус, и вообще сколько внимания. Эта книга Мадача... Пустяк, а между тем — внимание.

— Я же не даром убеждал тебя, что служить у нас будет и приятнее и легче...

Он накрыл её руку своею и сжал. И это было каким-то властным электрическим током... И опьяненный шампанским Вовка думал использовать по-своему отсутствие Арканцева... Но послышались твердые шаги Леонида Евгеньевича, и Криволицкий, словно резвый школяр пред появлением строгого учителя, опять сидел на своём месте и преувеличенно громко нёс какой-то вздор.

Арканцев учтиво положил перед графиней аккуратно завернутую в белую бумагу и перевязанную голубенькой ленточкой довольно увесистую книгу в переплёте.

— Вот ваш великий Мадач!.. Здесь, на чужбине, вам должно быть приятно вспомнить родной язык, в особенности в условиях такой красивой и звучной формы... Увы, я не владею венгерским языком. Но даже в переводе ваш поэт пленяет меня красотой и музыкальностью своего стиха...

Графиня и Вовка вернулись в отель. И прямо к Ирме. Он покинет ее лишь на рассвете. Так он решил еще там, на Мойке.

— Покажи книгу мне. Джулия... Нет ли каких-нибудь иллюстраций в духе моего настроения? Зичи ведь был большой художник греха! И так соблазнительно рисовал любовь, как никто...

Он хотел разорвать голубенькую ленточку, но Ирма — женщина всегда женщина — аккуратно ее развязала.

Из книги выпал на ковёр белый, твердый и пухлый конверт. В нём оказалось пять тысяч новенькими, хрустящими пятисотрублевками.

— Как это галантно!.. — воскликнула графиня, тронутая, умиленная.

— Да, это очень галантно, — механически-равнодушно согласился Вовка, обнимая ее...

5. «Наемный убийца»

Борец Вебер, чемпион Вены, был добросовестный малый, во-первых, и солидный, аккуратный немец, во-вторых. Раз он взял на себя известное обязательство, получав к тому же, еще кругленький аванс, он должен это свое обязательство с наивозможной точностью выполнить. Деньги — деньгами. Но эта дама взывала к его патриотическим чувствам. Уж он ли не патриот? И хорошенько проучить ненавистного серба, проучить до путешествия на тот свет включительно, разве эта перспектива не была заманчивою для всякого доброго австрийца? А чемпион Вены всегда был самым завзятым австрийцем, искренно убеждённым, что эти «славянские свиньи» только и созданы Господом Богом что на потребу и пользу истинным сынам габсбургской короны. Так учили Вебера в школе, так учили его в казарме, когда он отбывал повинность в гарнизоне Граца, так учили его везде и повсюду...

Неповоротливые мозги Вебера уже обдумали нехитрый план действий. Ему важно

встретить серба лицом к лицу, и тогда борец, смотря по вдохновению, наступит на ногу, толкнёт или крепко выбранится. Самое лучшее — то и другое, и третье вместе. Серб, по южной пылкости натуры своей, ударит его. Необходимо, чтоб он первый ударил. А тогда... Вебер знал, что ему делать тогда... и, главное, что с него спросишь? Взятки — гладки!.. Самооборона!..

Вебер видел Ненадовича, знал, что ему придется иметь дело с мужчиной сильным и вида весьма решительного. Но что такое сила, хотя бы и выдающаяся, обыкновенного смертного, по сравнению с таким великолепным человеческим механизмом, какой представляет собой чемпион Вебер? А его кулаки величиною с окорок и тяжестью с добрый молот?..

Каждый вечер, после борьбы, австриец, как на службу отправлялся из своего увеселительного сада на Литейный и с беззаботнейшим видом фланера, сдвинув тирольскую шляпу с пером на свой буйволоный затылок и насвистывая из «Веселой вдовы», слонялся мимо подъезда меблированных комнат «Сан-

Ремо».

Первый вечер он прошатался до двух часов ночи. И плюнув, уехал голодный в свои грязные мебелирашки, где-то на Садовой. На следующий день австриец в борьбе участия не принимал и наблюдательный пост свой занял с десяти вечера. И хотя эта прозрачная ночь была северная, чухонская, но духота, насыщавшая воздух, в пору югу, с его темными, хоть выколи глаз, ночами...

Ненадович засиделся у своего посланника. Они вдвоём обсуждали всякие дальнейшие возможности, связанные с похищением документов. И попутно коснулись тревожных вестей из Белграда. Так основательно коснулись, что майор покинул сербскую миссию во втором часу ночи.

Он шёл своей твердой походкой, и всякий, глядя на него, угадывал в этом штатском офицера. И хотя там, у себя, на родине, под бархатными звездными небесами, он привык к истоме тёплых ночей, ему было душно — всю дорогу, как веером, обмахивался котелком.

Еще сотня-другая шагов, и он у своего подъезда. Навстречу ему — какая-то грузная

туша. Ненадович опытным глазом спортсмена тотчас же угадал по характеру силуэта фигуру борца-профессионала. У них особенная походка, особенная манера держаться у этих людей.

Ближе и ближе туша. Она ведёт себя самым легкомысленным образом. Насвистывает что-то игривое и, откинув назад фалды широкого длинного пальто, держит руки в карманах пиджака. Вот они поравнялись. Вебер сильно толкнул серба локтем, так сильно, что более слабый человек отлетел бы на середину улицы. Но Ненадович только пошатнулся и сделал два-три шага в сторону. Вебер ожидал пощечины, той пощечины, которая поможет ему оправдываться самообороной. А если серб полезет доставать револьвер, чемпион успеет схватить его за руки, и так будет еще лучше... И желая наверняка вызвать Ненадовича на тот или другой образ действий, Вебер осыпал его по-немецки грубой, оскорбительной бранью.

Охваченный бешенством серб в осатанелый раж вошёл, услышав глумливые швабские фразы, что выбрасывала из себя эта гро-

моздкая туша. И будь с ним револьвер, серб не задумываясь всадил бы в это животное пулю. Вебер угрожающе подступал все ближе и ближе. И если Ненадович не перейдёт первый в стремительное нападение — ему будет плохо. Этот огромный, тяжелый атлет раздавит его...

А Вебер приближался, явно подставляя свое плоское, широкое, скуластое лицо. Ненадович уже совсем близко слышал запах дрянной сигары и пива, которым обдавал его атлет, приготовившийся к получению оплеухи.

Но что ему оплеуха, такому буйволу — удар детской хлопушки, не более...

С какой-то удивительно ясной повышенной остротой Ненадович мгновенно сообразил, что обыкновенным ответным ударом он себя погубит. Необходимо свалить с ног этого колосса. Этим лишь спасёт он себя. И он вспомнил Сен-Сирскую школу, вспомнил негра Джефриса, который учил его боксу, вспомнил маленького шафранного японца, показывавшего приемы джиу-джитсу, и, отпрянув на шаг, обманув Вебера этим движением и распружинившись, откуда-то снизу

нанёс противнику два одновременных, искромётных удара: головой в подбородок и острым ребром котелка в переносицу. Искромётным, в полном смысле слова, так как у Вебера посыпались из глаз искры. Он упал навзничь с разбитой, окровавленной нижней челюстью.

Атлета погубила его тяжелая неповоротливость. Он лежал, вздувшись на панели, человеческой горою, и стонал, теряя сознание. Уже одинокие пешеходы ступили в недоумевающую кучку, спрашивая друг друга: что такое случилось?..

А Ненадович, овладевший собою, прошёл на ближайший пост к городовому, объяснил что и как, дал ему свою визитную карточку и скрылся в своём подъезде.

Вебер, окружённый целой толпой из случайных прохожих, сбежавшихся дворников и городского, пришёл мало-помалу в себя. У него было такое ощущение, словно глаза наполовину выжжены. Так и горели оба адским огнём!.. Он видел как сквозь сетку. Добыв из кармана грязный, цветной платок, борец вытирал окровавленные губы. Кто-то из добро-

вольцев-зевак — каждая толпа выкидывает из себя таких добровольцев — неукоснительно требовал:

— Протокол!.. В участок!.. Это безобразие... На Литейном проспекте разбой средь бела дня...

Доброволец грешил явным анахронизмом. Если и разбой, то, во всяком случае, не средь бела дня, а средь белой ночи...

Нашелся еще один:

— Разумеется, в участок!.. Я сам все видел! Могу за свидетеля. А этот разбойник удрал... Где он?.. Городовой, задержите...

— А вы, господин, попрошу не орать и не скандалить... Идите своей дорогой... — резко осадил добровольца монументальный городской. — Никто не удирал. У меня есть ихняя карточка... Местожителство их нам тоже известно... А ежели сам потерпевший желает?.. Господин, вам угодно будет составить протокол?.. — наклонился городской к австрийцу.

Тот замахал руками:

— Я не желаю никакой протокол!.. Найн протокол!..

И неожиданно для всех, поднявшись на

ноги, всей своей тушею, Вебер вскочил с проворством гиппопотама и, плюхнувшись в извозничью пролетку, чуть не сломав девятью пудами своими рессоры, — был таков!..

Но ему не удалось бесследно «растаять» в дымке белой ночи. Какой-то молодой человек, кликнув другого извозчика, бросился в погоню за Вебером. Этот молодой человек был репортёр газеты «Четверть секунды»...

Утром Ненадович лежал еще в постели, к нему, предварительно постучавшись концом трости, ураганом влетел Борис Сергеевич Мирэ.

— Я извиняюсь, господин редактор...

— Ничего, ничего, лежите, дорогой майор... Вам стоило, я думаю, немало напряжения свалить этого быка, и в виде поблажки и сам Бог велел немного поваляться.

— А вы почему знаете?.. — воскликнул Ненадович и от удивления не только сам весь приподнялся на локтях, но и концы его черных усов шевельнулись.

— Почему я знаю?! Мы, люди пера и печати, обязаны все знать... Мы — маги и волшеб-

ники... Но не буду вас мистифицировать. А то и в самом деле я буду, чего доброго, в ваших глазах каким-то странствующим фокусником. Дело, как и всякий фокус, объясняется очень просто... Вчера ночью ваш покорный слуга выпускал номер... Откуда ни возьмись, как снег на голову, один из моих репортёров. С порога кричит, каналья: «Сенсация!.. Сколько дадите за строчку?» Оказывается, он успел подсмотреть у городского карточку вашу, помчался за Вебером и проинтервьюировал его... Материал, что и говорить, сенсационный... Военный агент дружественной нам державы избил профессионального борца, к тому же еще австрияка... И вот наш покорный слуга боролся между соблазном выпустить наутро такую ударную сенсацию и личными симпатиями к вам, дорогой майор... Последнее одержало верх, и я решил сперва узнать от вас, желательна ли вам появление в печати этого маленького приключения?

— Если только можно, я очень попросил бы не печатать!.. Очень!..

— Довольно, этим сказано все... И я попрошу еще кой-кого из коллег из других газет,

чтоб не печатали... И ловко же вы его обработали, этого грязного мерзавца! Этого хама! Впрочем, одно пожатие вашей руки чего стоит... Мне уже третий день неудобно писать — пальцы болят... Диктую!.. А знаете, мне мой пинкер-тоновский нюх подсказывает, что это не был просто уличный эпизод... Почему именно борец? Почему именно австриец? Почему непременно на Литейном и почему именно должен был он задраться с сербским военным агентом? По-моему, это — брави... Наемный убийца... Как вы полагаете?

— Очень может быть... Хотя... Нет, впрочем, весьма возможно... Все последние события складываются вокруг меня более чем странно...

— Еще бы не странно... Рокамболевица какая-то... Но я вам даю мое честное слово, что я произведу самое тщательное дознание... Вообще ваше дело, ваше досье, досье майора Ненадовича, увлекло меня, и я не успокоюсь до тех пор...

— А что, никаких известий от вашего сотрудника? — озабоченно спросил серб.

— Я-то хорош!.. Позабыл совсем... Имею от

него две телеграммы: одну из Вильно, другую из Варшавы... Молодец, я вам доложу, этот Кегич! Вот сорвиголова... Пошлите вы его в самое чёртово пекло, он потрянёт головою и спросит лишь одно: «А сколько вы мне дадите под эту командировку авансом?»

— Есть надежда?

— Есть! По чистой совести скажу — есть! Этот человек мало говорит, но много делает... Да вот, пожалуйста, ознакомьтесь сами...

Из бокового кармана визитки Борис Сергеевич вынул обе телеграммы и передал жадно схватившему их майору...

6. Накануне...

— Это была моя первая поездка в спальном вагоне международного общества. Все больше до сих пор пробавлялся заплёванным, затрапезным вторым классом. Да и то — на лучший конец... А здесь — фу-ты, нуты — какой комфорт! Зеркала, бархат, бронза и еще тисненая чертовщина какая-то, вроде выжигания, — на стенах! Словом, таким фанфароном еду — легче на поворотах!..

Не успел двинуться поезд, начал я за этим — как его там, Шварценбергом, или Шварценштейном — слежку. Я один в своём купе, и он один, у себя. Мы — соседи. Только между нами — уборная. «Лавабо» написано. И каждый в это самое «лавабо» может из своего купе войти, Ну, думаю, может быть, я тебя голубчика, через это самое «лавабо» подчекрыжу... И напала на меня к ночи такая, изволите видеть, чистоплотность, что я раз пять бегал руки мыть. Нажмешь для виду рычаг — хлынет вода. Сам же пробуешь к соседу милому дверь... Нет, плотно закрывает, анафема! И решил я: к чёрту «лавабо». Иначе необходимо

действовать...

А время бежит... Вот и Вильно. Половина дороги, а я ни взад ни вперед. Ни тпру ни ну ни кукареку... Гуляю себе по коридору. Вижу, сидит он у себя, немецкие журналы просматривает, ногти полирует... А на столике перед ним этот самый несессер туалетный, из крокодиловой кожи, который мне еще на вокзале Борис Сергеевич показал. «Там, — говорит, — по моим сведениям, интересующие нас документы». Ну, думаю, пойдёт эта гнилая австрийская спаржа в вагон-ресторан принимать пищу, авось чего-нибудь выдумаем. Не тут-то было... Пищу он принимать пошёл, это верно, а только проводнику велел свое купе на ключ запереть. Черт бы его на все куски разодрал... Ну, и так и этак, стал я мозгами ворочать... С отчаяния даже такая мысль пришла: хотел открыться во всем проводнику, сунуть ему четвертной в зубы, чтоб помог мне симулировать кражу. Я, мол, схвачу этот самый несессер и на какой-нибудь маленькой станции — поминай как звали! Но, увы, откинул эту мысль, как неосуществимую... Проводнику место дороже всякого чет-

вертного билета, на такую комбинацию он не пойдёт. А еще, чего доброго, может меня продать с головой, и всю канитель испортить...

Креплюсь, думаю: терпи казак, атаманом будешь. И всячески отгоняю от себя другой вариант: терпи казак, казаком сдохнешь!..

Пофриштыкал себе господин фюрст Шварценштейн, и назад, в свою «купу». Для меня прямо муки Танта́ла... Дразнится проклятый несессер, покою не дает... Даже дикие мысли полезли в башку... Вбежать в «купу» эту самую, хватить белобрысую глисту по черепу, чтоб на часок-другой память отшибить, а сам за несессер — и драла, прямо на ходу, из вагона. Нет, ничего, кроме скандала, не выйдет... Публики много... Какие-то дамы торчат в коридоре, из своих телес живых баррикад настроили, сквозь такие живые заграждения не очень-то буйным ветром пронесешься...

Вот и Варшава...

Сердце мое, как овечий хвост, ёкает... До границы всего несколько часов осталось... Не успею ничего сделать, — адье, мон анж, я удаляюсь. Папенька с маменькой кланяться приказали! И вдруг, на мое счастье, услышала ме-

ня Царица Небесная... Разговор прошёл промеж сиятельной глостою и проводником. Я по части этого собачьего диалекта немецкого — швах... Но понял, что австриец сутки пробудет в Варшаве, и с вокзала — прямо в «Бристоль». Ну, думаю, Дмитрий Петрович, теперь как себе хотите, а документы вы должны получить, хотя бы вам за это пришлось в самого Фантомаса перекинуться... Черт его дери, кража так кража! Во имя такой благородной миссии, сам Бог велел... В «Бристоль» так в «Бристоль»! Подхватил это нас автомобиль гостиничный... Едем... Только двое: фюрст да я. Друг против друга сидим. Натурально, он не замечает меня. Я для него — пустое место... А я глаз не свожу с голубчика. Так бы, кажется, и придушил, как недоноска цыплячьего, да за несессер — хап! Погода — роскошь... Все так и горит кругом... Цветут каштаны... Этакie пикантные женщины... В первый раз настоящий европейский город увидел... Приезжаем! Фюрст себе номер, я — себе. Очутились мы в одном коридоре. Только в разных концах. Раскрыл я свой чемодан... Там — пусто, хоть шаром покати. Для фасону взял. Чемодан

внушительный, приличный... Борису Сергеевичу спасибо, снабдил... Занялся фланерством — по коридору взад и вперёд маячу. Ждать пришлось час битый... Шварценштейн, изволите ли видеть, все это время туалетом занимался, красоту наводил... Вышел наконец таким курортным щёголем одетый. В белых штанах, фланелевых... Крикнул горничную, чтоб порядок в номере сделала, а сам ушел. Горничная, полька такая аккуратная, заглянула в номер. Там чего-то походила, потрогала и — назад, прежнюю уборку окончить в другом номере. Я оглянулся... Ни души в коридоре... Я к фюрсту, в гости, шмыг... Ага, вот он родненький, из крокодиловой кожи, в чехле, красуется! Попробовал замок... Не тут-то было... Закрыт... Я несессер за ушко, да на солнышко... и — к себе... Положил я его в чемодан... Звоню, требую счет: спешить надо, мол, телеграмму получил... Расплатился честь-честью и скорей, на извозчике, на питерский вокзал. Ждать поезда часа три пришлось. Лихорадка трясёт, нетерпение разбирает... Скорей заглянуть хочется в серёдку... Наконец я в вагоне... «Купу» отдельное на-

нял... Мне что, деньги редакционные жалеть нечего! Отпереть никак нельзя... Тут я, делать нечего, перочинным ножом всю эту крокодилову кожу искромсал, и документики все на Божий свет извлёк... Глазам не верю! От радости руки трясутся... Флаконов там — видимо-невидимо... Круглые серебряные пробки с флаконами... Все, какие были духи — на себя вылил... Кутить так кутить! На весь пятиалтынный. Из Вильно даю телеграмму... Возвращаюсь триумфатором и попадаю прямо в объятия Бориса Сергеевича, достойный помощник сего Пинкертонга газеты «Четверть секунды». Могу себе представить адское бешенство одуряченного князюленьки!..

В таких, или приблизительно в таких тонах, рассказал Кегич свои приключения майору Ненадовичу, сидя у него в комнате, вместе с Мирэ. Помощник редактора привёз к сербскому офицеру с документами заодно и похитителя оных. Ненадович был на седьмом небе от восторга и буквально душил в своих железных объятиях попеременно то Кегича, то Мирэ. Дмитрий Петрович выносил эти объ-

ятия довольно стоически. Что же касается нежного и деликатного Бориса Сергеевича, у него хрустели все косточки. Однако он находил в себе мужество улыбаться гуттаперчевыми губами своими, принимавшими какую-то четырехугольную форму...

Он гордился и своим пинкертоиовским нюхом, и своим помощником, как импрессиарио артистом, вернувшимся из удачной, лаврами его покрывшей, гастроли. И ко всему этому Борис Сергеевич предвкушал бешеную сенсацию...

— Теперь можно писать вовсю! Не так ли, мой дорогой майор?.. Именно, теперь можно... Победителей не судят! А мы — победители! Воображаю, как вытянутся физиономии у всех там этих господ, на Сергиевской, начиная с посла и кончая его егерем с петушиными перьями... А самочувствие князя Шварценштейна? После такого скандала это сокровище, несомненно, переведут отсюда... Пойду, сейчас позвоню в редакцию... Завтрашний номер необходимо печатать самое меньшее в полуторном количестве... Розница будет бешеная! Я подам всю эту историю, даже не по-

французски, а по-американски... Напечатаю три портрета рядом: Шверценштейна — у меня, кстати, он есть — Дмитрия Петровича, и нашего уважаемого майора... Вы разрешите мне к телефону, майор?..

— Пожалуйста!..

Через две-три минуты Борис Сергеевич влетел в комнату взволнованный, потерявший по дороге пенсне и даже не заметивший этого, хотя сразу вдруг ослеп, и ничего не видел.

— Господа в редакцию только что пришла телеграмма... Убит в Сараево австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд... Он, и жена его... Оба... Двумя выстрелами... Убийца — молодой серб из Боснии...

Ненадович вскочил, бледный весь.

— Не может быть! Хотя... наверное, австрийская провокация, это убийство... Шулера и подтасовщики швабы постараются свалить это преступление на сербские официальные круги, чтоб создать предлог для нападения на Сербию...

— Мы в таком духе осветим эту телеграмму, — подхватил Мирэ. — Мне кажется, я не

выдержу и упаду в обморок... так передо мною все кружится... Где мое пенсне?.. К чёрту пенсне, когда заваривается такая каша! Вы понимаете, майор: завтра мы, «Четверть секунды», будем сильнее всех газет... Я предвижу чудовищный успех... У всех остальных — одни лишь телеграммы о сараевской катастрофе... У нас же еще к тому — вдумайтесь только! — история похищения австрийским дипломатом важных документов у военного представителя Сербии в Петрограде... Какая невероятная пикантность сопоставления! И какой козырь в наших руках, чтоб смело бросить в лицо Австрии её участие в сараевском убийстве... Дмитрий Петрович... Едем в редакцию... Надо работать... Работать до полного изнеможения!.. К оружию!..

Мирэ со своим «телохранителем» помчался в редакцию. Помчался без пенсне, которое благополучно раздавил ногою в торопливых поисках в меблированных комнатах «Сан-Ремо».

Ненадович поспешил в сербское посольство. Там уже знали про убийство эрцгерцога из подробной телеграммы Пашича. И хотя все

были возбуждены в посольстве, но это несколько не походило на панику. И все отдавали себе ясный отчёт: Сербии брошен вызов, и она примет его... Никто не сомневался в неизбежности войны... Весь вопрос лишь, когда она вспыхнет?.. Через неделю, или — это самое большее — через месяц?

Конечно, маленькой Сербии, при всем героизме её великолепной армии, не справиться с миллионными полчищами швабов... Но Россия, Великая Россия не даст в обиду своих южнославянских братьев... И с такой могучей заступницею можно смело смотреть в глаза будущему, темной, предательской, зловещей тучею надвигавшемуся из Берлина, Вены и Будапешта...

Через несколько часов, когда газеты особыми экстренными прибавлениями оповестили город о сараевской катастрофе, густая, шумная толпа с национальными и сербскими флагами и с пением гимна двинулась к сербскому посольству.

Этой манифестацией русское общество хотело показать, что оно ни на минуту не верит в участие в заговоре сербского правительства

и видит в убийстве эрцгерцога лишь единичное покушение двух молодых людей, к тому же австрийских подданных. Сербский посланник, умиленный, растроганный, с блестящими на ресницах слезами, вышел на балкон и дрожащим голосом благодарил манифестантов за тот глубокий инстинкт русской души, что так безошибочно, сразу помог разобраться в клеветнической грязи, которою пытались австрийцы закидать весь народ сербский...

А в ответ — стихийное, эхом пронесшееся «ура», и мощные, величавые звуки гимна. И трепетали в воздухе флаги над человеческим лесом обнажённых голов...

Майор Ненадович этим же самым вечером уехал. Уехал не через Вену — австрийцы могли его задержать, с этих господ взятки — гладки, а через Румынию.

Сербия, дорогая, прекрасная Сербия, властным материнским голосом своим, голосом крови, звала к себе одного из лучших сынов своих: «Отечество в опасности»!..

7. Вокруг миллионов

Ольгерд Фердинандович Пенебельский всеми силами банкирской души своей стремился к обогащению.

К обогащению? Он же богат! У него миллионы, царственный особняк. Чего же еще? Обыкновенный смертный, пожалуй, всеми этими благами удовлетворился бы. Но Ольгерд Фердинандович вовсе не желал затеряться в толпе шаблонных, заурядных, крупных биржевиков и банкиров. Нет, он так же твердо верил в свое солнце, да в солнце, потому что у Наполеона было «солнце Аустерлица», как с не меньшей же твердостью ни минуты не сомневался, что все его коллеги — стадо глупых баранов, тупиц и мошенников. И пусть прозябают они себе с полудюжиною правдой и неправдой сколоченных миллионов. Пусть! Он же, Пенебельский, не собирается почить на лаврах.

Его спросили однажды:

— Ольгерд Фердинандович, когда же вы наконец перестанете богатеть?

Он с ужимкою, недоумевающе повел пле-

чами.

— Что значит? Я еще не начинал богатеть, а вы говорите, когда я кончу. Не начинал! Даю вам слово!..

Ольгерд Фердинандович остался доволен своим ответом и охотно распространял и популяризировал его в самых широких кругах. Распространял до тех пор, пока знаменательный ответ не проник в газеты. Вообще Пенебельский питал к газетам такую же слабость, как и к орденам. Он любил, чтобы его отмечали в «числе присутствующих» на балетных воскресниках, в Михайловском театре, на скачках. Любил, чтоб появлялись в светской хронике описания обедов его и вечеров с титулованными прохвостами, которые брали у него в долг на веки-вечные...

Титулованные прохвосты! Все это — до поры до времени. И пока брезгают им настоящие люди, приходится волей-неволей кормить разных сомнительных потомков знаменитых предков.

Но, когда он окончательно «завоюет мир» и его состояние округлится в десятки миллионов, тогда, тогда он увидит за своим столом и

тех, кто в настоящее время питается его обществом и его хлебом-солью. И тогда... тогда он сумеет многое припомнить...

Идеалом Ольгерда Фердинандовича были американские миллиардеры да, пожалуй, еще семья Ротшильдов. Но не филантропической деятельностью на пользу человечества всех этих Вандербильдов, Карнеги и Морганов восхищался Ольгерд Фердинандович. Строят и субсидируют университеты, создают гигантские общежития для бедняков, организуют учёные экспедиции? Пускай себе тешатся на здоровье! Пенебельский завидовал одной лишь грубой власти миллиардов, власти, перед которой склоняются все и которая обладателям этих миллиардов позволяет безнаказанно хамить вовсю. Это больше всего пленяло Ольгерда Фердинандовича, и он с удовольствием вылавливал соответствующие анекдоты и, смакуя, рассказывал их.

Например, он мучительно, до спазма под ложечкой завидовал тому из английских Ротшильдов, который, собирая у себя на своих сказочных обедах принцев крови, сам не выходит к ним, подчеркивая этим:

— Вот я, правнук бедного франкфуртского жида, кормлю вас так, как сами вы не в состоянии есть. Потому что ни мой повар, ни моя кухня — вам не по карману. И вот все вы, записанные в готский альманах, пользуетесь от щедрот моих, а я, которому все запрещено медицинскими светилами, ем, запершись, куриный бульон и яйцо всмятку.

— Вот это я понимаю! — восклицал, захлебываясь, Ольгерд Фердинандович.

Нравился ему анекдот об Карнеги и покойном короле Англии Эдуарде VII. Карнеги гостил в одном из своих английских замков. Нужно ли говорить, что замок был исторический, древний, знаменитый, иначе какой же смысл был бы приобретать его? Миллиардер желал, чтоб король посетил его, объявив при этом, что в случае высочайшего визита он жертвует Эдинбургскому университету миллион фунтов стерлингов.

Король-джентльмен решил: отчего же ему не посетить Карнеги, раз Эдинбургский университет получит такой ошеломляющий вклад. Кстати, король гостил по соседству с Карнеги у одного из своих родственников.

Гофмаршал предупреждает Карнеги, что будет через какой-нибудь час вместе с Его Величеством в замке американского креза. И действительно, через час король вдвоём с гофмаршалом является совершенно запросто.

Карнеги «инсценировал» встречу в парке. Одетый садовником, окруженный прислугой, он обрезывал пилою какие-то сучья. Король с гофмаршалом подходят. Карнеги первый сует своему высокому гостю руку и начинает знакомить:

— Ваше Величество, позвольте вам представить: мистер такой-то — мой кучер. Мистрис такая-то — камеристка моей жены. Мистрис такая-то — наша прачка...

У короля не дрогнул ни один мускул. И он учтиво за руку поздоровался со всей этой челядью. Поговорив несколько минут, король удалился. А на другой же день верный своему слову Карнеги внес обещанный Эдинбургскому университету миллион фунтов стерлингов, что и требовалось.

Ольгерд Фердинандович признавался, что хотел бы, и как хотел бы, очутиться когда-нибудь в роли Карнеги. Кто-то возразил Пене-

бельскому:

— Странно... Вот уж, кажется, завидовать нечему... Карнеги показал себя в данном случае таким сиволапым хамом, такой свиньей, набитой золотом! И в то же время фигура покойного короля выступает в рыцарски обаятельном свете. Этой инсценировкой своею Карнеги не мог ни унижить, ни оскорбить Эдуарда VII. Но только американский хам ошибся в расчете. Он был уверен, и все велось к тому, что король не пожелает познакомиться с его прислугой. И в результате — посрамленным вышел не король, а Карнеги.

Ольгерд Фердинандович не соглашался:

— Нет, не говорите... это... очень здорово вышло! А я еще вам расскажу про него: был он в Гааге. А в трех часах езды жила в своём летнем замке голландская королева Вильгельмина. Ну вот, через министерство двора получает Карнеги приглашение пожаловать в летнюю резиденцию Её Величества. Так что же вы себе думаете? Он отвечает, что ему далеко ехать и он не поедет! Что?.. Слушайте дальше! За какое-то пожертвование королева награждает его звездой и лентой. Карнеги ла-

конически телеграфирует ей: «Спасибо. Карнеги!» И этот же самый человек однажды выразился при немцах: «Ваш кайзер Вильгельм, он у меня вот в этом жилетном кармане!» И все улыбались и нашли это весьма остроумным. Честное слово!..

Но пока Пенебельский не сделался ни Ротшильдом, ни Карнеги, он был очень падок до внешнего блеска хотя бы самых ничтожных людей и до всяких декораций и орденов. На одном из парадных молебствий в Казанском соборе Ольгерд Фердинандович, встретившись летом с Борисом Сергеевичем Мирэ, увидел у него какую-то диковинную звезду. Пенебельский так и загорелся:

— Что это у вас такое?

— Это албанская звезда Скандербека, пожалованная мне князем Видом.

— А за что?..

— Я написал в нашей газете несколько комплиментарного свойства фраз по поводу его восшествия на трон Албании...

— Красивая звезда. Я хотел бы ее иметь!

— В таком случае торопитесь, почтеннейший Ольгерд Фердинандович. Не сегодня зав-

тра князь Вид получит в некую мягкую часть коленом, и тогда — прощай звёзды! Он будет на досуге любоваться ими, глядя в небеса. Больше ему ничего не останется, кроме этих невинных астрономических досугов.

— А как это сделать?

— Очень просто! В Албании, как известно, происходит междоусобная война. Повстанцы поколачивают Вида. Много раненых — пошлите соответствующую телеграмму князю с присовокуплением нескольких тысяч на его Красный Крест.

— И вы думаете, он пришлёт мне звезду?

— Не сомневаюсь! Что ему стоит? Звёзд этих самых, видимо, заготовлено впрок. Надо же кому-нибудь раздавать!..

Ольгерд Фердинандович послушался мудрого совета и перевёл Виду на Красный Крест десять тысяч рублей. С этого дня вряд ли был еще во всем мире другой человек, так жгуче интересовавшийся судьбою правителя Албании, как Ольгерд Фердинандович Пенебельский. Утром он первым делом кидался на телеграммы. Сидит еще опереточный князь на троне, или уже его выгнали? Успеет ли он

еще прислать звезду или не успеет? Жаль будет, если зря пропадут денежки...

Но интересуясь Видовой судьбою, Ольгерд Фердинандович не забывал самого главного. Это самое главное — жажда обогатиться крупной биржевой игрою, обогатиться накануне войны, о которой еще никто не подозревает.

В тиши своего кабинета, в клубах сигарного дыма, он обдумал грандиозное мошенничество, никем и ничем не наказуемое. В самом деле, он разорит десятки, сотни и даже тысячи людей и не только не сядет на скамью подсудимых, а наоборот, весь финансовый Петроград с завистью кричать будет:

— Какая умная, светлая голова этот Пенебельский! Вот Наполеон, вот гений!

И тогда... тогда он будет маленьким Ротшильдом. Он соберёт в готической столовой «своих» графов и князей. Но уже не станет собственноручно подливать им венгерское и шампанское, как теперь, а, предоставив их самим себе, в одиночестве с женою будет принимать пищу в небольшой «интимной» столовой первого этажа.

Расчёт Наполеона из Бобруйска был таков:

— С помощью моих агентов и прессы я начинаю вздувать те самые бумаги, которые в момент объявления войны упадут очень низко. И когда они будут раздуты до самого максимального предела, когда биржевая толпа начнёт их спрашивать и желать, я объявлю продажу всех своих акций на срок. На срок — это самое главное! Клиенты потекут ко мне отовсюду. Какой же человек не хочет заработать? А я им буду продавать, продавать и продавать, и все на срок! И скольких ослов, дураков, идиотов околпачу я таким образом! Теперь дальше: у меня открыты глаза, у всех у них — завязаны. Я один зрячий между слепым стадом. Я знаю то, чего мое тупоголовое стадо не знает. И вот, когда начнется война, акции полетят вниз. И еще как полетят! И то, что стоило сотни рублей, будет стоить гроши! А я немедленно всех их скуплю. И получается такая комбинация: Те сотни и тысячи болванов, которым я запродавал эти акции на срок, заплатят мне прежнюю цену обыкновенного времени, когда все обстоит благополучно. Взамен же они получают акции, которые мне обойдутся в медный грош. И тогда, тогда по-

лучится многомиллионная разница, которую я преспокойно положу себе в карман. И буду смеяться над человеческой глупостью. Правда, за эту комбинацию я должен заплатить два миллиона господину с бритым лицом и такими неприятными глазами... Хотя почему должен? Что значит, должен? Где обязательства? Два миллиона — так это же деньги! Пускай будет доволен, если я выбрасываю ему сотню-другую тысяч!

8. Паника

Пенебельский начал орудовать. Он повёл правильную биржевую кампанию, напоминая военные действия. Да, разве всякие биржевые операции — не та же война, бескровная, правда, где вместо жизни берут у неприятеля кошелёк, но все же война. А если найдется в толпе сбившегося в кучу стада человеческого несколько разорённых, которые покончат с собою, что ж делать, видно уж, такова их судьба.

И, как это заведено всегда на войне, хотя о настоящей войне Ольгерд Фердинандович не имел никакого понятия, он сначала пустил в

авангарде легкую кавалерию, чтоб нащупала и определила врага, и не так в данном случае силы, как его настроение.

Роль кавалерии должны были сыграть прежде всего, в первую голову, газеты, а уж потом, когда они все подготовят к атаке, брошена будет в наступление более тяжелая конница — пестрая фаланга биржевых зайцев.

Ольгерд Фердинандович считался всегда с прессой. Но теперь он окончательно уверовал в её могущество.

— Печать — это все!.. Печать — это седьмая или шестая держава...

Он не знал в точности, сколько великих держав, пять или шесть, и поэтому, боясь ошибиться, говорил: шестая или седьмая. Так вернее...

И забыв на время своих титулованных «друзей», Пенебельский стал ухаживать за влиятельными, делающими погоду сотрудниками газет. Он угощал их завтраками, обедами, поил шампанским, и они курили его четырёхвершковые сигары, по его собственному признанию, — два с половиною рубля штука.

— В Берлине я платил полтысячи марок за сотню... А здесь это еще дороже, принимая во внимание высокую пошлину...

Обеды, шампанское, четырехвершковые сигары, а может быть, и еще что-нибудь более «существенное», все это приводило к тем результатам, которых так жаждал господин фон Пенебельский. В некоторых газетах время от времени стали появляться заметки, раздувающие те предприятия, акции которых Ольгерду Фердинандовичу хотелось раздуть. Сегодня узнавал читатель, что там-то и там-то на Кавказе вдруг с какой-то стихийной, всемирной силой напоминающей силою, забили нефтяные фонтаны. На завтра — новый очередной слух.

«Мы уже давно говорили, что в Финляндии, в двух часах от Петрограда, открыты малахитовые залежи. Теперь выяснилось, что залежи эти — богатейшие, и в недрах угрюмых финских скал таятся миллиарды. Акционерное общество по эксплуатации этих малахитовых залежей, организованное предприимчивым и энергичным инженером таким-то, буквально осаждается новыми пайщиками и

вкладчиками»...

В третьей газете: *«Из авторитетного источника сообщают нам, что Северные заводы получили колоссальный правительственный заказ на десять тысяч автомобилей...»*

И так дальше, в таком же духе...

Биржевые азартные страсти, распаляемые этими заметками, разгорались без меры, без удержу. Все кинулись очертя голову, обуреваемые жаждою сказочного обогащения, в биржевую игру. Сановники, офицеры, дамы света и полусвета, генералы, студенты, актеры, директора гимназий, консистерские чиновники...

Торжествующий Ольгерд Фердинандович потирал свои пухлые руки. У его банка на Невском весь день было столпотворение Вавилонское. Посылался наряд конной полиции, чтоб регулировать правильное движение всех этих колясок, автомобилей, карет, извозчичьих пролёток, сгустившихся живой человеческой, лошадиной и металлической массой у фасада капища, главным жрецом которого был Ольгерд Фердинандович Пенельский. Банк ломился от все прибывавшей

и прибывавшей публики. И эта шумная, нервная публика осаждала медные сетки, за которыми сидела целая армия служащих Пенембельского. И всякий спешил запасть акциями предприятий и обществ, о которых трубили в газетах, акциями, сулившими сказочное обогащение.

Но еще большее столпотворение Вавилонское царило на бирже. Там разгоралась вовсю бешеная азартная вакханалия, в этом храме плутоватого бога Меркурия, храме с классическим портиком и монументальными колоннадами.

Стоял немолчный галдёж, люди орали до хрипоты, до потери собственного голоса. Вспотевшие лица, безумный блеск глаз, размякшие, липнущие к шее воротнички... И посреди всего этого шума и гама «зайцы» Ольгерда Фердинандовича, исступлённо выкрикивая, торговали акциями, этими волшебными акциями, вчерашнего бедняка превращающими в индейского набоба или креза.

— Малахитовые!..

— Северный завод!..

— Нефть!..

— Беру!..

— Даю!..

— Деньги!..

Трещали телефоны. Сбились с ног телеграфисты, посылая срочные депеши во все концы обширного государства Российского, от Архангельска до Колхиды и от Варшавы до Владивостока. Летели телеграммы в Париж, Лондон, Будапешт, Вену, Константинополь, Берлин... Летели повсюду...

К полудню стихала горячка, и громадный зал выплёвывал из себя на гранитную лестницу весь человеческий муравейник, продолжавший гудеть под открытым небом. И все эти биржевики, большие, средние и маленькие, сообразно чину своему, положению и карману, садились, кто в собственный мотор, кто в коляску, в извозничью пролетку, а кто и на «паре батьковских» бежал до трамвая. Дальнейшее в таком же духе, сообразно непечатанным рангам своим. Одни — в богатый кабак, на Морскую, другие — в трактир подешевле, а третьи ограничивались бокалом пива где-нибудь в тёмном погребе.

И повсюду, и на Морской, за подогретым

бордо, бережно поданным в корзиночке, и в трактире за рюмкою водки, и в пивной — продолжение всеобщего азартного галдежа, только разбитого на кучки и группы...

Пенебельскому надо было заполучить к своим услугам столбцы ходкой, распространенной газеты «Четверть секунды». Там еще не появлялось соблазнительных строк о нефтяных фонтанах и о малахитовых залежах. Ольгерд Фердинандович вспомнил кавалера звезды Скандербека Бориса Сергеевича Мирэ. Вспомнил и пригласил его в свою готическую столовую к завтраку.

Ольгерд Фердинандович ложкой, точно гречневую кашу, наложил гостю зернистой икры.

— Кушайте себе на здоровье, Борис Сергеевич. Икра теперь в безумной цене, четырнадцать рублей фунт!..

Появилась откуда-то приземистая запыленная бутылка с венгерским.

— Это сорок восьмой год! После революции, когда наши войска вернулись из Венгрии, несколько бутылок этого вина попало в Россию. И вот я купил их по случаю, и каждая

обходилась мне в семьдесят пять рублей. Но потом, когда мы будем пить кофе, — попробуйте наполеоновский коньяк. Вот коньяк! Если им попрыскать носовой платок, честное слово, как духи пахнет! Давайте ваш платок!..

Борис Сергеевич при всей хрупкости своей обладал всегда хорошим аппетитом. Он уничтожил, работая гуттаперчевыми губами, тарелку зернистой икры, съел несколько крохотных бараньих котлеток в белом, жирном соусе, отдал дань венгерскому сорок восьмого года, ударившему его не по голове, а по ногам. Голова оставалась ясна. Смакуя, выпил рюмочку наполеоновского коньяку, который, если и не был наполеоновским, то был во всяком случае — хорошим.

Потом они вместе с хозяином перебрались в «наполеоновский» кабинет. Здесь — четырехвершковые сигары по пяти марок за штуку.

— Ну, как вам нравится?

— Ничего... приятный аромат...

— Что значит ничего? — обиделся Пенебельский. — Вы только подумайте, эту марку сам Эдуард король английский курил! А вы

говорите — ничего?..

— Я не знаток в сигарах.

— Вот что, Борис Сергеевич, переходим с вами на деловую почву. Будем говорить по-заграничному. Всякий человек хочет жить. Вы знаете, что такое «публицитэ»?

— Знаю...

Лицо Мирэ вдруг окаменело и благожелательное, обволакивающее взглядом собеседника выражение исчезло. Но Ольгерд Фердинандович был плохой психолог. Человеку, привыкшему все покупать, не до психологических тонкостей.

— Так вот — публицитэ! Мне надо помещать в «Четверть секунды» несколько маленьких заметочек... Ну, самый пустяк. Я вам даю схему, а вы себе разрабатываете. У вас ведь перо. И какое перо!..

Борис Сергеевич молчал, и что-то подозрительное было в его молчании...

«Погоди, ты у меня заговоришь»... Ольгерд Фердинандович открыл ящик письменного стола и, вынув уже приготовленную пачку сторублёвых, ловким движением фокусника, сделал из неё на кожаном бюваре радужный

веер.

— Вот!.. Как раз счётом десять «катеринок». Я думаю, между нами такие хорошие отношения...

— Господин Пенебельский... Я люблю раду-гу на небе, а не на вашем письменном столе.

— Но почему? А как же схема?..

— И схему потрудитесь оставить у себя. Или, по-вашему, я должен расплатиться оскорблением за венгерское сорок восьмого года и наполеоновский коньяк?..

— Полноте, Борис Сергеевич. Это же совсем не оскорбление. Я и не думал... Ну, хорошо. Сейчас не надо схемы. Возьмите так!..

Мирэ поднялся, и его гуттаперчевые губы задрожали.

— Послушайте, господин Пенебельский. Хотя я в вашем доме, но я не ручаюсь за себя... Еще одно слово — и я запущу в вас этим пресс-папье...

Ольгерд Фердинандович умоляюще протянул свои, пухлыми ладонями вперёд, руки.

— Не надо! Зачем портить вещи? Ой, какой же вы нервный. А я думал, что вы настоящий западный журналист...

— Вы не туда попали, господин Пенебельский. Советую вам эту тысячу пожертвовать на... германский воздушный флот... Имею честь...

Мирэ вышел, оставив Ольгерда Фердинандовича неподвижным, бледным и с похолодевшей спиной...

А через несколько дней разнеслась по всей земле весть о Сараевской катастрофе. Отозвалось это на бирже безумной, ошеломляющей паникой. И эти самые люди, убитые, придавленные, с дрожащими челюстями и дикими глазами, быть может, в последний раз сядили в свои блестящие на солнце моторы и коляски. Больше не будет для них ни моторов, ни колясок, ни ресторана угол Кирпичной и Морской, а будет — нищета и позор.

Один Ольгерд Фердинандович Пенебельский с довольной улыбкою встретил убийство наследного эрцгерцога австрийского. Он знал то, чего другие не знали... И в этом была его сила...

9. Возвращение Флуга

Наступили нервные дни.

Участились экстренные выпуски газет. Наэлектризованная публика, сама себя приготовившая к легчайшему восприятию самых ошеломляющих новостей и сенсаций, жадно искала этих новостей и сенсаций в газетах, причем у многих фантазия работала с красочностью изумительной.

Когда стало известно, что австрийцы обстреливают из тяжёлых орудий незащищенный Белград, никто не сомневался, что общеевропейский мир висит на самом тончайшем волоске и того и гляди вспыхнет война между великими державами, такая война, неслыханная, небывалая, от которой содрогнется земля...

Рядом с повседневной жизнью, обычной, прозаической, билась лихорадочно тут же рядом, бок о бок, другая жизнь, фантастическая, переплетенная из многозначительных оглядываний назад, прорицаний относительно ближайшего будущего и всевозможных цветастых миражей, созданных распалённым во-

ображением...

У германского посольства — в спокойное время это никого не удивило бы — стояли два тяжёлых, громадных фургона. Это обычная привилегия всех посольств, минуя всякие таможенные досмотры, получать из своих стран подобные фургоны, с их провозимым бесконтрольно багажом. Мало ли что может в них заключаться, в этих монументальных, окрашенных в яркие цвета вагонах? Да, вагонах — так они велики и непроницаемо закрыты со всех сторон. Мало ли что? Много, начиная с мебели посла, который, не удовлетворяясь казенным убранством, свои интимные комнаты решил обставить собственной мебелью.

И никогда, ни в ком такие фургоны не будили никаких подозрений. Стоят, пускай себе стоят!.. И обыватель, кинув равнодушный взгляд, проходил мимо. И разве только у иных шевелилась зависть:

— Чёрт побери! Хорошо им, дипломатам! Сколько всякой всячины могут привезти безданнобеспошлинно!..

Но теперь настали другие дни, и по-друго-

му относилась публика. И чудились ей в этих фургонах бог знает какие страхи и ужасы. И сообщались с таинственным видом на ухо такие вещи!

— А вы имеете понятие об «начинке» этих фургонов?

— Нет, а что?

— Это, батенька вы мой, в самый бы раз Шерлоку Холмсу. Начинка-то ведь «живая»!

— Как живая?

— Так! Немцы! Человек пятьдесят. Их и спрячет посольство...

— Зачем?

— Чудак человек, зачем? Начнется война. Мало ли какую могут они выдумать каверзу!

Собеседник основательно возражал на это:

— Милый вы мой! Зачем им, спрашивается, с такими предосторожностями привозить сюда пятьдесят немцев, когда этого добра видимо-невидимо, как собак нерезанных в Петрограде. Целые тысячи! Да что — десятки тысяч немчуры, преданной своему кайзеру и своему фатерланду.

— Так-то оно так, а все же...

Говорят, искать истину — всегда надобно

искать посредине. Так и в данном случае. Разумеется, это не была мебель — в фургонах. Настало такое время, что не обзаводиться мебелью германскому послу надлежало, а того и гляди, самому придется уехать. Но, конечно, в свою очередь, это не была полусотня загадочных немцев, порождённых обывательской фантазией. Это были внушительные, тяжёлые ящики. Ящики с пулеметами. Часть их осталась в здании посольства, другая часть перевезена в подвалы «Семирамис-отеля».

Узнав про это, обыватель, тот самый, который выдумал пятьдесят немцев, сказал бы:

— Что за чепуха! На кой, спрашивается, шут им эти пулеметы?..

Обыватель не знал о том, что немцы лелеяли мечту о десанте на Финском побережье и о заманчивых перспективах, морального и всяческого другого впечатления ради, овладеть Петроградом в первые же дни войны.

Мало ли какие рисовали себе картины? Во время бомбардировки Петрограда в самом центре столицы с нескольких крыш открывается пулеметный огонь. Какой эффект, какая паника! А до подобных «паник» господ прус-

саки весьма и весьма охочи! То же самое или приблизительно то же самое думали они проделать в Антверпене и Брюсселе. Решено было, что, когда волна Вильгельмовых полчищ хлынет и обложит эти города, антверпенские и брюссельские немцы, надев остроконечные каски и синие мундиры, начнут расстреливать бельгийский гарнизон в тылу.

«Паника»... Хлебом не корми немца, только дай ему панику. Во имя этой самой паники месяцем спустя он бросал сверху бомбы в детей и старух беззащитных, рубил бельгийским юношам все пальцы правой руки, чтобы они никогда не могли стрелять.

И вот в эти самые дни, когда русский Нимрод болел душою за сербов, над которыми дамокловым мечом висело австрийское нашествие, когда гуляла по городу легенда о пятидесяти немцах и ящики с пулеметами по-братски делились между посольством и «Семирамис-отелем», вернулся в это самое время Флуг.

И хотя он сделал много тысяч вёрст и с бешеной стремительностью кинематографической ленты объехал чёрт знает какое количе-

ство городов и земель, он вернулся так, словно всего на пару дней ездил куда-нибудь в Финляндию. И весь вид его и багаж — налегке. Путешествие не оставило никакой печати ни на его бритом лице с тусклыми глазами, ни на его чемоданах. Он завёл себе правило, чтоб в отелях никогда не смели оклеивать его чемоданы рекламными ярлыками. Пусть это делают суетные и тщеславные туристы, коллекционирующие подобные ярлыки и гордые тем, что на их чемоданах живого места не найдешь — так они густо облеплены цветными бумажками. Он человек серьезный, не из числа этих пустых фанфаронов...

Графиня Чечени ждала со дня на день Флуга. Он засыпал ее телеграммами. Ждала, призывая на помощь какое-нибудь чудо, чтоб он не вернулся совсем, и вот почему в одно прекрасное для него и совсем непрекрасное для неё утро — свалился он как снег на голову.

Прямо с вокзала в десятом часу Флуг громким, властным стуком в дверь поспешил разбудить ее. Она спала. И не одна. С нею был Вовка. Набросила на себя второпях капот, и начались переговоры сквозь закрытую дверь.

— Графиня, пустите меня!

— Вы с ума сошли! Спозаранку ломитесь. Я хочу спать, не одета и никаким образом не могу вас пустить!

— Я требую, слышите. Сию же минуту откройте. Именем императора!

Графиня волновалась. Стучали зубы. И она не знала, как поступить. Если она не пустит Флуга, она сразу вселит ему подозрение. Впустить — бог знает, что может выйти, если этот человек прорвется в спальню.

Все это взвешивал, лежа в теплой постели Вовка. Он сдерживал бешенство. С каким наслаждением избил бы он Флуга, но выскочить в одном белье — получился бы скандал, а главное, в этом есть элемент смешного. Мужчина в одном белье смешон и беспомощен...

Вовка нашелся. Он вынул из заднего кармана своих брошенных на стул брюк небольшой револьвер, по ковру, босиком, на цыпочках подбежал к Ирме, сунул ей эту опасную игрушку и назидательно шепнул:

— Не пускай его ни под каким видом в спальню, а будет лезть — пригрози стрелять...

На цыпочках же совершил обратный путь

и юркнул под одеяло.

Флуга разобрало нетерпение.

— Откройте же наконец, или я взломаю дверь!

— Открою, не сходите с ума.

Ирма спрятала на груди револьвер, плотнее запахнув капот; щёлкнул ключ. Ирма отступила к дверям спальни.

— Войдите.

Он не вошёл, а влетел.

— Что это за новости?! Раз я сказал именем императора, которому вы служите, вы должны моментально пустить меня!..

— Ни вы, ни даже император не вправе вмешиваться в мою частную жизнь. А мой сон — это моя частная жизнь. Вы могли подождать. У нас нет таких срочных безотлагательных дел.

— Ах вот оно что! Вот каким заговорили вы тоном! Потрудись сказать, почему вы не отвечали мне на целый ряд последних телеграмм? Я возлагал на вас большие надежды, а вы ничего не исполнили, не ударили палец о палец. Я недоволен вами! Можно подумать... можно подумать, что вы изменили нам...

— Какие дикие мысли приходят вам в голову, — усмехнулась Ирма. И так естественно, что Вовка у себя под одеялом от удовольствия дрыгнул ногою и затряслась от беззвучного смеха его ассирийская борода. Поведение Ирмы внушило ему спокойствие. С громадной выдержкой баба! Но если Флуг, паче ожидания, прорвется в спальню, Вовка, забыв про элемент смешного, хватит его по черепу. И даже есть чем. Вовка облюбовал себе электрический утюг, сопровождавший Ирму во всех её скитаниях.

Но до утюга не дошло, хотя и было к этому близко.

Инстинктом отвергнутого самца Флуг почувал что-то подозрительное. Слишком уж тщательно оберегает графиня вход в спальню.

— Можно заглянуть?

— Нельзя.

— Там у вас кто-нибудь спрятан.

— Вы дурак, Флуг!

— Но почему же нельзя, если никого нет?

— Потому что чужому мужчине свою спальню утром не показывают. А вы мне —

чужой!

— Значит, там спрятан любовник?

— Нелепая фантазия!

— В таком случае я взгляну.

— Нет. Вы не имеете права.

— Моя сила — мое право. А я сильнее вас.

Пустите!

Ирма спокойно вынула револьвер, сделав шаг назад. Флуг невольно попятился. Кружочек дула слишком назойливо сверлил воздух.

— Вот каким языком вы со мной заговорили! Хорошо же! Я теперь не сомневаюсь в вашей измене. Но помните, графиня, помните! Мстить мы умеем, как никто! А по отношению ренегата — мы вдесятеро беспощаднее. Пока до свидания! Мы еще побеседуем. Я потребую от вас полный отчет и все мои телеграммы. До скорого свидания!

Он ушел, хлопнув дверью.

Графиня вернулась к Вовке расстроенная, бледная. Искусственный подъем упал. Она готова была расплакаться.

— Не волнуйся, моя дорогая, — утешал ее Вовка. — Я сию же минуту позвоню к Арканцеву, он позвонит генералу Добычину, и мы

сегодня же арестуем этого мерзавца.

10. Флуг-фантомас

Но Флуг не из числа тех, кого можно арестовать в любую минуту. Особый инстинкт помогал ему. Инстинкт вечно травимого хищника. Этот самый инстинкт внушил Флугу тотчас же, после принявшей такой неожиданный оборот беседы с графинею, покинуть отель. Сперва на несколько часов, а там уже будет виднее.

Флуг не сомневался, что Ирма лжет, всем существом своим лжет. Во-первых, она изменница, ренегатка, предавшаяся в неприятельский лагерь, а, во-вторых, у неё в кровати лежит какой-то новый, пока еще неведомый ему любовник, и, без сомнения, он — главная и, пожалуй, единственная причина измены, потому что в смысле вознаграждения Ирма безусловно прогадала. Никто в мире не оплачивает агентов своих так щедро, как немцы.

К профессиональной ревности Флуга присоединилась еще и мужская. Он, Флуг, суливший ей все могущество своей тайной обаятельной власти, в конце концов, дурак дура-

ком, отвергнутый, нежеланный, а её простыни (он так и думал «простыни») греет кто-то другой!

— Нет, дунайская сирена! Этот номер вам не пройдет! Не пройдет вдвойне. И вы заплатите по двойному счету! Флуг взыщет с вас, как обманутый начальник — раз и как отвергнутый мужчина — два. И расплата будет не на жизнь, а на смерть...

Он ехал с комфортом, отлично выспался, но вагон — все же вагон. Ему хотелось отдохнуть, принять ванну, разобраться в вещах и часок-другой побездельничать, что всегда так приятно после долгого пути. Но звериный инстинкт нашёптывал: «Берегись, берегись, великий инквизитор»!..

И «великий инквизитор» внял дружественному шепоту. Наскоро захватил самое необходимое, на случай обыска наиболее компрометирующие бумаги сунул в портфель и, перекинувшись парюю многозначительных фраз с упитанным директором «Семирамиса», исчез. Не уехал, а именно исчез.

Но в течение всего дня, долгого летнего, нетерпеливый и властный голос чей-то раз

двадцать требовал к телефону директора. И директор, вся и всё бросая, спешил на зов. Выяснилось, что приняты самые тщательные меры к удачнейшему аресту Флуга. Все ходы и выходы «Семирамиса» охранялись цепью из наиболее энергичных агентов. Местный пристав, нервный, озабоченный, наведывался несколько раз в контору, и тучный директор, распластываясь перед ним в лепёшку, нёс с три короба всякой вздорной чуши, уверяя, что священным долгом своим считает выдать с головою такого опасного субъекта, как Флуг. Если б он знал, что это за чудовище, — ни под каким видом не пустил бы его в свой «дом»! Он так дорожит безукоризненной репутацией своего «Семирамис-отеля»!..

Флуг исчез и не появлялся больше. Как в воду канул! Никаких следов не могла найти вся поднятая на ноги полиция Петрограда. А между тем он был здесь, где-то близко, не только не скрывая этого, но даже бравируя своей неуязвимостью.

Ежедневно Ирма получала от Флуга письма, где проклятия и угрозы чередовались у него с бранью. Он поносил графиню за изме-

ну, клеймил ее грубым оскорбительным для женщины, как удар кнута, словом и пророчил страшную месть. Он запугивал бедную женщину.

«Бойтесь, трепещите! Тенью вашей буду преследовать вас. И в любой момент, когда захочу, постигнет суровая, заслуженная вами кара. Все ваши друзья вместе взятые не спасут и бессильны защитит вас. Теперь на Сергеевской и на Морской узнают истинное лицо Ирмы Чечени!..»

Таково было приблизительное содержание этих писем, варьируемых ежедневно все на разные лады. Они жгли ей руки, но она их читала, читала, волнуясь и трепеща. Вовка успокаивал ее:

— Нечего бояться! Этими угрозами он пытается тебя загипнотизировать. Он сам в положении затравленного волка.

— Ах, ты не знаешь его...

— Знаю! Отдаю этому каторжнику должное, уверен, что нет гнусности, перед которой он остановился бы, но все же он не так уже демонически страшен, как ты воображаешь. Город на военном положении, следят за всем

и за вся, а дружественные Флугу посольства укладывают свои чемоданы... А главное, я беру с тебя слово, что все письма этого мерзавца ты будешь уничтожать, не читая. Я понимаю: психологически это очень трудно. В подобных письмах таится всегда какой-то жгучий самобичующий интерес. Но это необходимо для душевного равновесия.

— Где он может скрываться?

— Где! Повсюду! Разве мало здесь домовладельцев, фабрикантов, заводчиков-компатриотов и единомышленников этого господина?

Вовка не ошибся. Главной штаб-квартирой Флуга был электротехнический завод Гогайзеля, этого счастливого обладателя «Пьяной библии». Там Флуг был как у себя дома. Даже еще больше, чем дома.

А события с безумной быстротою бежали, и кровавый смерч ширился, разрастаясь и удлиняясь, чтоб кошмарной колонною упереться в багровое полымя охваченных злоецим заревом небес.

Война!..

Это слово было у всех на устах. Весь смысл жизни миллионов людей ушел в одно корот-

кое слово, такое внушительно-короткое на всех языках. Одним оно сулило горе и беды, и лишь немногие избранники чаяли от войны больших радостей. К числу этих немногих избранных принадлежал раньше всех и прежде всех Ольгерд Фердинандович Пенебельский.

Мудрой биржевой игрою он сделал «разницу» в двадцать четыре миллиона и положил их к себе в карман. Вот оно, ясновидческое преимущество угадать раньше с точностью день в день то, чего не могут угадать обыкновенные смертные. И с эгоизмом самовлюблённого человека Ольгерд Фердинандович совершенно позабыл о существовании Флуга, убедивши себя самого, что лишь собственному прозорливому гению обязан сказочным обогащением своим, которое приведёт в его готическую столовую посланников и министров.

Но теперь не время таких парадных обещаний. Война!.. Ольгерд Фердинандович почувствовал вдруг себя русским патриотом и гражданином. Кто помешает ему выбросить сотню-другую тысяч на оборудование санитарного поезда? Кто?.. Поезд имени О.Ф. Пене-

бельского. Это звучит! Начнется в газетах «бум», и Ольгерд Фердинандович будет соответствующим образом награждён. Чем чёрт не шутит? Ему могут дать потомственное дворянство. Ах, если б у него был «дофин»! Как бы пригодилось тогда это самое потомственное дворянство...

Мысль о санитарном поезде гвоздём засела в голове Пенебельского. Надо составить приблизительную смету. Однажды вечером, после обеда, уединившись в наполеоновском кабинете своём, он занялся составлением сметы. Нарушено это было почтительным лакейским кашлем...

— Чего там такого еще? Сколько раз я говорил, чтоб ты не смел входить, когда я занят. Я тебя выгоню вон!

— Виноват, ваше превосходительство... Непременно желают видеть. Карточка.

— Давай ее здесь!..

Первым движением Пенебельского было не принимать неурочного посетителя, но можно разве не принять человека с графским титулом? Да, с графским, потому что на карточке значилось: «Граф Бранденбург». Бран-

денбург — это уже что-то владетельное. Это уже пахнет готским альманахом...

— Приси!..

Ольгерд Фердинандович поднялся навстречу высокому седобородому, опирающемуся на трость худощавому старику. Старик сел в предложенное кресло, поставил между коленами трость и оперся на нее, уставившись на Ольгерда Фердинадовича холодными глазами.

— Как поживаете, господин Пенебельский?

Знакомый голос... Такой знакомый, что Ольгерд Фердинандович вздрогнул.

— Благодарю вас, граф. Я польщён вашим вниманием. Но я до сих пор не имел чести... Я хотел бы знать, какой счастливый случай...

— Привёл меня сюда, желаете вы сказать, господин Пенебельский? — подхватил Бранденбург. — Извольте! Я нашёл, что настало время, согласно уговору нашему, получить с вас два миллиона. Тем более, ваша биржевая комбинация, насколько мне известно, превзошла все ожидания...

Ольгерд Фердинандович, обалделый,

остался немой, с полуоткрытым ртом. Но это было еще не все.

Он превратился в соляной столб, когда граф Бранденбург ловким движением сорвал с головы седой парик и отцепил бороду. И так усмехнулся при этом, что Пенебельского кинуло в какой-то мурашечный озноб. Перед ним сидел Флуг. Бритый Флуг с тусклыми глазами ожившего мертвеца.

— Не ожидали, господин фон Пенебельский?

Пенебельский молчал. Он еще не успел овладеть собою... А Флуг смеялся каким-то сухим, скрипучим смехом.

— Неправда ли, сюрприз?

— Но... но... позвольте... Этот... маскарад... — обрёл наконец дар слова Ольгерд Фердинандович.

— Не по сезону, неправда ли? Карнавал был давно. В феврале, кажется, если не ошибаюсь. Но что поделаешь, господин фон Пенебельский... Наше ремесло такое. И мы устраиваем маскарады в зависимости от обстоятельств, а не от календаря... Итак, где же мои два миллиона?

— Какие два миллиона? — спросил Пенебельский, понемногу нащупывая под собою почву.

— Какие? Я полагаю, что банкиры и финансисты обладают профессиональной памятью...

Обрывки желаний и мыслей короткими зигзагами запрыгали под черепом Пенебельского... Война... Этот Флуг — шпион, скрывается... И если донести, его схватят... Надо выиграть время... Он пойдёт к другому телефону... И Пенебельский нерешительно, с усилием встал:

— Вы мне позволите?.. Там ждут... Через две минуты я к вашим услугам.

— Сидите! Сидите и ни с места!.. Иначе я придушу вас, как поросенка, и вы не успеете даже хрюкнуть. Я был лучшего мнения о вас, Пенебельский, то есть не о вас, а об мозговом аппарате вашем. А вы оказываетесь самодовольным глупцом. Неужели вы полагаете, что, едучи к вам, я не знал, с кем имею дело? Если б я через час не вернулся, то ваши обе расписки о пожертвованиях на германский воздушный флот, хранящиеся в надёжных ру-

ках, немедленно были бы представлены, куда следует. Понял?.. А это чем грозит?.. Арестантскими ротами!

Ольгерд Фердинандович, вновь утративший дар слова, обмяк с опущенной головою в своём кресле времён Империи.

— Теперь слушай внимательно... Даю тебе сроку два дня. По истечении этого времени два миллиона золотом, непременно золотом, должны быть закупорены в особом ящике. За этим ящиком послезавтра вечером, между одиннадцатью и двенадцатью, приедет один человек. Никаких засад, никаких выслеживаний, ничего! Малейшая попытка и — арестантские роты!..

Флуг не спеша надел седой парик, прицепил бороду, и опять это был старый граф Бранденбург. Он молча встал, выразительно, молча погрозил обмякшему, в холодной испарине, Пенебельскому тростью и медленно вышел из кабинета...

11. Туда...

Умер старый князь...

Как-то неожиданно умер. Для всех близких — неожиданно. Хотя все знали, что старого князя уже несколько лет гложет грудная жаба. Но как бы то ни было, никогда не поймешь, да и вообще ее трудно понять — смерть человека с виду здорового, крепкого. За день до того, как слечь и застынуть навеки, ходил, говорил и даже кричал на дворника, чем-то проштрафившегося...

Умер за несколько дней до объявления войны с немцами, которых он так терпеть не мог. Умер, и все домашние растерялись. Потрясенная горем княгиня плакала, вся в чёрном, постаревшая сразу на несколько лет и вряд ли в первые, самые острые дни своего горя сознавшая всё происходящее кругом. Дмитрия не задела смерть отца глубоко. Самый эгоистический народ — влюблённые. Дмитрий, с головой влюбленный в старшую маркезину, ничего знать не хотел, выходявшего из рамок его чувства. Дома бывал редким гостем, норовя из полка уехать прямо в

Петроград, чтобы вернуться только с последним поездом!..

Княжна Тамара, находившаяся всецело во власти новых, таких для неё жутких и манящих переживаний интересного романа с Каулуччи, тоже сделавшаяся эгоистической, нашла, однако, в себе, как женщина, что-то мягкое, нежное и тоскующее по отношению к утрате. Если при жизни отец бывал суров, деспотичен, а следовательно, тяжёл и неприятен, смерть сгладила все эти шероховатости. Княжна каялась, отыскивая в памяти случаи, когда резко и непочтительно возражала отцу. И она, как и мать, надела все черное, и это шло и к её неправильному японскому личику с зеленоватыми глазами, и к нежной белизне точеной шейки.

Солнцев-Насакин Василий, уланский поручик, на своих плечах вынес все досадные похоронные хлопоты. Хлопоты, где на каждом шагу — бездна самых непредвиденных мелочей. В натуре Василия было что-то хозяйственное, обстоятельное, всегда и везде стремившееся терпеливо доводить все до конца. Добросовестно лежа на полу, два месяца рисо-

вал Василий на гигантском картоне древо Солнцевых-Насакиных. С таким же усердием заказывал он гроб старому князю. До мелочей тщательно продумал, во что надо одеть покойника, остановился на известном количестве певчих, чтоб их было не много и не мало, и сам разослал им же составленные публикации о смерти отца в наиболее ходкие газеты. И все шло гладко, потому что взялся за дело Василий. В его аккуратности было что-то немецкое. Да он и гримировался под немца, щеголяя выправкою германского кавалериста. И когда он шёл зимою в светло-сиреновом пальто, с узеньким, стоячим, каракулевым воротником, в фуражке, надвинутой на глаза, и с дном, которое немногим превосходило околыш, издали можно было принять Василия, к тому же светлого блондина без бороды и усов, за какого-нибудь прусского драгуна. И он гордился этим. К слову сказать, Василий удивительно похож был, как две капли воды, на германского кронпринца. Тот же нос, та же линия губ, вытянутое лицо и срединный пробор жиденьких, светлых волос. В пальто и в уланском кивере это сходство усугублялось.

гублялось.

Полковые товарищи называли князя Василия «германоманом». Василий ничуть не обижался, наоборот, испытывал даже некоторое удовольствие.

Но когда объявили мобилизацию, и, едва успев похоронить отца, Василий спешно, телеграммой вызванный, помчался в свой полк, все его «германоманство» сняло, как рукой, вдруг. И он весь так и горел желанием бить «проклятых немцев».

И уже в первых числах августа, неделю-другую спустя после нашего вторжения в Пруссию, бывший «германоман» прислал домой свои первые трофеи: каску зарубленного им прусского кирасира и его тяжелый, в металлических ножнах палаш. Новая, лакированная, с одноголовым орлом и острым, как громоотвод, шишаком каска-трофей была погнута... Как и почему — все это Василий объяснил в препроводительном письме, таком же обстоятельном, как и он сам:

«Оказывается, что официальным по армии приказом, германской коннице запрещено принимать рукопашный бой. И они удирают и

отстреливаются, спешившись. Но тут наш дозор встретился почти носом к носу с их дозором. Получился „шок“. Я налетел на офицера. Он туда-сюда за револьвер. Я его хватил шашкой. Погнулась каска. Я повторил удар, сгоряча, не зная даже, куда попало. И когда он свалился, у него оказалось разрубленное до середины груди плечо. Все у них тяжелое и солидное. Понравилось мне у лошади „оголовье“. Пышное такое, с набором. Напоминает рыцарские времена. А седло — целый магазин. Не говоря уже о кобурах, есть даже особое отделение для консервов... Вы меня не узнали бы, мои дорогие. В две недели я весь оброс бородой, и теперь, слава богу, пропало всякое сходство с этим гнусным кронпринцем»...

Княгиня-мать читала, смеялась и плакала. И такими странными, далекими, говорящими о чем-то кровавом, суровом, казались ей трофеи сына в тихом опустевшем доме. Да и все кругом опустело. Прежде здесь военные были на каждом шагу, теперь их почти не видать. Ушел на войну и тот полк, в котором служили Дмитрий и Каулуччи. Ушли все другие полки.

Уже прибывали первые партии раненых, заботливо размещаемых по лазаретам и госпиталям. И в первые дни как-то непривычно было видеть сестёр милосердия, одетых с монашеской простотою и с красным крестом на рукаве и на груди. Но скоро это вошло в колею, никого не удивляло и сделалось обычным.

Надвигалась золотая осень. Над гладким, неподвижным зеркалом прудов замороженные стояли в чистом, прозрачном воздухе желтейшие парки. И сухой лист, кружась с меланхолической тоскою, как-то нерешительно опускался на воду и был точно приклеенный к отражавшему небеса и опрокинутые деревья зеркалу.

Княжна и Сонечка Эспарбэ почти не ездили в город. Надвинулось что-то большое, заслонив собою все маленькие суетные радости.

На днях у Насакиных был Агапеев. Его арест, а главное, висевшее над ним подозрение теперь окончательно сгинувшее, оставили на нём отпечаток. Он похудел, и в его птичьих глазах появилось какое-то новое, вдум-

чивое выражение. Он поумнел, постарел душою.

Кроме арканцевского заступничества освобождению Агапеева способствовала еще и находка украденных у него чертежей. Их прибило в конце концов к русскому берегу вместе с чемоданом «гусара смерти», в котором они находились.

Княжна, вся в думах о Каулуччи, отнеслась к Агапееву только-только с человеческим вниманием. На большее Мары не хватило бы теперь. Он приехал лишь с тем, чтобы проститься! Он уезжает на войну, чтоб делать со своим «Огнедышащим драконом» опасные разведки и бросать бомбы. Это для него теперь вопрос не только одного патриотизма, но и чести. Он или совсем не вернется, или успехами своими докажет, на какие способен подвиги! В последний раз княжна видела Агапеева накануне отъезда. Он шёл по Невскому счастливый, сияющий, в полувоенной форме. Нового образца специально для лётчиков утвержденный берет, наподобие шапочек бельгийской конницы. У пояса — небольшой кортик. Ноги свои Агапеев аккуратно обмотал

серыми суконными колониальными гетрами. И, отдав Маре по-военному честь, воскликнул:

— До свидания!.. Лихом не поминайте!.. А может быть, и совсем никогда не увидимся...

Но это он прибавил «для красоты слога». Он верил в первое, в «до свидания». И всякий, идущий навстречу опасности, всегда уверен в благополучном для себя исходе. Иначе не было бы ни геройских проявлений духа, ни подвигов. Животный эгоизм человека, уверенного в своей неуязвимости, — это одно, и только это двигает все вперёд и вперёд...

Агапеев уехал.

Все уезжают... А Мара и Сонечка томятся в безмолвии тихих, замороженных прудов. Сонечка переменилась до неузнаваемости. Она перестала швырять золотые своим лихачам и ездит редко и мало на простых извозчиках.

— Теперь такое время, что стыдно много тратить, — поясняла Сонечка.

И когда собирались пожертвования, она с такою же страстностью, как прежде, бросала на всякую дрянь, теперь отдавала свои карманые деньги на раненых. Религиозность,

странно как-то совмещавшаяся с легкомысленной испорченностью этого синеглазого очаровательного ребенка, получила теперь какой-то экзальтированный оттенок. И если недавно Сонечка молилась, чтоб Бог вернул ей того или другого поклонника, теперь эти молитвы были чище, прекрасней и глубже, потому что она молилась за всех тех... кто пошёл отдавать свою жизнь туда, откуда не все возвращаются.

Тамара не молилась. Она не умела молиться. Но душою — вся была там. От Каулуччи — ни звука. Ничего, кроме двух-трех писем, посланных с дороги. И от Дмитрия — ни одной строчки. По слухам, оба они в Восточной Пруссии и вёрст на восемьдесят идут разведкою впереди своей пехоты. Чужая, неприятельская земля, бивуачная жизнь. На каждом шагу, повсюду стережёт их слепыми глазницами своими опасность. Какая же тут переписка?.. Жив ли он, этот некрасивый и сумрачный офицер, ставший таким близким, дорогим, после того душного дня, под сенью липовой аллеи...

Первые живые вестники оттуда — ране-

ные офицеры. Все они вернулись через Варшаву. И нет конца восторгам:

— Дивный город! И как чувствуется тыл, как сильно бьется жизнь! Сколько народу, беглецов! В госпиталях и комфорт, и уход — прямо сказочные!.. И ежедневно самые последние новости. Нет дня, чтоб не приехал кто-нибудь с позиции. Возвращаются, опять уезжают. И так без конца! Вся Варшава — один сплошной лагерь!

Тамару зажгли все эти картины. И, в свою очередь, Тамара зажгла Сонечку.

— Поедем в Варшаву!..

— Зачем? — не сразу поняла Сонечка, обдавая подругу недоуменным сиянием бездонной синевы громадных глаз своих.

— Как зачем? Станный вопрос! Мы будем ближе к тем, кто нам дорог. У тебя отец на войне, у меня — братья.

— И он! — подхватила Сонечка, но без всякой ревности. Ревность угасла вместе с войною. Сонечка от всей души желала подруге счастья.

— Так едем? — настаивала Мара.

— А что мы делать будем в Варшаве?

— Вопрос! Запишемся в госпиталь. Будем работать. Каждый человек, желающий приносить пользу, теперь на счету. А там, почём знать? Я, по крайней мере, всеми силами буду стараться попасть в какой-нибудь летучий отряд. Боже, как это интересно! В такие великие дни грешно и стыдно сидеть сложа руки. Мне предлагают работать здесь, в госпитале. Светлейшая желает, чтобы я работала у неё. Но это совсем, совсем не то, милая Сонечка! Здесь и там? Какая разница! Одно лишь оста-навливает меня: маме будет скучно. Но мама чуткая и добрая. Она меня поймёт. Едем, Сонечка?

— Едем!..

И вся полная каких-то нахлынувших радостей Сонечка бросилась обнимать и целовать княжну, повторяя:

— Едем! Едем! Едем!..

12. В Варшаве

Флугу, хотя и скрывавшемуся в Петрограде неуловимым «Фантомасом», не повезло. Во-первых, его разоблачили самым основательным образом, во-вторых, он лишился важной сообщницы, какою была для него до сих пор графиня Ирма Чечени, а в третьих, великолепно оборудованная на крыше «Семирамис-отеля» станция беспроволочного телеграфа опечатана была русскими военными властями.

Разумеется, все это повлекло за собою большие и малые неприятности для «Семирамис-отеля», и в особенности для упитанного директора из отставных нижних чинов прусской гвардии. Не успели этого гуся допросить и арестовать, как выяснилось, что «Семирамис-отель» — предприятие, на немецкие правительственные деньги основанное и до поры до времени благополучнейшим образом существующее.

В результате — полная переоценка всех ценностей, начиная с администрации и кончая прислугой. Отель сдан был в аренду фран-

цузу, некоему господину Пелисье. Большой патриот, господин Пелисье, живой, энергичный, с бородкою Наполеона III, бранивший на чём свет стоит и немцев, и все немецкое, в каких-нибудь два-три дня завёл новые порядки, и «Семирамис-отель» стал неузнаваем.

Да и вообще с войною эта гранитная гостиница утратила свой прежний, такой шумный характер, с пестрой, международной толпой наводнявшей и ресторан, и белоколонный читальный зал, и вестибюль, и все площадки лестницы, и коридоры. Какое-то уныние, какая-то вдруг потускневшая публика. Все иностранцы — наперечёт. Исчезли красивые, эффектные, в громадных шляпах и в бриллиантах женщины. Куда девались изысканно одетые мужчины, такой особенной, западной складки?.. Война положила свою печать.

Мечущийся с такой милой улыбкой Пелисье только наружно был доволен. Внутри его скребли кошки. В особенности подкосило ресторан запрещение вина и спиртных напитков, опустел буфет, и сиротлив был его вымерший, без единой бутылки — хоть шаром покати — вид.

И Пелисье, делая красивый, плавный жест по направлению буфета, восклицал перед кем-нибудь из гостей, скромно заканчивающих обед минеральной водой или квасом:

— Увы, мосье! Это маленький Лувен!

Да, это был действительно «маленький Лувен», и господину Пелисье никто не мог бы отказать в его игривом, чисто галльском юморе. Юморе сквозь слезы.

Разлетелась — кто куда — и небольшая русская колония «Семирамис-отеля». Одна княгиня Долгошеева с дочерьми волей-неволей решила пережить здесь время войны, лишившей ее обычного отлета куда-нибудь за границу.

Освобожденный Агапеев лишь на несколько часов заглянул в отель, чтоб привести в порядок свои вещи, расплатиться и, взяв самое необходимое, уехал в распоряжение командующего армией на австрийском фронте. Его «дракон» следовал за ним, разобранный по частям, в двух вагонах.

Не было в «Семирамисе» больше ни Вовки, ни графини Чечени. Вовка щеголял в серой шинели, с узенькими серебряными погона-

ми, и в защитной фуражке. Отдать справедливость — форма шла к нему, и его ассирийское лицо значительно выигрывало. Леонид Евгеньевич Аркадцев устроил Вовку в Красный Крест и отправил его поближе к позициям, причем главной штаб-квартирою Вовкиной была Варшава.

Красный Крест был здесь, как говорится, сбоку припеку. Для одной «видимости». На самом же деле, и узенькие погоны, и шинель, а главное — особая секретная бумага — давали Вовке возможность проникать повсюду, не считаясь с военным положением, повсюду, включительно до передовых позиций.

И Варшава, и все Царство Польское, кишмя кишели австро-германскими шпионами. На первый, поверхностный взгляд они как будто сникли, затаились, но в действительности продолжали работать — и как ретиво! — на пользу своему фатерлянду. Не проходило дня, чтоб не был где-нибудь арестован германский шпион, то скомпрометированный секретным телефоном, то уличенный в попытке сигнализировать каким-то подозрительным людям в штатском, людям, бог весть откуда

взявшимся, то не в меру проявлявший интерес к железнодорожным и всяческим другим мостам.

Приехал Вовка не один в Варшаву, а вместе с Ирмой. Она, во-первых, могла быть ему весьма и весьма полезной, а во-вторых, графиня, сжегшая свои корабли, ни за что не решилась бы остаться одна в Петрограде. И хотя исчезнувший в конце концов из города Флуг перестал бомбардировать ее письмами, это ничуть не рассеяло призрака мести. Флуг покинул Петроград — это еще ничего не значит. Он оставил десятки, сотни агентов, послушных его велениям и директивам.

Был же с нею такой случай... Раз вечером графине надо было съездить на Каменноостровский. Подали мотор. Она села, думая о чем-то своём, и не заметила, что шофёр миновал тот дом, куда надо было графине, и развив бешеную скорость, помчался к Новой Деревне. Чуя недоброе, Ирма, высунувшись, подняла отчаянный крик. Городовой, мимо которого вихрем промчался автомобиль, дал резкий, тревожный свисток, побежавший перекликаками вперёд, от одного поста к другому.

И только у самой Новой Деревни двум всадникам конной полиции удалось перехватить мчавшийся мотор. Подошёл случившейся здесь помощник пристава, и графиня, волнуясь, рассказала ему по-французски, в чём дело. Шофера тотчас же арестовали.

После этого графиня в единственном числе никогда не выходила из отеля, особенно вечером, а постоянно лишь в сопровождении Вовки...

В Варшаве — недаром так сюда рвалась княжна Тамара — повсюду, на каждом шагу, чувствовался тыл, и даже не особенно глубокий, скорей близкий тыл великой миллионной армии. Ежедневно, по нескольку раз, длинными, бесконечными серыми колоннами шла пехота, громыхали орудия полевых батарей и осадных парков, двигалась конница — гусары, уланы, драгуны. Проезжали, «стоя» на своих мягких удобных сёдлах, чубатые донцы в рубахах, кубанские и терские казаки в косматых папахах и черкесках. Экспансивное польское население смотрело во все глаза на живописные конные фигуры кавказских всадников в серых и чёрных бурках, на-

половину закрывавших маленьких, с крутой шеей, горячих, приплясывающих горских лошадов. Зрители, густившиеся плотными шпалерами вдоль красивых, нарядных, залитых солнцем варшавских улиц, не оставались безучастными к этой живой, колышущейся, сверкающей оружием и доспехами панораме. Солдат и офицеров забрасывали цветами. Десятки и сотни рук, мужских, детских и женских, тянулись отовсюду с папиросами, табаком, лакомствами, чаем, булками, сахаром... Запылённые, как под серым слоем пудры, лица солдат прояснились, и белые зубы сверкали в ответной благодарственной улыбке.

Более грустным, и в то же время необыкновенно трогательным зрелищем были вереницы автомобилей, развозившие по госпиталям раненых, только что выгруженных из санитарных поездов. Многотысячная толпа встречала героев с обнаженной головой, и каждый автомобиль атаковался теми, кто каким-нибудь подарком желал выразить свое внимание раненым. И бледные, в перевязках, солдаты улыбались довольной, счастливой улыбкой.

И тут же сновали с кипами свежих газет мальчишки — их называют в Варшаве лобузами — выкрикивая задорно и громко:

— Три войны за два гроша!.. Три войны за два гроша!..

Газеты расхватывались, и тут же на улице и на верандах открытых кафе жадно прочитывались.

Главным центром, нервным узлом всех совершающихся кровавых событий являлся «Бристоль». Здесь жил Вовка с графиней Чечени, здесь остановились приехавшая княжна Тамара с Сонечкою Эспарбэ.

С первого же дня встретили барышни своих петроградских знакомых. Но это уже не были щеголеватые гвардейцы в красивых мундирах и тоненьких, нежно-сиреневых пальто. Ни цветных фуражек, ничего яркого и нарядного. И только серебряные и золотые погоны грубых шинелей да внешность и голос, и самая манера говорить выдавали в этих недавних блестящих представителях гвардии офицеров. А те, кто возвращался с позиций, тех не сразу можно было узнать — так они обветрились, загорели и обросли: кто

небритой неделю-другую щетиною, кто отпущенной бородой...

И эти самые кавалеристы, что назад тому два-три дня, во время длительных разведок, бесконечно рады были куску чёрного хлеба, теперь вознаграждали себя тонким обедом, запивая его шампанским. И чем-то походным, мужественным веяло от этой крепкой, выдавшей близко смерть молодежи в оливкового цвета солдатских рубахах, обедавшей в ресторане под звуки румынского оркестра в огненно-красных смокингах. Окрепли и стали громче голоса, и в четырех стенах это было особенно громко, потому что офицеры неделями привыкли говорить и командовать на воздухе и на просторе лесов и полей.

«Пачка» приехавших на денёк-другой однополчан Дмитрия обрадовалась неожиданному сюрпризу в лице княжны и Сонечки. Вместе обедали, вместе катались по городу, сходились в кафе «Бристоль», и было так беззаботно и шумно, словно ничто не изменилось, и все шло своим обычным порядком. А между тем некоторые офицеры уже убиты, многие ранены. Да и в числе приехавших бы-

ло двое корнетов юных, безусых, гордившихся один своей царапиной — пустяки, шрапнельная пуля, задела череп, — другой — своей левой рукой, висевшей на перевязи. И Сонечка, заботливо и деловито поджимая губы, на мелкие кусочки резала ему ростбиф и цыпленка.

А Дмитрий и Каулуччи — где они, что с ними, даже товарищи ничего не знают. Они ушли оба с полуэскадром в разведку — и ни слуху ни духу. Но беспокоиться нет никакой причины. Оба уже успели показать себя молодцами. Дмитрий лихо рубил, а Каулуччи с разъездом в двенадцать коней частью искрошил, частью взял в плен тридцать восемь баварских кавалеристов. Немцы продолжают свои зверства. Особенно отличаются «гусары смерти» вместе с бароном Гумбергом, тем самым Гумбергом, который околачивался у них в полковом собрании под Петроградом и которого княжна Тамара вытянула хлыстом. Гумберг приканчивает наших раненых, очутившихся в плену казаков подвергает истязаниям и пыткам. Он собственноручно пристрелил двух наших санитаров. Казаки спят и ви-

дят — поймать бы им только этого Гумберга. А уж они с ним разделаются по-своему и припомнят «кровавые лампасы», которые он выкраивал из кожи пленных донцов...

13. Ночные шорохи

Арканцев благословлял тот прекрасный весенний вечер, когда на берегу пустынной Мойки судьба столкнула его лицом к лицу с опустившимся товарищем школьных лет своих. Сам Вовка, что и говорить, был до некоторой степени полезен делу. Но если б он не шевельнул даже пальцем, один голый факт привлечения из неприятельского лагеря к совместной работе графини Ирмы был громадной заслугой Вовки.

Ирма знала слишком много и все драгоценные сведения, переданные ею Арканцеву, сослужили молодому сановнику громадного значения службу.

Ирма не годилась в кающиеся Магдалины и вовсе не претендовала на это. Она осталась прежде всего сама собою. Никаких особенных исканий, духовных перерождений. И если она сожгла свои корабли, то в силу двух при-

чин. Во-первых, ей очень нравился Вовка. И естественно, рука об руку вместе с ним, а не с Флугом ей хотелось работать. Что же касается второго мотива, графине надоело цинично-хамское отношение австро-германских дипломатов к своим тайным агентам, даже такого крупного калибра, как она, графиня Ирма Чечени.

И рядом с этим внешне джентельменское — что он думает внутри себя, это его частное дело — отношение Арканцева, деликатно вложившего её первый гонорар в книгу венгерского поэта.

Все шло гладко, безмятежно. Любовь, пусть чувственная, без особенных взлётов ввысь, но все же любовь, из наслаждений и радостей. Ирма не знала, да и не хотела знать другой. Отсутствие всяких материальных забот и вечный комфорт, изысканный и тонкий, вошедший давным-давно в самую тесную привычку... Чего же еще?

И на всём этом сияющем фоне тёмным пятнышком обозначалась тревога перед возможностями напроороченной Флуговой мести. Таких господ, как этот бритый каторжник,

первая неудача не только не обескураживает нисколько, а наоборот, вдохновляет на все новые и новые гнусности.

Вообще Петроград явился для Флуга одной из самых неудачнейших арен его многосторонней деятельности. Ни в одной из европейских столиц не терпел он целого ряда таких поражений. И маска сорвана была значительно раньше, чем следует, и графиня так неожиданно-негаданно изменила ему, обернувшись в угоду любовнику своему ренегаткою, и, наконец, Флуг чуть не потерял два миллиона. И до чего это глупо вышло!

Добро бы еще Пенебельский надул его. Было бы не так уже обидно, право. Надул, взятки гладки. Прохвостов мало ли на белом свете, даже самой обыкновенной разбойничьей этики не признающих? Но в том-то и дело, что Пенебельский, при всём желании своём, не осмелился надуть Флуга. Не осмелился, потому что два слова железом добела раскалённым жгли смятенный мозг Ольгерда Фердинадовича. Эти два слова: «Арестантские роты!»

И честь честью, согласно требованию Флу-

га, Пенебельский к назначенному сроку, ценою невероятных усилий, наскрёб два миллиона в звенящем золоте, и громадный, тяжелый ящик, вынесенный четырьмя дюжими артельщиками из банкирского особняка в подъезжавший автомобиль, умчался куда-то вместе с загадочным седоком и не менее загадочным шофером.

Флуг думал транспортировать свое золото через Финляндию в Швецию, и надо же стрястись беде — на самой границе, в Белоострове, тяжелый, слишком тяжелый по своим размерам ящик привлёк внимание пограничных жандармских властей. Вместе с золотом конфискован был и конвоирующий его субъект, оказавшийся никому не ведомым и более чем подозрительным немцем.

Узнав об этом несчастье, Флуг, поджидавший своего сообщника в Торнео, от бешенства едва не лишился рассудка. Только страшной силою воли взял он себя в руки, дабы с твердостью вынести этот новый жестокий удар судьбы.

Арест на границе двух миллионов в связи с военным временем и к тому же еще поим-

кою германского шпиона-конвоира, сделался злобою дня. Газеты, хотя и по горло заваленным самым сенсационным материалом, создали, однако, из этих двух миллионов трескучий «бум»...

Борис Сергеевич Мирэ, извещенный своим Белоостровским корреспондентом по телефону о конфискации ящика с золотом, примерял в этот самый момент свой корреспондентский костюм, корреспондентский потому, что помощник редактора газеты «Четверть секунды» был уже «на отлете», со дня на день собираясь на театр военных действий. И как был в необыкновенно пестрой куртке и не менее пёстрых панталонах, широких верху и плотно охватывавших ногу у колена, панталонах, которые сам Борис Сергеевич называл почему-то «фасон зуав», он помчался на Финляндский вокзал, и, разумеется, на другой день вся вторая полоса газеты «Четверть секунды» посвящена была «Таинственному золоту».

Ольгерд Фердинандович Пенебельский пережил несколько отвратительных дней и ночей, лишившись сна и аппетита, чем в одина-

ковой степени дорожил чрезвычайно. А вдруг всплывает на свет Божий вся темная гешефтмахерская комбинация с Флугом? Но задержанный шпион хранил на допросе могильное молчание, и у Пенебельского отлегло. В конце концов к нему вернулись и аппетит, и сон.

А ведь могла выйти скверная, очень скверная история, и не спас бы Ольгерда Фердинандовича оборудованный им санитарный поезд «имени О.Ф. Пенебельского». Однако Флуг не оставил его в покое. Сказочно разбогатевший банкир получил письмо с требованием новых двух миллионов. Уже на этот раз — в бумагах.

Пенебельский рвал на себе волосы:

— Этот негодяй хочет меня разорить!..

Но скрепя сердце Ольгерд Фердинандович покорился. Лучше потерять четыре миллиона, оторвав их от себя с кровью и мясом, чем надеть арестантский халат.

Об этой пограничной истории с золотым грузом Вовка и графиня прочли уже в Варшаве. И так как Ирма посвящена была во взаимоотношения Флуг-Пенебельский, она не сомневалась, что эти два миллиона, если не финал

«взаимоотношений», то, во всяком случае, крайне досадный для обеих сторон этап.

Жилось в Варшаве этой влюбленной парочке весело, куда веселей, чем в «Семирамис-отеле». Вечно знакомые и вечно на людях, и всегда целый океан таких ярких, трепетных впечатлений. Сплошь да рядом завтракали и обедали в компании Тамары, Сонечки Эспарбэ и окружавшей их гвардейской молодежи.

Номера Вовки и графини примыкали друг к другу, сообщаясь дверью. Комната, соседняя с номером графини, была несколько дней пустая, и потом лишь занял ее приехавший из Нью-Йорка военный корреспондент большой американской газеты. Напоминал он собою какую-то странную птицу. Громадный, крючковатый нос и длинные, перьями спускающиеся до плеч волосы. Темные очки и все лицо — в бородавках. Словом, внешность какого-то опереточного нотариуса.

Видимо, редакция отсыпала своему корреспонденту целую уйму денег. Он жил широко: к его услугам был щегольской наемный автомобиль, а количество сундуков и чемода-

нов — оперной примадонне в самый раз.

Русские корреспонденты завидовали американскому коллеге своему, направо и налево швырявшему деньгами. А главное, внешность господина Гудсона — вот уже нисколько не корреспондентская! Даже представить себе нельзя его в этих очках, длинноволосого, на передовых позициях. Ужасно комическая фигура получится...

Но господин Гудсон вызвал бы значительно сильнее удивление у коллег своих, если бы они могли проникнуть в его номер и увидеть, как он, выбрав удобное время, когда нет никого по соседству, орудует целой системой дорогих, сверкающих новенькою сталью отмычек, желая сделать выходящую в номер графини Чечени дверь более податливой. Коллеги решили бы в один голос, что имеют дело не с корреспондентом американской газеты, а с так называемой отельной крысой, которая ночью проникает к богатым постояльцам и по мере возможности и удачи грабит их...

Вовка, получив от Арканцева зашифрованную телеграмму, немедленно выехал в сек-

ретную командировку в Лодзь. Ирма осталась одна. Прощаясь, Вовка умолял ее все это время особенно беречься и никуда не выходить...

— Разве днём прогуляешься по главным улицам, да и то не одна лучше, а вместе с Тamarой и Сонечкой. Есть русская пословица «бережёного и Бог бережёт»... А тебе необходимо, сама знаешь, тщательно беречься.

День пролетел незаметно. Было так много солнца, движения, непрерывно мелькающих впечатлений, и так весело и звонко смеялась Сонечка, и во время завтрака, и под каштанами Уяздовской аллеи, куда они направлялись вдвоём, желая соединить приятное с полезным — посещение раненых в госпитале польского благотворительного общества в кадетском корпусе, вместе с прогулкой. С наступлением вечера графине сделалось как-то не по себе. Беспричинная нервозность овладела ею, и мысль, что она проведёт ночь одна-одинешенька, наполняла ее какой-то холодной жутью... Мелькнуло даже желание пригласить Сонечку Эспарбэ переночевать вместе... Но, во-первых, Сонечка неразлучна с Тамарой и разобщать их было бы неудобно, а во-вто-

рых, — опытная, тридцатилетняя женщина расписывается в собственной трусости, зовя к себе такого полуробенка — сама в опеке нуждается — как Сонечка.

Ирма тщательно заперлась на ключ и задвижку. Не менее тщательно осмотрела обе двери: и в опустевшую Вовкину комнату, и в другую, напротив, соседнюю, за которой помещался странный, длинноволосый человек в бородавках.

Ирма сунула под подушку револьвер, тот самый, заставивший в «Семирамисе» попятиться Флуга. Легла в холодные простыни, взяла какой-то французский роман, пыталась читать. Но буквы сливались какими-то пляшущими зигзагами. И уснуть не могла... Сон бежал. Бледная, с округлившимися восточными глазами своими, графиня прислушалась. Какое-то тихое царпанье, какой-то шорох... Смолкнет, затаившись... Опять... Или мышь начинает скрестись, или воображение разыгрывается...

Ирма съежилась в комочек, замерла, и ясно-ясно слышит биение сердца. Мышь продолжает скрестись... Встать?.. Обойти комна-

ту? Крикнуть? Это вспугнёт, пожалуй... Но нет ни сил, ни воли. Каким-то оцепенением скованная лежит Ирма. И ширятся, расплываясь, зрачки, и нет сил протянуть руку, погасить электричество... Сердце уже не бьется, замирает, и какая-то неприятная, неприятная, обессиливающая истома входит и в сознание, и в мозг, и в тело, и в нервы... И рада была бы пошевелинуться, крикнуть... Но — не может... Не могла бы под самой страшной угрозой...

Так бывает во сне...

14. Чемодан Гудсона

Длинноволосый корреспондент с бородавкой и в тёмных очках предавался чрезвычайно странному занятию. С искусством, которое сделало бы честь любой профессиональной «отельной крысе», Гудсон какими-то особенными щипчиками так повернул ключ, вернее бородку его — ибо весь ключ находился в комнате Ирмы, — что образовалось небольшое отверстие в замке. Человек в бородавках, прищурившись, мог видеть свет у графини Гудсон, очевидно, готовился к чему-то

важному и опасному не только для соседки, но и для себя самого. Он добыл из чемодана странный предмет, имеющий некоторое сходство с бинтом для усов. Но бинт для усов прозрачен и тонок, здесь же скорей какой-то подушкообразный вид. На концах этой продолговатой подушечки — шнурки петлёю, чтоб можно было застегнуть за уши. Он так и сделал. И нижняя часть лица вместе с носом закрылась. Тогда Гудсон взял механический пульверизатор с флаконом, какой-то жидкостью наполненным, просунул между ключом и замком тончайшую трубочку и, нажимая резиновую «грушу», наполнил влажной пылью — до того получались мельчайшие брызги — комнату Ирмы.

И несмотря на все виртуозное мастерство Гудсона, можно было отгадать ухом чуть уловимое царапанье тоненькой трубочки, ходившей взад и вперёд в скважине. Вот, когда чудилось графине, что скребется мышь. Это не была игра воображения — это была действительность. Гудсон, оставив пульверизатор, выждал по часам ровно десять минут и уже смелей заработал щипчиками, снабженными

какими-то нежными, как ножки насекомого, щупальцами. Эти щупальца, как живые, управлялись с «бородкою» ключа. В конце концов дверь открылась, и Гудсон смело вошёл в номер графини Чечени.

Электричество горело. У Ирмы так и не хватило воли погасить лампочку. А сама она лежит, разметавшись, бледная-бледная, охваченная глубоким сном. А может быть, это не сон, а вернее, какое-то непробудное забытье, название которому еще не придумано. Может быть, это временная смерть, смерть, когда тело едва-едва теплое и так слабо дышит...

Сняв свои тёмные очки, Гудсон с минуту глядел на нее. Линия тонких губ американского корреспондента искривилась улыбкой. И когда он сдернул вниз одеяло и глянула красивая, маленькая грудь, сквозь тонкий прозрачный батист, такая доступная — улыбка Гудсона превратилась в судорогу.

Но время бежит, и нельзя терять ни минуты. Он унёс к себе бесчувственную Ирму. И что-то странное и жуткое было в застывшей форме точёных и белых, свешивающихся ног молодой женщины. И сухо стуча, падали до-

рогою на пол черепаховые шпильки из густых волос, которые графиня, охваченная предательски подкравшимися забытьём, не успела распустить по-всегдашнему. Гудсон положил графиню на диван, прикрыл её пледом, а сам занялся узким и длинным, без малого в человеческий рост, чемоданом-сундуком из дерева, обитого какой-то плотной желтой массой, вроде линолеума, и опоясанного поперёк бамбуковыми обручами.

И оба дна, верхнее и нижнее, и стенки — были мягкие. Словом, такие удобства — не только вещи, хоть людей перевозить. Да, видимо, этот чемодан главным образом и приспособлен был для живой кладки. Закутав графиню пледом, Гудсон положил ее в чемодан, как в гроб, лицом кверху. И добыв еще один подушечкообразный бинт, закрыл им все лицо Ирмы, пристегнув к её ушам резиновые петли. И когда все это было сделано, Гудсон направился в комнату графини, вернувшись оттуда со скомканными в небрежную охапку туфлями, юбкою и лифом. Все это вместе с меховым манто брошено было в другой чемодан, поменьше. Опять заработали стальные

щупальца вокруг ключа и никто бы не сказал, что дверь из номера Гудсона к графине была открыта несколько минут назад...

К часу ночи «корреспондент» успел весь мобилизоваться. Все уложено, приведено в порядок, закрыто. Бросив последний инспекторский взгляд, уже теперь из-под тёмных очков, и убедившись, что все обстоит благополучно, Гудсон позвонил дежурного лакея:

— Счёт! Я уезжаю на позиции... Скажите внизу портье, пусть оба шофёра мои будут готовы. Пришлите сюда коридорных. Пусть снесут вещи!..

Спустя минут двадцать, оба автомобиля, пронизывая ночную мглу яркими снопами фонарей своих, мчались друг за другом.

Вот уже остался позади железный мост через Вислу, промелькнули, сгинув, тусклые огоньки предместья, и ровным полотнищем убежало шоссе куда-то в глубь холодной осенней ночи...

Ирма проснулась. Это не было пробуждение. Какая-то вялость, какое-то смутное — ничего не разберешь — колебание между тягу-

чей дремой и брезжащей явью.

Первое впечатление — слуховое. Какой-то длительный бурлящий шум... Всплески воды... И не могла понять сразу, откуда это, почему и где?.. Ах, это водяная мельница! И совсем близко. Но по соседству с «Бристолем» нет водяной мельницы!

По соседству с «Бристолем»?

Да разве она у себя?

Наглухо закрыты деревянные ставни, но свет пробивается в щель, и кое-что можно смутно увидеть. Ни мягкой мебели, ни электричества, ни зеркального шкафа, ни кожаных несессеров, ничего! Лежит Ирма на простой деревянной кровати. Под головою твердая подушка. Бахромчатый плед какой-то... Все это по меньшей мере дико...

Сознание никак не могло отрешиться от мысли, что это сон. Разумеется, сон. Какой-то неуловимый переход, и опять она будет под атласным стёганным одеялом, и верхняя часть широкой металлической кровати должна отразиться в прямоугольнике зеркального шкафа.

Но нет никаких превращений. Похолодев-

шая, стынувшая Ирма закусила губы, закусила и чуть не вскрикнула — так больно! Это не сон. Это действительность и к тому же не сулящая ничего хорошего...

Как она очутилась здесь? Какая темная полоса чего-то непонятного, непроницаемого легла между тем, когда скреблась мышь, и этим пробуждавшем под бахромчатым пледом, на деревянной кровати. И она села, озираясь, и было желание куда-то без оглядки бежать.

Чья-то невидимая рука распахнула со двора один ставень, другой, и тусклое осеннее утро, вливаясь в забранное железной решеткою окно, озарило комнату.

Эта железная решетка ударила графиню по без того взвинченным нервам. Тюрьма! Она в тюрьме. Где же Вовка?..

Стук в дверь. Ирма инстинктивным движением закрылась пледом по самый подбородок.

В комнату вошёл Флут, одетый спортсменом, с хлыстом и в гетрах. У пояса в жёлтом кобуре висел револьвер. Флут, закрыв за собою дверь, галантно расшаркался, и эта га-

лантность тысячами лезвий кромсала на куски бедную Ирму.

— Как изволили почивать, графиня? Конечно, это не «Семирамис-отель», в смысле комфорта и даже не «Бристоль», но ничего не поделаешь... — Он развёл руками. — Война есть война!..

Она смотрела на него застеклившимся взглядом. Она видела в нём, в этом человеке сатану... Флуг внушал ей какой-то суеверный трепет. Если б она могла трепетать?.. Ужас её был сковывающий, холодный ужас.

Расставив ноги, раскачиваясь на них и ударя себя хлыстом по гетрам, Флуг продолжал:

— Очутившись в подобных обстоятельствах, женщины ведут себя одинаковым образом и все вопросы их одинаковы. Начав с проклятий по адресу своего «мучителя», они спрашивают, за какую такую вину их похитили? Где они в данный момент находятся и как они очутились здесь? Я опускаю целый поток брани, который польется на мою голову, когда первое острое чувство боязни пройдет у вас. Брань из уст женщины, да еще красивой, ничуть не оскорбительна. Вопрос «за что?» —

праздний. Вы сами, графиня, великолепно знаете «за что?» Вопрос, как именно здесь вы очутились, я оставлю без ответа. Зачем открывать свои карты? Это уже, как говорится, секрет изобретателя. Я маг и волшебник! Довольно с вас? Я сделал такое легонькое движение этим хлыстом, и вы очутились, по крайней мере, в восьмидесяти километрах от Варшавы. Где? Не все ли равно? Во всяком случае, у моих друзей, а не у ваших. Ваши находятся далеко и не помогут вам...

Ирма, сдерживая бешенство, презрительно отвернулась.

— Ага, вы хотите выдержать роль оскорбленного негодования! Сколько угодно! Движений вашей души я не намерен стеснять. Я — великодушен. Другой всякий на моём месте избил бы вас этим хлыстом... Итак, графиня, надеюсь, теперь вы убедились окончательно, с кем имеете дело? Флуг не из тех, кого вышвыривают, как негодную тряпку. Со мною шутки плохи! Помните, я называл себя великим инквизитором... Это не было простой похвалой — перед вами действительно инквизитор. Ваш покорный слуга ломал и уни-

чтожал более сильных, чем вы. И как глупо, как легкомысленно все это вышло... Из-за пустого мальчишки с бородой ассирийца вы испортили всю свою блестящую карьеру. А когда я, Флуг, звал вас с собою, открывая волшебные перспективы, обещая осуществление их не как влюбленный пылкий фантазёр, а как трезвый человек дела, вы мне сказали «нет». Это коротенькое слово обойдется вам дорогой ценою! Если б вы остались верным и полезным агентом, я пощадил бы вас, до поры до времени пощадил бы. Но изменнице — пощады не будет. Завтра, или сегодня вечером вы отвезены будете в Калиш и там известный, даже ставший знаменитостью сам майор Прейскер будет судить вас. Этот милейший майор не любит сентиментальничать! Он уже успел создать себе имя вполне определенное. Мы, немцы, гордимся таким честным офицером. Эти же русские называют его дикарём, варваром, зверем и тому подобными, совсем нелестными кличками... И вот вы будете во власти «зверя» Прейскера. Как он распорядится вами, я не могу предугадать точно. Изобретательность почтенного майора неис-

тощима!.. Он — отец своим солдатам и как отец делит с ними то, что плывёт к нему в руки... И если попадетя красотка вроде Ирмы Чечени... Вы понимаете?.. Отчего же не побаловать десяток-другой славных солдат нашего императора?.. Я кончил, графиня. Такова будет моя месть. А теперь — довольно страшных слов, и не угодно ли вам чем-нибудь подкрепиться? Я велю принести вам кофе, ветчины, хлеба с маслом. Просто, по-деревенски — не взыщите... Повторяю, это не «Бристоль»... Отсюда из окна вы можете любоваться прекрасным пейзажем. Надеюсь, решетка ничуть не мешает... Видите, мельница на полном ходу, добрая, немецкая, вся из кирпича, мельница... Как видите, я здесь у себя дома. И это вам лишнее доказательство, что бороться со мной никому не под силу. Пейзаж, не правда ли, красив? Река, цепь холмов, лес.

Чего же еще?.. А решетка — вздор!.. Жан-Жак Руссо, сидя в тюрьме, писал, и как дивно работала его фантазия. А Сервантес?.. За решеткой он создал своего Дон Кихота... Но не буду мешать вам. Сейчас явится девушка, поможет вам по части вашего туалета... Вы ведь

не привыкли без горничной... Избалованная красавица...

15. Ночные выстрелы

Уединенный в ложбине хуторок с мельницею носил имя «Кронпринц-Мюлле», прозванный так хозяином своим Адольфом Шубертом. Рослый, упитанный, вечно дымивший трубочкою, Адольф Шуберт за двадцать лет жизни в этом крае не знал и двадцати польских слов. Да и зачем ему было знать? Разве не обходился он великолепно со своим немецким языком?

Дела Шуберта процветали на диво. Кто он, откуда взялся и почему облюбовал этот уголок и крепко пустил здесь свои корни — этого никто не знал, да никто и не интересовался.

Недаром один вид мельницы приводил в восторг Флуга. Мельница действительно хоть куда! Большая, с целой системой исполинских колёс, и шум стекающей белопенной воды слышен издалека.

Но опять-таки — долго было загадкою, — зачем, спрашивается, в этой глуши, с бедными по соседству деревеньками, такая пышная

мельница? Ведь она, кроме убытков, ничего не давала. Мужики редко привозили Шуберту хлеб свой в зернах. И мельник совсем не радовался этим случайным потребителям. И всякий раз выходило, что, перемалывая мужицкий хлеб, невесть каким одолжением снисходит к этим бритым польским крестьянам в рогатых шапках и белых свитах...

У Шуберта водилась копейка. Во всём чувствовался полный и сытый достаток. Во всём, начиная с шестерки раскормленных лошадей, бриллиантовых серег по праздникам в ушах дебелий фрау Шуберт и кончая поездками Адольфа в Калиш, где он так свободно кутил в компании местных немцев...

Эти поездки в губернский город участились чрезвычайно с того дня, как немцы со знаменитым майором Прейскером во главе заняли город Калиш. Майор этот, запятнавший себя злодействами, разбойник в офицерском мундире, и Шуберт оказались давнишними приятелями.

Прейскер получал от Шуберта интересовавшие его сведения о всех помещиках в ближайшем соседстве, у кого можно произвести

реквизицию, самую разнообразную, начиная с овса и хлеба и кончая картинами Ватто и Бушэ, имеющими цену немалую в глазах берлинских антикваров.

И почти ежедневно Шуберт возвращался из города под хмельком, с каждым разом становясь наглее. И когда польские мужики привозили к нему свой хлеб, он говорил им, путая и перевирая слова:

— Вот пришли немцы!.. Они покажут... Они всем покажут!.. Вы должны встречать их с покорностью... Мы наведём порядки...

Мужики слушали молча, молча разъезжались и расходились и только, оставшись между собою, грозили кнутом по направлению мельницы.

— Чекай, чекай, пся крев! Пшийдон россияние!..

Однажды сам Прейскер удостоил посещением своим Шубертову мельницу, приехав с несколькими офицерами в автомобиле. Но перед этим два больших разъезда, конный и мотоциклетный, произвели тщательную рекогносцировку, нет ли поблизости русских? И в особенности — казаков. Майор Прейскер,

храбрый с мирным беззащитным населением, до смерти боялся казаков...

Флуг знал, что на мельнице Шуберта графиня будет всецело в его власти. Здесь ее никто не найдёт, да и сама никуда не убежит.

Девушка, монументальная, грудастая, с красным свекловичным лицом и такими же красными, по локоть голыми ручищами, принесла Ирме обещанный Флугом завтрак и за этим вслед — белый эмалированный таз и кувшин с водою.

Подавленная, убитая неволей своею, а главное, перспективою быть судимой этим извергом Прейскером, Ирма не притронулась ни к чашке забелённого молоком кофе, ни к бутербродам. Таз и вода имели у неё значительно больший успех...

Освежившись, приведя в порядок у ручного зеркальца волосы — женщина всегда женщина, — Ирма подошла к забранному решеткою окну. Без солнца и света — уныло. Серые облака того и гляди заплачут. Мельница всю работу. Несколько пожилых солдат ландштурма, напудренных мукою, в плоских бескозырках, таскают на спине мешки, скла-

дывают их в полковые фуры, и вереницы этих нагруженных фур тянутся по направлению к городу.

Бурлит вода, шумя и пенясь, немолчно вращая колесами... Мельница работала днём и ночью на калишский гарнизон, словно спешила вознаградить себя за вялое бездействие на протяжении многих лет.

Ирма не могла плакать, до того велико было горе. Оцепенение, сковавшее ее всю, было тяжелей и безотраднее слез.

Что теперь там, в «Бристоле»? Вовка, пожалуй, вернулся и вне себя от её исчезновения. Он так успел привязаться к ней, Вовка! Она путалась в догадках, и было в чём запутаться, — так это все непонятно, каким образом похитил ее Флуг? Она не сомневалась, что он проник в её комнату ни в каком случае не с коридора, не сомневалась, что длинноволосый, бородавчатый сосед был искусно загримированный Флуг, не сомневалась, что он усыпил ее чем-то наркотическим... Но как удалось ему увезти ее из отеля, увезти сквозь строй целой армии портье, швейцаров и дежурящих ночью «шассеров»? Этого она не

могла ни объяснить себе, ни понять. Да и какой толк в объяснениях? Этим не поможешь, и безвыходное положение остается безвыходным.

— Неужели конец, всему конец? И жизнь, яркая, праздничная, оборвется таким жестоким эпилогом?..

Шагах в двухстах Ирма увидела Флуга. Он разговаривал с кем-то полным, плечистым, в мягкой шляпе и с трубкою в зубах. Говорили о ней — Флуг несколько раз поворачивался к окну, за которым она томилаась, и указывал туда хлыстом.

Потом они скрылись куда-то оба. Из мельницы вышел последним бородатый, с мешком на спине ландштурмист и — никого, ни одного человека. Пусто!..

В тоске, кусая до крови губы, ломая красивые, тонкие пальцы, Ирма ходила по комнате, как загнанный в клетку зверёк, уставший все время бесконечно метаться. Ходила вдоль половицы, ходила из угла в угол по диагонали. Скучно и тупо. А сядёшь, еще скучнее и томительней, когда тело обречено на бездействие. Пробовала графиня дверь. Дубовая,

массивная — тараном не прошибить! Закрыто и как-то дразняще сквозит продолговатое, для большого, массивного, такого же, как и замок, ключа — отверстие. Монументальная девица с красным лицом запирала Ирму. Даже отлучаясь на несколько минут, запирала. Отсюда не убежишь, да и куда бежать с уединённого хутора без людей, не зная дороги? Куда?..

Тянется мучительно, изматываяюще день, и конца края нет ему. Гаснут, сливаются дали. Вечереет. И в комнате стало мутно. Сумерки вползали какими-то расплывающимися клоунами тускло-серого цвета...

И когда стемнело совсем и резким чёрным переплётом обозначилась на фоне окна железная решетка, послышались шаги снаружи, щёлкнул повернутый ключ, и неопределённым силуэтом вошёл Флуг-тюремщик. Вошёл, нажал кнопку электрического фонаря, и сноп белого света, ярко вспыхнув лучами во тьме, озарил графиню.

— Собирайтесь, едем! Наденьте ваше манто! Вечер холодный!..

— Как вы заботливы, — злобно усмехну-

лась графиня. — «Вечер холодный!» Так издевается над своей жертвой палач, соболезнуя, что у неё насморк. О, как я вас ненавижу! Мерзавец, каторжное отродье!..

— Собирайтесь! Ехать пора! Браниться вы успеете в дороге. И советую вести себя тихо и скромно. И хотя здесь я среди своих и ничего не боюсь, но предупреждаю — никаких воплей и криков, попыток бежать, вырваться. Соблюдайте внешнее приличие. А не то я должен буду оглушить вас рукояткой моего револьвера. Путь недолгий. Средний ход машины в сорок минут покроеет все пространство до Калиша. Через час я буду иметь честь представить вас майору Прейскеру...

Ирма задрожала вся в ледяном, мурашками забегавшем ознобе. Силы оставляли ее, подгибались колени, вот-вот потемнеет в глазах, и она упадёт... И противная тошнота подступала откуда-то изнутри к горлу, сжимая его спазмами...

Флуг подошёл к ней и грубо рванул за локоть:

— Я люблю, чтоб меня слушались, и терпеть не могу повторять одно и то же! Время

бежит, потрудитесь одеться!

Шатаясь, она последовала за ним. Он посадил ее рядом с собою. Шофер пустил машину, и гудя, содрогаясь, с потушенными фонарями, бросилась она вперёд в ночную глубь, как сорвавшийся за добычею хищник.

Развить полный ход нельзя было во мраке. Да и очень уж плохая дорога, ухабистыми петлями убегавшая среди бугорчатых, сжатых полей.

В удушливом забытьё, до крайности ослабевшая, откинулась Ирма на мягкую спинку. Голова её кое-как была закутана в платок, взятый Флугом у краснощекой девушки.

Дорога обсажена приземистыми вербами. В темноте кажутся они больше, расплываясь неясными контурами.

Привыкший всегда быть начеку, Флуг зорко вглядывался по сторонам. И вот, когда мельница осталась позади в трёх-четырёх километрах, он увидел слева коротко вспыхнувший огонёк, и тотчас же за этим сухо щёлкнул выстрел... Свой разъезд или русский? Остановиться, дать сигнал, или мчаться вперёд сломя голову? Приблизительно в тысяче

шагов разглядел Флуг нескольких всадников. Еще огонёк... Еще выстрел... Флуг по звуку распознал, что это не свои, не дружественные немецкие карабины. И он отрывисто крикнул шоферу, и машина, ежеминутно рискуя разбиться о деревья, слепо, наугад помчалась бешеным вихрем — только воздух свистел. А Флуг тумачами в спину посылал шофёра все вперёд и вперёд...

И как на беду, шла дорога крутой излучиной, свернуть нельзя было никуда. Всадники по прямой, выгадав впятеро кратчайшее расстояние, могли отрезать автомобилю путь.

— Слышите, вы? Если они нападут, я пристрелю вас первым же делом! — шипел Флуг, тряся за плечо графиню.

Но Ирма ничего не слышала. Она потеряла сознание.

Флуг впивался глазами во мрак. Успеют! Карьером черти несутся!.. И уже впереди... Флуг задушить был готов шофёра.

— Скорей, каналья, мерзавец, скорей!..

Но скоро — нельзя было. Машина, как одержимая, летела мечущимися, короткими зигзагами.

Проклятие! Они выгадали время, спешили, и уже навстречу автомобилю — залп... Пуля, «цокнув», ударилась в металлический кузов... Еще и еще... Шофёр выпустил руль, свесился как-то вбок... Никем не управляемый автомобиль, словно взбесившись, вдруг заметался...

Нельзя терять ни мгновения. Флуг сбросил на землю теперь такого бесполезного, мешавшего только ему шофёра и, сев на его место, схватился за руль...

16. Жуткое...

Смелости у Флуга всегда было хоть отбавляй. Теперь же эта смелость выросла в какое-то дерзкое, отчаянное безумие. Выбора нет... Одинаково скверно очутиться в лапах этих неприятельских кавалеристов, или разбиться вместе с машиной... и, увы, самая слабая надежда — прорваться... О, будь ровная дорога, будь шоссе, Флуг прорвался бы на какое угодно пари!..

А спешившиеся всадники обстреливают машину на всем её беге, и вспыхивают огоньки, и сухо щёлкают выстрелы, как удар палки

по висящему ковру...

Флуг одновременно и правил, и держал наготове револьвер... Но вдруг красным пламенем заходило что-то перед глазами, короткий ожог на плече, и он выпустил руль и забыл про свой револьвер...

И опять никем не управляемая машина, сделав несколько зигзагов, утихомирилась в своём беге и — ряд каких-то медленных, нелепых, слабеющих толчков...

Ещё залп, уже последний... И люди, словно вдруг из-под земли выросшие, бегут к автомобилю...

Флуг заметался, как подстреленный зверь... Да и в самом деле его подстрелили...

Вправо чем-то длинным и чёрным близко подошёл к дороге лес... Флуг на тихом, замирающем ходу соскочил и, пригибаясь, путая «петли», бросился к лесу... Вдогонку ему прозвучал одинокий выстрел...

Автомобиль, чудом каким-то не расшившийся о деревья, стоял поперёк дороги... Пятеро человек окружили его...

— Бондаренко, у тебя фонарик?..

— Так точно... У мэнэ, ваше сыятельство...

— Освети!.. Там кто-то сидит...

Высокий, тонкий, названный вашим сиятельством, подошёл к автомобилю, держа револьвер наготове.

Вспыхнувший в руках Бондаренко сноп лучей электрического фонарика осветил неподвижную фигуру женщины. Она вся опустилась на дно, и только запрокинувшаяся голова и руки лежали на сиденье. Она была прекрасна — бледная, обеспамятевшая, со сбившимися прядями густых волос...

— Ни единой царапинки, ни крови, ничего... Значит, не ранена, слава богу!.. Надо попытаться привести ее в чувство...

— Бондаренко... Сбегай к коноводу, принеси коньяк из моих кобур!.. Да живее!..

Бондаренко передал фонарик соседу, бросившись туда, в темноту, где остался коновод с лошадьми.

Красивое лицо обеспамятевшей женщины положительно было знакомо офицеру. Он как будто встречал ее, но где и когда?.. Вообще все это приключение — загадка...

Разъезд — офицер, и пять нижних чинов — был в соседнем селе, верстах в десяти.

Польские мужики донесли, что с мельницы должен отправиться в Калиш обоз из нескольких фур с молотым хлебом, конвоируемый ландштурмом. К сожалению, кавалеристы узнали об этом слишком поздно, и обоз прошёл часами двумя раньше.

Вместо обоза — гудел по дороге автомобиль. И так как по направлению в занятый немцами Калиш могли ехать лишь немцы, поручик приказал обстрелять автомобиль и сделать все возможное, чтоб его задержать... Это удалось... Наполовину удалось... Канальи — их, кажется, было двое — убежали, оставив в виде приза эту женщину...

Наконец она приходит понемногу в себя. Помертвевшее лицо ожило какой-то слабой судорогой, тихо шевельнулись губы, дрогнули опущенные длинными ресницами веки...

Прибежал, звеня шпорами и придерживая шашку, Бондаренко.

— Давай!..

Офицер отвинтил у фляги оловянный стаканчик, налил коньяку и поднёс к губам женщины.

Открыв глаза, с испугом, щурясь на яркий

свет фонарика, она озиралась... Охватил ее ужас, и вся задрожала... Ей почудилось, что этот блондин-офицер, с бородою и вытянутым овалом лица — он, положительно он!.. — германский кронпринц, которого она видела несколько раз так же близко...

Заметив её страх, офицер пытался ободрить ее:

— Сударыня, мы — русские, не бойтесь... Мы не сделаем вам ничего дурного... Глотните коньяку, это вернёт вам силы?

— Русские!.. — У неё отлегло; вырвался вздох.

— Выпейте немного... Вам неудобно?.. — Офицер помог ей сесть.

— Я благодарна... Вы меня спасли... Я совсем плёхо гаварю русски язык...

— Будем говорить по-французски... Если вам нетрудно, скажите, как это случилось и кто вы?.. Но сначала позвольте представиться: уланский поручик, князь Солнцев-Насакин...

— Князь Солнцев-Насакин!.. — воскликнула Ирма. — Боже мой, я встречала вас в «Семирамис-отеле»!.. Я знаю вашу сестру, княж-

ну Тамару... Я вчера только видела ее в Варшаве... Знаю брата вашего, князя Дмитрия...

— Так вы — графиня Чечени?.. — воскликнул в свою очередь князь Василий. — Вот необыкновенная встреча! То-то ваше лицо показалось мне сразу таким знакомым... Судьба! После блестящего «Семирамиса» вдруг здесь ночью, среди поля, где рыщут немцы... Какое счастье, что вы живы!.. Мои молодцы обстреливали машину самым основательным образом. Весь кузов изрешетили... Да вот и здесь на передке... видна кровь... Вот еще...

Солдаты поражены были не менее своего офицера. И хотя не понимали ни слова, но не было для них никакого сомнения, что поручик и эта женщина, которую он привёл в чувство, знают друг друга.

— Однако не стоять же нам среди поля... Выстрелы могут привлечь немецкий разъезд, а нам в данном случае гораздо важнее сцапать этого гуся — мельника... Если машина не испорчена, я буду вашим шофёром, графиня... И мы вернемся потихоньку на мельницу... Дорогой вы мне расскажете все... Я вышлю вперёд моих людей, чтоб задержать

мельника... Мы же будем ехать сзади, потому что, если двинемся в первую голову, шум мотора может вспугнуть все это осиное гнездо предателей... На конь!.. — приказал офицер.

Солдаты бросились к лошадям, и через несколько минут полевым галопом мчались уже назад, к мельнице... А за ними, в полуверсте, Василий Насакин вёз в автомобиле графиню.

На шофера так и не наткнулись... Флуг с невероятной силою вышвырнул его, и он упал где-то у дороги...

К Шуберту доносились выстрелы. Но он не знал толком, в чём же дело, кто на кого напал, на чьей стороне удача, и не видел пока основания к бегству...

На всякий случай он заперся в доме. И когда, спешившись, уланы стали колотить прикладами винтовок в дверь, он долго не открывал, соображая, как ему быть: защищаться или покориться своей участи?

На его беду, трое немцев-рабочих — он мог бы их вооружить — захвачены были русскими. И так как они отчаянно отбивались, цара-

паясь и кусаясь, их связали.

Шуберт начал отстреливаться из окон. Тогда уланы высадили дверь, ворвались в дом и в конце концов обезоружили Шуберта, скрутив ему за спиною руки.

Увидев перед собою офицера, мельник обалдел. И ему, как и графине, в первую минуту почудилось, что перед ним сам кронпринц — до того разительно было сходство поручика с Вильгельмовым первенцем...

Князь допрашивал мельника в той самой комнате, где какой-нибудь час назад томилась узницею графиня. По соседству фрау Шуберт билась в истерике, и возле неё хлопотала монументальная девица с красным, теперь бледным, как стена, лицом. Даже руки, и те побелели...

Шуберт нагло отрицал все свои вины. Он — мельник, честный мельник, и нет ему никакого касательства ни до русских, ни до немцев... И если они воюют между собою — пусть, это их дело; он же — человек мирного труда... Он молот хлеб для немцев?.. Да!.. Он и не пробует отпираться... Завтра привезут ему хлеб русские — он будет его молоть для рус-

ских... Он — коммерсант, а не политик и не солдат... Что же касается всей этой истории с Флугом, Флуг привёз к нему эту даму, как жену свою... И не его, Шуберта, дело мешаться в семейные отношения и дразги...

Графиню — уж на что, кажется, видала разные виды — и ее поразила своей необычностью картина допроса. На столе мерцала свеча. На табурете, в рубахе, в солдатской шинели и в защитной фуражке сидел князь Василий. Тот самый блестящий улан, которого видала она за обедом, в «Семирамисе». И тут же — солдаты с карабинами, и у всех такой походный, мужественный вид. А Шуберт волнуется, весь багровый — того и гляди, хватит удар... Огонёк свечи как-то снизу, трепетно озаряет все лица, сообщая им чужое, странное выражение...

При обыске захвачен был весь багаж Флуга, весь, включительно до длинного, в бамбуковых обручах сундука, в котором немецкий шпион привёз графиню на эту проклятую мельницу. В остальных чемоданах, вперемешку с бельём и платьем, какие-то флаконы с порошками и жидкостью, всевозможные

инструменты, связки отмычек, привязные бороды, парики. Словом, во всей полноте багаж какого-нибудь Фантомаса-громилы.

Допрос кончился. Мельника увели. Ирма не знала, как благодарить офицера.

— Князь, вы спасли мне жизнь!.. Больше, чем жизнь!.. У меня слов нет...

— Полноте, графиня!.. Есть о чем говорить!.. На моём месте это сделал-бы всякий. А вот как нам быть с вами? Необходимо вас возможно скорее доставить в Варшаву. Ближайшая железнодорожная станция в наших руках, и туда сунуть своего носа не смеют немцы! Там вы уже в полной безопасности, а через несколько часов будете в Варшаве. Если вам нужны деньги, — я к вашим услугам... Пожалуйста, кланяйтесь моей сестре... Скажите, что я жив, здоров, чувствую себя великолепно в боевой обстановке, и если как-нибудь мне удастся съездить на денёк в Варшаву, я ее проведаю... Весь багаж этого мерзавца Флуга слишком занятный, слишком компрометантный, чтоб оставить его здесь... Он будет передан мною в штаб...

Только теперь, на свободе, когда сгинули

все страхи и ужасы, вспомнила Ирма, что за весь день у неё росинки маковой во рту не было. И вместе с князем, в этой же самой комнате, где ее держали под замком, она пила чай. Бондаренко, служивший до своей солдатчины поварёнком в одном из киевских ресторанов, угостил их чудесным омлетом.

И они ели и пили, вспоминая Петроград и «Семирамис-отель» и, попутно переносясь в эту мятежную, боевую обстановку, где так много щемящей кровавой жути, выходящей далеко-далеко за пределы обыкновенных человеческих рамок...

17. Подруги

В Варшаве погода стояла на диво чудесная. Солнце жгло, как в мае. И странным казалось, не к месту и времени, желтеющее убранство деревьев, и всякий невольно задавал себе вопрос: куда же девалось белое, как нерукотворные свечи, нежно-розоватое цветение каштанов?

И среди всей этой благодати, среди повышенных, ждущих с такой жадностью последних свежих новостей «оттуда», настроений, когда все улицы и кафе были полны экспансивной, гудящей толпой, каждый день прибывали партии пленных — австрийских и германских. Германцы не отличались разнообразием внешнего облика, которое сводилось главным образом к отяжелевшему ландштурму в плоских бескозырках и солдатам полевой армии в касках. Иногда монотонные шеренги этой белобрысой, на одно лицо пехоты расцветчивались гвардейскими уланами в киверах и «гусарами смерти» в зловещей траурной форме — все сплошь черное с белым и белый череп на меховой шапке.

Княжна и Сонечка каждое утро — не сидится дома, так и манит солнце — ходили смотреть пленных. Увидев однажды «траурного» немецкого гусара, княжна вспомнила Гумберга, о жестоких подвигах которого доходили все новые и новые вести.

— Почему их называют «гусарами смерти»? — спросила Сонечка. — Он тебе не говорил, твой бывший поклонник? А ведь красивая форма, очень красивая!

— Говорил. У них традиция — не сдаваться в плен живыми. А если нет возможности избежать плена, или пасть на поле битвы, они должны сами убить друг Друга.

— Однако же мы видели уже несколько этих гусар. Следовательно, традиция не особенно так уже строго соблюдается?

— Традиция одно, а жизнь другое, милая Сонечка. Этот негодяй рассказывал мне, что во время войны с Данией, что ли, не помню, эскадрон их попал в плен. И вот за это наказали весь полк — десять лет ходить с одной шпорой.

— С одной шпорой! — воскликнула Сонечка. — Да ведь это ужасно некрасиво. Подумай

только, с одной шпорой!.. Фи, я бы никогда не могла влюбиться в офицера с одной шпорой!.. Никогда, какой бы интересный он ни был!..

Австрийские пленные были куда красивее. Пестротой своих форм и национальностей, они как бы подчеркивали всю мозаичность «лоскутной монархии Габсбургов». Угрюмо озираясь волчьим взглядом, мало что не зубами щелкая, идет смуглый, обросший черными бакенбардами мадьярский гусар в голубой венгерке и сургучно-красных рейтузах. И тут же с ним рядом тирольский стрелок в шнурованных башмаках, серой блузе и мягкой шляпе с пером. Выше всех головою боснийские сербы в синих шинелях и красных фесках. И тут же польские, чешские, кроатские «шеволежеры» в самых фантастических головных уборах, начиная с каких-то странных, неуклюжих киверов и кончая малиновыми колпаками. Плюгавый и щупленький вид у австрийских пехотных офицеров из венских немцев. Плоскогрудые и узкоплечие, в своих куцых голубеньких мундирчиках, они пробуют петушиться, но выходит одна жалость.

Пленные славяне чувствовали себя в Вар-

шаве, как дома, видели во всём и во вся родное, свое, близкое, да и население относилось к ним совсем по-другому, чем к венграм и немцам. Оно видело в них братьев, не по своей воле очутившихся в беде.

Мечтою княжны было попасть в один из летучих санитарных отрядов, работающих на позициях. И она училась делать перевязки и ухаживать за ранеными, наблюдая сначала, как это делают другие.

У самого вокзала — большое, бесконечно-длинное пожарное депо приспособлено было для подачи первой помощи только что прибывшим раненым, перед тем как их развезут по госпиталям. Из каждого нового поезда, поезда скорби, санитары, наемные и добровольцы, начинали выгрузку раненых. С платформы доставляли их — всего несколько шагов пройти — в депо с целыми рядами коек и целой армией сестёр, врачей и сиделок.

К приходу каждого такого поезда — знакомые сестры извещали ее по телефону — княжна тут как тут. И ей приятно было сознавать себя полезной и физически сильной. И раненый казак или солдат с раздробленной

ногою мог опереться на её плечо всей тяжестью, и она, обхватив его, уверенно и твердо вела в барак. Там княжна исполняла возложенную старшими сестрами на нее черную работу, не требующую особых познаний, требующую одного лишь: любви к страждущему и братской заботы о нем.

Приходилось обмывать, как детей, беспомощных раненых, которые несколько дней назад были здоровенными — кровь с молоком — богатырями.

И, накинув поверх своего чёрного траурного платья серый, застегивающийся сзади балахон, эта девушка, дома никогда не одевавшаяся без помощи горничной, превращалась в заправскую сиделку-работницу.

Здесь ей совсем близко приходилось наблюдать и видеть на каждом шагу такое терпение, выходящее за пределы всякой человеческой выносливости, такой героизм и такую несокрушимую силу духа, что она забывала на время и свой собственный роман и того, о ком так мучительно думала. И все личные переживания, несмотря на весь эгоизм любви, казались ей чем-то маленьким-маленьким в

сравнении с тем, что совершается вокруг...

Давно ли самое слово «раненый» как-то скользило мимо, и все эти «раненые» сливались для неё в одну сплошную, серую массу людей — кто на костыле, кто с перевязанной рукою, кто с забинтованной головой. И все на одно лицо и вряд ли отличишь их друг от друга.

Теперь, когда она подошла к ним так близко, теперь совсем-совсем другое. Что ни фигура — то свой собственный тип, свои собственные страдания, своя собственная история.

Пришлось обмывать ей одного казака. Первое впечатление — ужасающее. Это не голова, а сплошной ком засохшей болотной грязи. Буйные казацкие волосы производили впечатление какой-то застывшей гривы, сделанной скульптором из глины. И все лицо, как в маске: набилась грязь и в ноздри, и в уши, и в рот, и не видно было глаз.

И когда Тамара обмыла все это губкою и полотенцем — мутная вода ручьями бежала, — на нее глянул человек, пулю раненный в шею.

Он был с дозором в Мазовецких болотах.

Лошади завязали по самые колени, — шагом трудно было продвигаться. Их обстреляла немецкая пехота. Раненый казак упал и, затыкая ладонью хлещущую фонтаном из шеи кровь, пополз. Два дня и две ночи пролежал он в болоте, не смея двинуться, потому что кругом были немцы. Пролежал по горло в студеной жиже. И только тем и спас себя от потери крови, что залепил рану грязью. Высунет голову, увидит, что поблизости немцы — сохрани Бог, заметят, пристрелят в лучшем виде, — окунётся с головой, пока лишь дыхания хватит. Опять выглянет, озираясь... И так двое суток, в холодном, осеннем болоте, между страхом смерти и жаждою спасения... И вот пришли свои, отбросили немцев, и вытащили казака.

Тамару поразило бесхитростное, скромное повествование этой двухдневной эпопеи. И так он просто, с виноватой, застенчивой скромностью рассказывал, словно это в порядке вещей и ничуть не выходит за пределы серенькой боевой обыденщины.

И он, этот казак, один бог знает, что переживший и передумавший в своём болоте, —

не исключение. Здесь, кругом, на этих же самых койках много таких, как он...

И как это все характерно для отваги и выносливости русского солдата. Совершая подвиги, он вполне искренно не придаёт им никакого значения. Совсем другое — храбрость западного солдата. В ней всегда какой-то нарядно-декоративный, бравирующий оттенок. Он знает цену тому, что совершил...

И, как всегда, так и здесь, в этом бараке страдающих от увечий и ран людей, трагическое уживалось бок о бок со смешным и забавным.

Привезли громадного великана эстонца из конных артиллеристов. Это было такое страшилище, что, когда его несли, голова и ноги, не помещаясь на носилках, свешивались. Его ранило осколком снаряда в живот. Рана тяжелая, но эстонец переносил ее с каким-то хмурым величием. Его крупное, с большими чертами лицо, хранило спокойствие. Он обратился к Тамаре:

— Сестлица, дай покулить!..

Тамара дала ему папироску. Он затянулся и, пустив дым, глянул на соседнюю койку.

Там лежал с забинтованной головой венгерский гусар; стиснув зубы, он протяжно сто-
нал.

Эстонец, отвернувшись и сплюнув, молвил
Тамаре:

— Сестлица, убели его подальше, а не то я
его убью.

— За что же ты его убьешь?..

— Он наш враг!

— Он был нашим врагом там... на поле сра-
жения. А теперь он несчастный, беспомощ-
ный, да и жить ему осталось немного...

Эстонец помолчал, жуя губами, что-то со-
ображая. И после долгой-долгой паузы — да-
же паузой нельзя назвать, битый час мино-
вал — вдруг спросил:

— Сестлица, он еще жив?

— Жив, а что? — удивилась княжна.

— Дай ему папироску!

К вечеру оба соседа сблизились и, хотя
один ни слова не понимал по-венгерски, а
другой по-эстонски, они умудрялись как-то
объясняться между собою...

Сонечка тоже хотела быть полезной и по-
могать Маре. Но у неё ничего не выходило. И

рада бы душой, а не выходило. У княжны были крепче нервы и, кроме того, Сонечке мешала брезгливость, которую она никак не могла преодолеть. Однажды, во время перевязки тому самому венгерскому гусару, которого эстонец сначала хотел убить, а потом угостил «папи-лоской», когда врач смазывал йодом пульсирующий мозг обнаженного черепа — целый кусок был снесён осколком, — Сонечке сделалось дурно, и княжна приводила ее в чувство. После этого Сонечка не заглядывала в барак. Да и не было времени. Подоспел новый роман и, как водится, очередное Сонечкино увлечение было «титолованное».

— Марочка, я его так люблю, так люблю! Я еще никогда не была влюблена, как в него!

— Ты говоришь это всякий раз.

— Ах, нет же! Раньше было совершенно другое, а это совершенно другое! Ты не понимаешь...

— Может быть, милая. У меня в голове совсем не это. Я каждый день вижу столько самых тяжёлых страданий, что сочувствовать тебе никак не могу.

Сонечка совсем по-детски надула губки.

— Вот видишь, какая ты!..

— Какая?

— Такая! Эгоистка и больше ничего. Я ужасно хотела поделиться с тобою. А теперь я тебе не скажу ни слова.

Но через минуту Сонечка уже улыбалась, и сияла бездонной синевой глубина её прекрасных очей.

— До чего же он красив, Мара! Вот красавец!.. Молчу, молчу! — спохватилась вдруг Сонечка. — Спрашивается, зачем это я, раз никому и не интересно?.. Я думала, у меня есть подруга... Ты нехорошая, Мара... Я здесь одна, совсем одна... Зачем я сюда приехала? Зачем?..

И Сонечка готова была расплакаться.

18. Бандиты в офицерских мундирах

— А я вам чистейшим немецким языком повторяю, что мне до ваших отговорок нет решительно никакого дела... Где достать? Где достать? На то вы и местный бургомистр! Хотя с луны возьмите!.. Мне что?.. Но, повторяю, если не будет овса хоть для двух эскадронов, по крайней мере на неделю, десяти тысяч сигар и мало-мало пяти тысяч бутылок пива, я вас не пощажу!.. Я отправляю вас в познанскую тюрьму заложником, и там вас великолепно сгноят!.. Что вы на меня таким волком смотрите?..

— Взгляд от Бога, господин майор...

— Да? Вы находите? Вообще, господин бургомистр, все ваше с первого же дня поведение мне, майору Прейскеру, весьма и весьма не нравится... Что вам советовали сделать, когда авангардный разъезд оповестил город о моём приближении?

— Выйти к ним навстречу с хлебом-солью и городскими ключами...

— Ага!.. Так почему же вы не сделали этого?.. Не изъявили покорности?

— Потому что я не изменник своему Отечеству и своему Государю... И желаю, чтоб, когда вы уйдете отсюда, совесть моя была чиста перед Богом и Родиной...

Прейскер, высокий, плотный, в синем уланском мундире и с красным, как фонарь, лицом человека, много пьющего, поправил в глазу монокль.

— Ха-ха... Мне нравится ваша наивность! Хотя это скорее дерзость, чем наивность!.. Вы думаете, что мы отсюда скоро уйдём? Как бы не так!.. Мы начали завоевание Польши, и — что у нас теперь?.. Двадцатое сентября?.. Мое вам честное слово прусского офицера, что в конце этого месяца, я во главе моих улан церемониальным маршем въеду на моём Блюхере в русский собор, что против Саксонского сада...

Бургомистр молчал. Нервно вздрагивали тонкие губы. Он молчал, одинаково боясь и разрыдаться и, забывшись, наговорить этому самодовольному, вечно полупьяному наглецу дерзостей.

Чтоб Прейскер видел его слезы, эти невыплаканные слезы бессильного бешенства? Ви-

дел и глумился над ним? Боже упаси!.. А если бы он дал волю готовой сорваться брани, — какая польза?.. Прейскер велел бы его расстрелять... Осиротела бы семья... Да что семья, весь город, наполовину разрушенный и сожженный, осиротел бы, потеряв своего единственного заступника.

Месяц назад, калишский бургомистр Буковинский, плечистый, сорокалетний брюнет, был человеком несокрушимого здоровья. Теперь от всех виденных и пережитых кошмаров он исхудал, осунулся, став тенью прежнего Буковского. И волосы, и борода его — наполовину седые.

Не проходило дня, не проходило ночи без пожаров, убийств, грабежей, насилий. Дикой и пьяной ордою хозяйничали пруссаки в занятом городе.

Прейскер отпустил наконец Буковского.

— Я вас не держу... Прошу помнить: овёс, пиво и сигары!

— Овса не наберется и несколько корцев [11], если б вы даже меня четвертовали, — с порога, проходя мимо двух улан с обнаженными саблями, отвечал бургомистр, — есть,

да и то в небольшом количестве, запас ячменя...

— Благодарю покорно... — иронически звякнул шпорами «комендант» Прейскер. — Ячмень — это уже самое последнее дело... Удивляюсь, господин бургомистр, как это при ваших немецких «симпатиях» вы не предложили нашим лошадям ржаного или даже пшеничного зерна? Тогда все лошади до единой издохли бы...

Своей резиденцией Прейскер избрал покинутый губернаторский дом. Во всех парадных комнатах — вавилонское столпотворение. Везде красовались пустые бутылки. Диваны с дорогой обивкою прорваны были шпорами валявшихся товарищей Прейскера да и самого блистательного майора. Сюда уланские офицеры силою затаскивали польских и еврейских девушек... Там и сям, на коврах, под столами и креслами — «забытые» черепаховые шпильки, цветные ленточки, пуговицы, оторванные с «мясом»... Весело жилось «победителям»...

Они изгадили все, что можно было изгадить. Изрезали саблями картины и портреты,

а два мраморных бюста под пьяную руку превращены были револьверными пулями в бесформенные груды осколков.

Чем ближе к вечеру, тем нетерпеливее становился Прейскер. Он ожидал с часу на час Флуга, пообещавшего ему красавицу венгерку. Что-ж, он будет судить ее военно-полевым судом, но сначала необходимо потешиться... Он проведёт с нею ночь, потом отдаст ее вахмистру, вахмистр — унтер-офицерам, а потом... потом ее благополучно повесят.

Вот уже и вечер, по-осеннему длинный, холодный и темный. А Флуга нет как нет... Прейскер заглядывал в окна. Улица вымерла, и какая-то затаившаяся жуть была в её мертвой пустынности. Обыватели, под угрозой жестокой расправы, не смели выходить из домов с темнотою. Не смели зажигать свет...

Проходили натруди, держа винтовки на изготовке, и слышалось какой-то протяжной угрозой:

— Ха-а-льт!..

Конский топот. Ближе и ближе. Рысью подходит справа по три большой, всадников в тридцать, разъезд. Прейскер по силуэтам

угадал гусар в меховых шапках. Часовые отдадут честь офицеру, в котором прилипший носом к стеклу майор узнал Гумберга.

Звенят его шпоры, гремит его сабля... Входит Гумберг в черной теплой, подбитой мехом венгерке, пахнувшей теми же пряными сладковатыми духами, которыми он душился в Петрограде.

— Ну что Флуг?..

— Нет еще... Странно... Должен быть...

— Не задержало ли его что-нибудь? А я нарочно приехал, желая встретиться с прелестной графиней Чечени. Это будет пикантно... Кстати, я хочу предложить: разыграем ее?.. Чья первая очередь?..

— Ну нет! Не согласен, мой дорогой Гумберг... Это моя законная добыча, и я не уступлю никому моего права — права сюзерена...

— Как хочешь... Нет ли у тебя пива? После нескольких часов в седле у меня жажда...

— Ганс! — заорал на весь дом Прейскер и вбежавшему тотчас же обалдевшему, с глазами навывкате денщику приказал откупорить пиво.

Приятели сидели в губернаторской столо-

вой под электрической люстрой, чокаясь, один металлической кружкой, другой — чайным стаканом. Вся посуда была перебита немцами раньше, когда, безобразничая во славу своего кайзера, под крики «хох», они швыряли на пол тонкие хрустальные бокалы и фужеры.

— Что нового? — спросил Прейскер.

— Ничего особенного! Хотел выехать на встречу Флугу, но поостерегся... Мне донесли, что в районе мельницы уже рыщут небольшие конные разъезды русских. А столкнуться с ними в сумерках, лицом к лицу — нет ни малейшей охоты. Рубят все эти каналы, отдать им справедливость, очень недурно... Помнишь, я тебе писал еще из Петрограда, что у них образцово поставлена рубка?

— Дальше...

— Дальше?.. Днём я повесил в одной деревушке нескольких поляков и двух жидов. Иначе нельзя!.. Необходимо нагонять ужас... Вообще обо мне ходят легенды, о моей жестокости... Мне надо быть особенно осторожным, потому что за мною охотятся... Да, представь... Когда мы их вешали, один рядовой по-

ляк — фамилия этой польской свиньи Ковальский — что-то замешкался и буркнул по своему какую-то чушь, вроде того, что он, мол, представлял себе войну несколько иначе... Как это тебе нравится? Я его вытянул стеклом по спине... Но этого мало... Необходимо его расстрелять.

— А знаешь что? — оживился Прейскер. — Позови-ка его сюда... Мы его проэкзаменуем из «катехизиса»...

— Великолепная мысль! Это нас позабавит, пока подоспеет Флуг...

Гансу, обладавшему способностью немецкого солдата мгновенно превращаться на глазах начальства в обалделый соляной столб, велено было позвать гусара Ковальского и чтоб с ним еще один рядовой и один унтер-офицер...

— Угощу тебя русской папиросой, — предложил Гумберг.

— Давай! Ого, золотой портсигар!.. Откуда это? — с завистью вырвалось у Прейскера. Он взвесил на руке массивный, плоский портсигар. — Марок... марок восемьсот надо заплатить... Откуда?

— Откуда... — улыбнулся Гумберг. — Купил у одного пленного русского офицера...

— Купил!.. Это на тебя непохоже... Ты слишком умен, чтоб покупать вещи у пленных.

— Ты прав, мой друг. Дело несколько иначе обстоит... И этот золотой портсигар...

— Ну-ну?.. — заинтересовался Прейскер, вытягиваясь в кресле и забрасывая ногу на ногу.

— Видишь ли... Мне иногда приходится сталкиваться с некоторыми из своих прежних петроградских знакомых... Но там мы встречались в полковом собрании, в некоторых гостиных, а здесь, здесь отношения другие... И вот, был корнет Дорожинский... Милый, в сущности, мальчик, богатый... У него в квартире был небольшой фехтовальный зал... И в общем, было очень, пожалуй, весело... Затем ужин с шампанским... Я у этого Дорожинского перехватил даже пятьсот рублей, перед своим отъездом...

— Бегством, — поправил Прейскер.

— Пусть бегством, не всё ли равно? Дело не в этом... и, представь, дня три тому назад я в

полукилометре наткнулся на неприятельский дозор из двух всадников... Со мной было четыре... Я велел спешиться и открыть огонь. Они же, русские, имели глупость, которая называется храбростью: вместо того, чтоб повернуть назад, броситься вперёд... Солдата мы свалили замертво, мешком упал, а офицер, оказавшийся этим самым Дорожинским, успел доскакать раненый и тоже упал. И мы узнали друг друга... Это был момент в высшей степени интересный... В его глазах я прочёл какую-то надежду... Но ты знаешь мой принцип — не брать в плен, даже раненых... А он был ранен тяжко. В грудь, навывлет. Не возиться же с ним... И... ты понимаешь?..

— А что ты нашёл у него еще, кроме портсигара?

— Во-первых, эти прелестные часики, с золотым браслетом, во-вторых, бумажник. Там было около четырехсот рублей. Деньги я взял себе, а остальное выбросил. Остальное — письма его невесты и её портрет...

— Счастливец! Вот счастливец!.. — опять с завистью вырвалось у Прейскера. — Если тебе повезёт и дальше, война может сделаться для

тебя прибыльным ремеслом... А скажи, он знал, что ты его пристрелишь?

— Знал.

— И не просил пощады?

— Нет!.. Гордость мешала... Но в его взгляде было столько презрения... Если бы взглядом можно было убивать, я не сидел бы сейчас с тобою за пивом. Об одном лишь просил, чтоб я и эту карточку, и эти письма переслал его невесте. Кстати, я даже знаком с нею... Дочь одного генерала... Но это уже сентиментальности... Очень нужно! Есть у меня время заниматься корреспонденцией... А вот и шаги, ведут мерзкого полячишку... Мы ему устроим экзамен!

И Гумберг, предвкушая удовольствие от «экзамена», потирал свои небольшие, холёные руки.

Прейскер подтянулся, сделал серьезное лицо, вправил монокль и принял внушительную позу...

19. «Они забавляются»

— **А** так вообще он хороший солдат? — спросил майор.

— Друг мой, хорошим солдатом может быть только немец, у которого дисциплина, повиновение начальству возведены в перл сознания... Он хороший ездок, и только... Все эти поляки, чёрт бы их побрал, словно срастаются вместе с лошадьёю. Центавры! Да, к сожалению, лучшие ездоки — это Познанское быдло... Наш крупный и мощный германец хорош и незаменим в пехоте, да в тяжёлых драгунских и кирасирских полках. Впрочем, ты сам это и без меня знаешь великолепно...

В сопровождении унтер-офицера и рядового — они ввели его с обнаженными саблями — вошел бледный, взволнованный Ковальский. После того как герр рит-мейстер вытянул его по спине своим камышовым стеком, поляк не ожидал ничего хорошего. Да и что хорошего может сулить солдату-поляку «беседа» с прусским офицером, потребовавшим его к себе ради одного лишь глумления?..

Ковальский — довольно высокий, стройный блондин, с тонким, типично польским лицом. Венгерка, рейтузы и сапоги — вся казенная форма сидела на нём, как своя собственная. Рядом с приземистой неуклюжестью белобрысых, широколицых немцев он выделялся и своим изяществом, и породой.

— Ближе поди сюда! — каким-то визгливым тенорком крикнул Гумберг.

Ковальский размеренным учебным шагом, но без немецкой утрировки, подошёл к офицеру и, звякнув шпорами, левой рукой придерживая саблю, правую поднеся к маховой шапке с белым черепом, вытянулся.

— Что такое? Сабля?.. Польская свинья, ты не достоин носить саблю! Унтер-офицер Румпель, отстегните у него саблю!

Румпель, отъевшийся унтер-офицер с порядочным животиком, нагибаясь и пыхтя в щетинистые, прокуренные усы, отстегнул у Ковальского саблю.

Прейскер, надутый и чванный, приготовился к любопытному зрелищу.

— Унтер-офицер Румпель, рядовой Шиман, встаньте по бокам этого негодяя-полячишки...

Раз — раз — раз... Оба солдата, в три темпа, механически «перестроились», и неподвижный, покрытый смертельной бледностью Ковальский очутился между ними. Неподвижный — это казалось только. Он весь незаметно дрожал, и вздрагивали пальцы руки, отдававшей честь...

Гумберг встал и близко подошёл к проштрафившемуся солдату.

— Ну, ты, знаешь «катехизис»?.. Смотри мне в глаза!

Ковальский молчал.

— Ты знаешь катехизис? — повторил Гумберг, как-то зловеще закусывая нижнюю губу.

В ответ, чуть слышно:

— Знаю...

— Кто самый великий человек на земле?

— Кайзер Вильгельм...

— В чём его главные заслуги?

— Кайзер Вильгельм поднял могущество Германии, могущество, созданное Бисмарком...

— Так... Еще?.. Дальше?..

Ковальский молчал. Он знал, что за это молчание его ждут побои. Знал... Видел, как

пошло судорогою холенное, бритое лицо Гумберга, но сил не хватало вымолвить.

— Дальше!..

И Гумберг подошёл к нему еще ближе, вплотную. Ковальский слышал запах пряных духов, исходивших от подбитой мехом венгерки. Ковальский молчал, стиснув зубы.

— А-а... Не нравится... Не нравится! Скажешь или нет?

И выждав секунду, Гумберг ударил Ковальского по щеке. И бледная, без кровинки, она вспыхнула розовым оттиском ладони со всеми пятью пальцами... Голова солдата откинулась на мгновение в сторону, и опять все по-прежнему...

Эта пощечина опьянила Гумберга. Глаза вспыхнули каким-то безумием, ходуном заходили его тонкие ноздри.

— Ну, повторяй за мной: одна из величайших заслуг кайзера Вильгельма в том, что он держит в ежовых рукавицах всех польских собак и свиней княжества Познанского... Повтори!

Ковальский, монотонно, прерываясь, начал:

— Одна из величайших... заслуг кайзера Вильгельма...

— Дальше! — нетерпеливо топнул ногою ротмистр.

— В том, что он держит...

— Дальше, скотина! Дальше, проклятое быдло!

Ковальский не мог «дальше». Он знал, что сейчас же начнется избиение, — но, будь что будет... Несчастный солдат закрыл глаза, чтоб не видеть искаженного зверского лица Гумберга. И он не видел его, только чувствовал противный, мутящий голову сладковатый запах...

— А-а, полячишка, не любишь?.. Здесь, на этом месте, осечка... И ничем, ничем, не вошьёшь в вас, проклятых, сознание долга беспрекословно повиноваться...

И удары, на этот раз уже кулаками, посыпались на Ковальского. И он стоял, не смея шевельнуться, не смея даже вытереть кровь, хлынувшую из носа и разбитых губ. Малейшее движение — и оба стража, Шиман и Румпель, тотчас же раскроют ему саблями череп... И только голова, как неживая, моталась и

вправо, и влево, то вперед, то назад, от этих ударов. И кровь стекала на венгерку и напITYвались ею белые, траурные шнуры.

Гумбергу надоело бить. Он скорчил брезгливую гримасу, увидев на пальцах своих кровь.

— Уведите эту сволочь и закройте ее куда-нибудь в конюшню или в свинячий хлев. А завтра мы еще с ним побеседуем! Да чтоб не смел подходить к нему даже близко никто из поляков эскадрона. Слышите, Румпель?..

— Есть, господин ротмистр!..

Ковальского, оглушенного, окровавленно-го, шатающегося, увели, а Гумберг, кликнув Ганса, велел принести себе таз с теплой водой и полотенце. И тщательно вымыв руки, он спросил майора:

— А правда, я страшен в гневе?

— Молодец... Ты его ловко обработал, полячишку паршивого!.. Но ты, мой друг, не знаешь одного секрета — надо сложить руку раковинной, ладонь, видишь, вот так... Один легкий удар — и барабанная перепонка готова! Человек оглох!.. Ну, давай, будем пить свое пиво...

— Прозит!

— Прозит!..

Офицеры чокнулись. Гумберг поднёс к глазам кисть левой руки, охваченную золотой браслеткою-часиками.

— Слушай, Прейскер... Я начинаю беспокоиться...

— Да, в самом деле... Где же это Флуг?

— А-а, тебя разбирает нетерпение... Ты уже предвкушал объятия очаровательной венгерки...

— Нет, кроме шуток... Одно из двух — или он почему-то задержался, или где-нибудь в пути его зацапали русские.

— Последнее было бы печально. С Флугом не поцеремонятся... Но будем надеяться на благоприятный исход. А пока что, не угостишь ли ты меня, как добрый хозяин, какой-нибудь интересной красоткой?

— Отчего же... У меня по этой части ходок вахмистр Фремель. Славный парень! На все руки мастер. Он жил здесь, в Калише, под видом... чёрт его знает под видом чего... И знает здесь все и вся. Он таскал ко мне и полек, и жидовочек... У него это дело просто — вламы-

вається в дом чуть ли не целым взводом, и «пожалуйте бриться». А если мужья, отцы, женихи и братья осмеливаются протестовать, расправа с ними очень короткая... Но что это, кажется, подъехал кто-то?

Прейскер подошёл к окну. Он увидел, как слез с мужицкого воза высокий человек в штатском. Его не хотели пропускать часовые, скрестив перед ним винтовки, но он повелительно заорал на них, и часовые расступились.

— Бог мой, Флуг!..

Да, это был Флуг. Но Флуг потрепанный какой-то, без шапки и с перевязкою наспех, са-модельною, у плеча. Измятое пальто его было в колючках репейника.

Флуг в изнеможении упал в кресло. Гумберг и Прейскер обступили его.

— Что с тобою?..

Флуг только рукой махнул:

— Все против меня!.. Дьявольское невезение... И если я сейчас перед вами, а не бегу на веревке за лошадьёю русского солдата, я объясняю это разве чудом...

И он описал обоим приятелям свое зло-

ключение.

— Сопротивляться при таких условиях — чистейшее безумие... На мое счастье, в двух шагах от дороги — лес... Преследовать меня было бы рискованно... Я мог бы их из-за прикрытия если не всех перестрелять, то, во всяком случае, уложить добрую парочку...

— А что с графией?

— Почём я знаю?.. Вопрос!.. Может быть, в нее угодила шальная пуля, может быть, она жива и невредима... До того ли мне было, чтобы интересоваться её судьбою... Я спасал свою шкуру... Притаившись в чаще, я угадал по шуму мотора — к сожалению, машина оказалась не испорченной, — что они двинулись назад, к мельнице. Судьба этого бедняги Шуберта незавидная... Переждал с полчаса и решил выйти на дорогу. Тихонько побрёл по направлению к нам. К счастью — мужик едет навстречу... Я пригрозил всадить в него пулю, велел повернуть назад и гнать вонсю. И вот я здесь, как видите, в единственном числе...

— К сожалению, в единственном, — подхватил Прейскер. — А я так надеялся...

— Ты наказал Прейскера, — усмехнулся

Гумберг. — Ты оставил его без сладкого...

— Я сам себя наказал еще хуже... — молвил с угрюмой досадою Флуг. — Накормите меня. Я голоден и есть хочу адски! А потом — доктора... Пусть перевяжет как следует... Рана хотя и пустячная, скорей царапина, пуля сорвала кусочек мякоти... Но все же... Будь они прокляты! Все так хорошо наладилось и вдруг... Да вообще, если так близко появились разъезды их... Прейскер, есть, умираю, есть!..

Ганс побежал на кухню.

Все трое поужинали на славу, запивая неизменным пивом громадные свиные котлеты с капустою и картофелем. Дымя сигарами, болтали о еде, о женщинах, о дисциплине...

Гумберг вспомнил, как на маневрах однажды офицеры полка, очутившись в Силезской деревушке, где нельзя было ничего достать, ели жареных кошек. Солдатам приказано было изрубить всех кошек... И ничего! Было довольно вкусно... Уплетали за обе щеки. И даже лейтенант, владетельный князь Турн и Таксис, даже этот богатый, избалованный человек и он был доволен...

— А женщины? — вдруг спохватился Гум-

берг.

— Я сейчас велю позвать Фремеля... Ганс!

В этот миг, забыв всякую дисциплину, убежал унтер-офицер Румпель. Испуганный, дрожащий...

— Что такое?

— Ковальский убежал...

Гумберг вскочил в бешенстве:

— Что?.. Убежал? Мерзавцы!.. Найти! Сейчас же выслать разъезды по всем направлениям. А не найдете, я сорву с вас нашивки... Вон, сию же минуту! Чтоб был мне Ковальский!..

20. Вовкины терзания

Криволицкий успел так привязаться к ней, так оплела она его незаметно силою чувственной привычки, что двухдневная разлука уже рисовалась чем-то тяжёлым и трудным.

Взять ее с собою?.. Он думал об этом, но, пожалуй, — рискованно... Лодзь — свержнемецкий город, кишит немцами и, почём знать, быть может, Флуг там орудует вовсю? Ах, этот Флуг...

Вовка поехал один. Ирма проводила его. И там, на Венском вокзале, у вагона первого класса, они поцеловались. И Вовка, сам не зная, как это вышло, перекрестил графиню. И она была тронута. В самом деле, это вышло трогательно...

И весь поезд, и один-единственный вагон первого класса битком набиты. Многие стоят в коридорах, проходах. Галантные поляки уступают дамам свои места. Ехали лодзинские евреи, старые и молодые. Старые — в длинных кафтанах и плисовых картузах. Молодежь — с иголочки одетая, по самой послед-

ней моде.

И весь поезд, весь, начиная с набитого, кишевшего беднотою третьего класса и кончая публикою бархатных диванов первого, — у всех только и речи, что о последних событиях войны.

Говорили о сожжѣнных и разграбленных усадьбах и замках, о калишских зверствах Прейскера. Старый, горбоносый пан, месяц назад богатый помещик, а теперь ставший круглым нищим, сам пережил весь калишский ужас. Его имение всего в трех верстах от города...

Он тоже едет в Лодзь. Он обещал показать Вовке одного почтенного «пана-обывателя», мгновенно потерявшего рассудок. Прейскер на его глазах, глазах отца, обесчестил дочь... Отец был крепко привязан к тяжелому креслу своей собственной гостиной... Старик помешался... Немцы отправили его на общественные работы. Эти «общественные работы» — сооружение траншей и проволочных заграждений на случай, если б русские явились отнимать Калиш.

Германские солдаты бичами сгоняли на

эти общественные работы чиновников, помещиков, обывателей. И чтоб никто не мог убежать, их связывали одной общей веревкою. Так поступали в давнее время плантаторы с неграми. Кроме того, у каждого несчастного снимался один сапог.

И вот, обезумевший, осиротевший отец — Прейскер, в порыве какого-то дикого садизма, зарезал его дочь, надругавшись над нею, — убежал и находится теперь в Лодзи. Убежал в одном сапоге...

Этот рассказ никого не удивил. Жестокость немцев хорошо знакома была многим из слушателей. Кто испытал ее на своём личном, горьком опыте, кто на примере своих близких и родных, замученных и расстрелянных...

Молодой еврей с черной бородкою и жемчужиной в галстуке, лодзинский обыватель, сообщил о разгроме целой семьи своего дяди, калишского купца Каплана... Шестеро детей Каплана, заколотых штыками, были положены в ряд на мостовой, и немцы запретили хоронить трупы. Голодные, бродячие собаки жадно терзали в клочки детское мясо...

Вовка, относительно свежий человек в

крае, холодел от ужаса и негодования, слушая эти рассказы. А их было много — рассказов... Чистенькая старуха, благообразная, в чёрном, все время плакала, вспоминая, как был замучен её сын-гимназист, по одному лишь подозрению, что он якобы стрелял из окна по проходившей немецкой колонне...

Вот и «польский Манчестер», с его сотнями труб, на громадном пространстве поднимавшихся над равниною. Но не дымилась трубы. Ни одной струйкой... И в будний, рабочий день это производило какое-то жуткое впечатление...

Вовка остановился в «Гранд-отеле», вполне европейской гостинице — последнее слово комфорта — любой столице впору. Вялая, сонная, двигалась прислуга... И немудрено: из пятисот номеров только шесть было занято. Седьмой — Вовка. В широких, устланных ковром во весь пол коридорах пусто и тихо...

И надо же случаю: соседом Криволуцкого оказался Борис Сергеевич Мирэ. Вовка и помощник редактора газеты «Четверть секунды» несказанно удивились друг другу. Вовка не ожидал встретить Мирэ вообще и в таком

фантастическом наряде — военного корреспондента — в частности. Борис Сергеевич дивился, в свою очередь, военной шинели и серебряным погонам, так преобразившим Вовку.

— Вот встреча!.. и знаете, Владимир Никитич, эта форма определенно идёт к вам! Вы мне так нравитесь больше, чем в штатском. А я сюда командирован газетой... Вернее, сам себя командировал. Я вместе с женой... Жена осталась в Варшаве... Сюда взять, с собою, знаете, небезопасно... Здесь, как на вулкане... Затишье, перед извержением Везувия... Того и гляди, могут прийти немцы...

Мирэ был во всем блеске... Пестрая куртка, пёстрые панталоны, которые он сам окрестил «фасоном зуав». У кожаного пояса висел — в новенькой, лоснящейся кобуре — механический пистолет. Ноги зашнурованы были в высокие, желтые, до колен башмаки. Словом, получался опереточно-воинственный вид, который можно было простить Борису Сергеевичу за его мягкую улыбку и обволакивающий взгляд таких близоруких глаз, смотревших сквозь пенсне.

— Как вы находите мое снаряжение?

— Вы напоминаете охотника за львами.

— Это пахнет уже Тартареном из Тараскона... Львиный охотник... Слишком много чести для немцев! Потому что какие же это львы? Скорее всего, гиены... Я здесь уже второй день. Впечатлений — океан!.. Многих успел расспросить, был у полицмейстера. Обязательный, милейший человек, но, увы, бессилён что-нибудь предпринять... Ах, эти немецкие фабриканты! Они даже теперь — громадная сила и никого не боятся. Волосы дыбом становятся, что они вытворяют. Государство в государстве... До сих пор переговариваются по телефону с Познанью и Силезией. И нельзя обнаружить этих телефонов, — так они искусно запряты. А какой приём устроили они своим любезным соотечественникам, когда те сюда впервые изволили пожаловать. На этой же самой Петроковской улице фабриканты угощали солдат жареной поросятиной, колбасою, выкатили несколько бочек пива... А офицерам задали шикарный банкет, с портретом Вильгельма среди тропических растений и разливанным морем шам-

панского... Но как они потом удирали... Немцы-гости! Как они удирали! Пехота лупила во все нелёгкие на мужицких телегах. Несколько сот лошадей загнали... А возниц-мужиков, вынужденных ехать под ударами прикладов, потом, в благодарность, избили до полусмерти, оставив себе и телеги, и часть лошадей, не успевших лечь костями после бешеной скачки на пространстве целых десятков вёрст. Вот вам немцы... Что вы делаете сейчас? Время обеденное... Давайте, посидим где-нибудь, на открытом воздухе.

Я вам еще кое-что порасскажу...

Вовка в точности выполнил протелеграфированное ему Арканцевым поручение и на другой день вместе с Мирэ возвратился в Варшаву.

На Венском вокзале, пообещав друг другу свидеться, они разъехались. Мирэ отправился к себе, на Госпитальную улицу, в «пансионат» пани Кособуцкой. Вовка — в «Бристоль». Он весь горел нетерпением... Через минуту нежные, точёные, гибкие руки обнимут его... Через минуту — и у Вовки вдруг стало сухо во рту при одной мысли, какое блаженство на-

ступит через минуту...

И он спросил главного портье, занимавшегося разборкою писем:

— Графиня Чечени у себя?

Портье смотрел на него каким-то бессмысленным взглядом.

— Графиня Чечени?.. Их нету... Она уехали... Совсем уехали!

— Куда? Не может быть!.. Вздор! Да говорите же толком!..

Но именно толку-то и не мог добиться от него Криволуцкий. Бросился к директору. Директор в своём кабинете распекал конторщика. Увидев Вовкину шинель, директор побледнел и осекся...

— Я ничего не понимаю... — волновался Криволуцкий. — Объясните же вы мне наконец, что такое с графиней Чечени?

— Графиня исчезла...

— То есть как исчезла... Она уехала? Куда? Оставила свой адрес?

— В том-то и дело, что не оставили никакого следа... Никто их не видел... Решительно никто... Её номер пришлось открыть, проникнув из вашего, потому что он был закрыт из-

нутри на задвижку... Мы до сих пор все ломаем головы.

Какое-то подозрение молнией обожгло вдруг Криволуцкого.

— Ну а тот американец-сосед?

— Господин Гудсон уехал в ту же ночь на позиции...

— Но не вместе же они уехали с графиней? — воскликнул Вовка, сознавая, что говорит глупость.

— Я же вам докладывал, господин Криволуцкий, что графиню Чечени решительно ни одна живая душа не видела... Следовательно, с господином Гудсоном графиня уехать не могла...

— Ничего не понимаю...

Действительно, Вовка решительно ничего не понимал, и кругом шла его бедная голова. Он выбежал из конторы, поднялся в лифте к себе. Из своего номера прошёл к Ирме. Гнетуще, уныло и так пусто, словно никогда и не жила здесь эта красивая, близкая ему женщина... Вот её чемоданы... Приведена в порядок постель... А Ирмы нет...

Подгибались колени в холодной, сжимаю-

щей грудь тоске, и он опустил на что-то первое попавшееся, тупо, бессмысленно озираясь...

Неужели бородавчатый господин оказался, в конце концов, Флугом? Но это же невероятно, чудовищно!.. Но если б и так... Если даже этот негодяй самый гениальный трансформатор и мошенник, не мог же он взять с собою Ирму, никем не замеченной. Для этого нужна шапка-невидимка. Или она была похищена раньше?.. Его охватило отчаяние. Лезли дрянные, мрачные мысли... Разлюбила, бросила? Но тогда... тогда она могла бы уехать, уехать вместе с вещами... И так, чтоб ее видели...

Может быть, Тамара знает что-нибудь? Он бросился отыскивать княжну. Ни Тамары, ни Сонечки не было дома. Ему сказали, что княжна в санитарном бараке, у Петроградского вокзала. Он плюхнулся в мотор... Загудела машина.

Одна из сестёр милосердия, к которой он обратился, указала:

— Княжна Солнцева-Носакина там, в глубине барака... Она делает перевязки...

Он побежал через весь барак, меж рядами

лежавших и сидевших раненых. Вот и княжна, в сером балахоне и, как снег белом, головном уборе. Увидев, что Вовка вне себя, сама двинулась к нему навстречу.

— Тамара Николаевна, ради бога, скажите, где графиня?

— Голубчик, я сама ничего не знаю... Никто ничего не знает... Мы так поражены были...

— Но ведь поймите же... поймите!.. Не могла же она превратиться в какой-то бесплотный призрак? Не могла?..

— Не могла. И в этом вся загадка... Но не волнуйтесь, успокойтесь... Я убеждена, что все это выяснится... Необъяснимого нет ничего на свете... Мне самой... Куда вы?

Но Вовка не слышал. Он был уже далеко. И все недоумённо провожали глазами его высокую фигуру...

21. На волю божью...

Сборный кавалерийский отряд из трех эскадронов — уланы, гусары и саксонские драгуны ландвера — был расквартирован, где придется. Заняли конюшни вчерашних богатых калишан, имевших недавно собственные выезды, переполнили все извозчичьи дворы и, за неимением свободных помещений, офицеры приказывали ставить лошадей в покинутых домах, для чего приходилось разворачивать все двери, все входы. И там, где месяц назад счастливая семья собиралась под лампою к вечернему чаю, там теперь тяжелые кавалерийские лошади жевали овёс, разбросана была унавоженная солома, и раздавалась грубая казарменная брань вахмистров и унтер-офицеров.

И хотя скорее мягкая, чем холодная осень позволяла устроить коновязи под открытым небом — все ж лучше и вольней лошадям, чем задыхаться вместе с громадным телом своим в небольших комнатах скромных обывательских домиков, — но немецкая армия терпеть не может ни в своих пехотных, ни ка-

валерийских частях «открытого неба». И люди, и лошади, при мало-мальской возможности, непременно должны закупориться в четырех стенах.

Вот почему использованы были даже все крохотные сарайчики еврейской бедноты, где несколько семейств сообща, в складчину, держало парочку-другую коз, или худую — кости да кожа — корову.

Один из таких сарайчиков в глубине двора, покосившийся, ветхий — вот-вот по всем швам расползётся — отведен был «на постой» рядовому Ковальскому. И в этот самый сарайчик оба конвоира, унтер-офицер Румпель и рядовой Шиман, втолкнули своего пленника. Втолкнули, глумливо пожелав доброй ночи «этой польской свинье» и, закрыв дверь на висячий замок, ушли, с громким, самодовольным смехом.

Ковальский остался один. Один, вместе со своей лошастью, которую немцы окрестили Фогелем, а Ковальский — Птахом. И доставалось же ему и от вахмистров, и от унтер-офицеров, если, в их присутствии, оглаживая крутую шею коня, он любовно его называл Пта-

хом. Поток непечатной брани сыпался на Ковальского:

— Негодяй! Как смеешь добрую немецкую лошадь поганить каким-то дурацким польским прозвищем? Ты должен называть ее Фогелем. Раз и навсегда! Понял?.. Понял, познанское быдло?.. А если еще раз услышим — морда будет до крови бита!

Не только один Ковальский был козлом отпущения. Ко всем нижним чинам-полякам так же, если только не хуже, относились немцы... и, Как назло, во всей прусской кавалерии, в «гусарах смерти» в особенности, было много поляков, потому что, как ни презирали их немцы, как только ни глумились над ними, а все же поляки всегда считались лучшими ездоками — самыми бесстрашными, с красивой посадкою, такие ловкие на барьерах и на вольтижировке...

Весь на живую нитку сколоченный из досок и старых мишеней крохотный сарайчик чуть ли не целиком занят был монументальным Птахом. Ковальский отвоевал себе в углу небольшой кусочек, где он спал на охапке сена и где над его изголовьем, на деревянном

кольшке, вбитом в пулевое отверстие старой мишени, висело седло. Тут же, в углу, прислонён карабин в кожаном чехле. Поляк едва успел расседлать лошадь, едва оторочил карабин от седла, как был позван к Гумбергу. Ковальский знал, на что идёт, потому что Гумберг даже среди всех офицеров полка отличался чрезмерной жестокостью — раз, и страшной ненавистью к полякам — два.

Ковальский вытерпел немало от Гумберга. В манеже, гоня смену, Гумберг без всякого повода хлестал его берейторским бичом, а в казарме, когда еще Гумберг был старшим лейтенантом, а Ковальский молоденьким рекрутом, он однажды заставил его вылизывать пол возле койки. Пол, по мнению Гумберга, недостаточно опрятный и чистый.

Три года... Целых три года сплошных издевательств, побоев, нравственных пыток, мучений. И все эти напасти и ужасы за то лишь, что он родился поляком... Но Ковальский еще сравнительно дешево отделался. Не всем так сходило. Рядовой Вишнеvский, в конце концов, повесился на перекладине эскадронной конюшни; рядовой Болтуц, по приказанию

Гумберга, избитый Румпелем — топтал его ногами и шпорою выбил глаз, — скончался в лазарете; рядовой Краевский... Э, да разве вспомнишь все... Разве вспомнишь все случаи...

И вот война... Поляков заставляют быть палачами своих зарубежных братьев.

Конечно, война уже сама по себе вещь жестокая и кровавая. Но немцы воюют, как разбойники, без чести, без совести, вешая, истязая и расстреливая мирных, ну, решительно ни в чем не повинных, жителей.

И когда Ковальский сегодня, во время одной из бесчисленных экзекуций, осмелился заметить, про себя, что «это не война», Гумберг вытянул его стеклом, а через несколько часов избил... И вот он лежит с распухшим, окровавленным лицом, лежит во мраке, думая тяжелое и больное под монотонную жвачку «Птаха», наполнившего своим здоровым запахом и теплом убогий, на курьих ножках, сарайчик.

Завтра, над всем каторжным существованием Ковальского будет поставлена кровавая точка. Его расстреляют. Нет никакого сомне-

ния... Так не лучше ли самому покончить с собою? Самому, чтоб не видеть, как этот зверь, Гумберг, взмахнёт саблей... Он не откажет себе в удовольствии лично руководить убийством... Не видеть десятка белобрысых немецких рож с прищуренным глазом, налёгших красной бритой щекою на приклад карабина.

Нет, он, Ковальский, лишит их этой последней радости. Он сам... Вынуть из чехла карабин... вложить в рот дуло... Ствол короткий и, если нажать пальцем спуск... И все кончено. Глубокий, глубокий отдых... Вечный...

Ковальский вздрогнул... Донесся выстрел. Короткий, сухой... Еще и еще. Это палачи в мундирах убивают невинных...

— Езус-Мария!..

Опять пролита кровь, его родная, польская кровь...

Воспрянул Ковальский. Уныния нет и следа! Погибнуть — так хоть с честью погибнуть... Хоть уложив двух-трех немцев. И если отняли у него саблю, ему оставили карабин. По крайней мере, не будут глумиться, как глумились бы, войдя сюда утром и увидев труп,

и, толкнув его сапогом, Румпель сказал бы:

— Застрелился, туда и дорога польской свинье... Одной меньше!

Так нет же, не бывать этому!..

Ковальский нащупал огарок, вспыхнула спичка. Замигал робкий язычок пламени. Солдат глянул в круглое, величиною в пять серебряных марок, зеркальце... Страшное лицо, чужое, смотрело оттуда, из этого зеркальца, подаренного кузинкой Марисею, когда его взяли в солдаты. Запеклась кровь, распухли губы, и нос, красивый, тонкий нос, вздулся чем-то бесформенным... Будь же он проклят, Гумберг! Вот в кого всадить пулю!..

Солдат отвинтил крышку от фляги с водою и кое-как обмыл лицо. Это освежило его, дав бодрое течение мыслям.

Взгляд упал на дверь, косо висящую на заржавленных петельках.

А ну, попробую...

Между ребром двери и земляным порогом был просвет вершка в два. Ковальский, опустившись на колени, потянул вверх жалкую дверь и убедился, что она без труда снимается с петель. Побег возможен. И если так, пусть

лучше убьют его, преследуя. Он, по крайней мере, достанется им недешевой ценою, и, по чьём знанью, если счастье ему улыбнется, он убежит к русским... Отдохнёт, по крайней мере, в плену, успокоится от всех этих ужасов...

Как рукою сняло все сомнения. В охватившем порыве, точно следуя чьей-то властно диктуемой воле, стал он готовиться к побегу.

Оседлать Птаха — дело одной минуты. И откуда только явилось это ровное, неторопливое спокойствие? И, как перед учением, просунул Ковальский между подпругой и тёплым наевшимся брюхом лошади палец. Ничего, крепко... Осмотрел карабин, убедился, что обойма в смазанном масле гнезде. Глубже поправил на голове меховую шапку с белым черепом...

Снята дверь с петель, отошла, и пахнуло в сарайчике свежей ночью, осенней...

Ковальский подошёл к Птаху, прильнул щекою к фыркающей влажными губчатыми ноздрями морде и потрепал вздрагивающую шею коня. При мерцающем свете огарка Птах казался фантастическим, громадным конём из волшебной сказки.

Вывел Птаха, разобрал поводья и, подпрыгнув, ухватившись за седло, сразу очутился на лошади. И только тогда поймал носками стремя. Держа карабин, выехал на улицу. Темно и тихо. Слепли дома, угрюмыми, злоеющими пятнами намечались разрушенные, полусожжённые строения.

Ковальский послал Птаха вдоль улицы коротким галопом. Навстречу пеший патруль, не обративший никакого внимания на всадника. Но дальше начнутся конные заставы, и будет уже труднее прорваться.

Пошла окраина с хатками, вросшими в землю. Впереди несколько развернувшихся от края до края улицы всадников. Беглец узнал по силуэтам драгун саксонского ландвера. Эти неопасны. Они расквартированы в другой части города, у них никакого соприкосновения с «гусарами смерти», и они вряд ли знают все происшедшее с Ковальским.

Однако бородатые, грузные, уже далеко не первой молодости саксонцы, обыкновенно подсаживающие друг друга на лошадь, окликнули гусара. Для порядка больше окликнули.

— Куда?

— На мельницу Шуберта... Срочное донесение...

Драгуны остались позади.

Все тем же коротким галопом Ковальский ехал уже по шоссе, густо обсаженному деревьями. Знакомая дорога. Он помнит, как неудобно было, когда они шли походным порядком, пробираться здесь с пиками, задевавшими листву.

Кругом поля и простор темной, в облаках ночи. Скоро слева должна быть проселочная дорога. Он свернёт, помчится карьером и спустя минут двадцать уже не страшны ему будут сотни, тысячи Гумбергов...

Новый разъезд навстречу. И совсем близко. Такое ясное цоканье копыт под сводами этой шоссеиной аллеи.

Свернуть, затаиться? Опасно. Сразу вселить подозрение и тогда уже прощай бегство, прощай свобода, мечты... Прощай жизнь!..

Дерзостью больше возьмешь, чем страхом. Будь что будет. Вперёд, если это даже свои гусары! Кстати, их кажется, немного...

Да, это были гусары... Лицом к лицу Ко-

вальский, переходя в шаг, съехался с четырьмя всадниками. Унтер-офицер Нейман брызнул вдруг снопом электрического фонарика, осветив Ковальского.

— Ковальский? Ты куда один?..

В этом «один» было много значения. Было все! Полякам не давали никогда никаких самостоятельных поручений. На них боялись положиться, не доверяли им. И, если в разъезде хоть один поляк, всегда с ним, по крайней мере, два немца.

— Ты куда один? — повторил Нейман.

— К Шуберту, на мельницу... Спешное...

— Врешь, собака! Врешь, каналья! Мельница «отрезана». Ротмистр Гумберг требовал тебя не для поручений, а чтоб набить морду и посадить в карцер... Дезертировать вздумал! Поворачивай коня и марш за нами. Давай сюда карабин!.. Давай!

22. Ложе скорби...

У Вовки сердце заняло из жалости при виде Ирмы. И трех дней не прошло в разлуке, а словно какая недобрая сила подменила графиню её призраком, тенью. Она похудела, так похудела, словно после долгой мучительной болезни. А между тем болезнь, если только можно это было назвать болезнью, лишь теперь подкралась к ней, когда после всего пережитого она вернулась в Варшаву.

Там, на мельнице, и во время сумасшедшего бегства, и на обратном пути какой-то огонь сильного, нервного возбуждения разгорался в ней пламенем, поддерживая и тело, и дух. Но это напряженное, неустанное горение не могло не отразиться на всём организме графини. И вот, не успела она приехать и вновь пережить все эти выстраданные кошмары, описывая их Вовке, прерываясь и плача, — силы покинули ее, и она слегла...

Первое время Вовка подавлен был всеми этими новыми откровениями в связи с дьявольской фигурой Флуга. Чем не Сатана, обладающий способностью перевоплощаться в

каких угодно видах? Этот карикатурный грим с бородавками, тщательно скрывающими подлинную маску, этот чемодан, в котором он увёз усыплённую Ирму, и все дальнейшее? Описать в романе, читатель не поверит... Скажет вымысел. И скажет вздор, потому что жизнь преподносит на каждом шагу такие хитросплетенные сюрпризы, перед которыми спасует вымысел самой пылкой фантазии романиста...

Узнав историю похищения графини, Борис Сергеевич Мирэ пришёл в восторг со своей собственной ему бурной экспансивностью:

— Но ведь это же прелесть что такое! Я начинаю увлекаться этим Флугом! Прохвост, мерзавец, каторжник... Осиный кол ему в спину... Пеньковый галстук на шею... А между тем невольно ему аплодирую...

Вовка молча смотрел на Бориса Сергеевича, поправляя ладонями с боков и снизу свою великолепную ассирийскую бороду. Это являлось у него признаком неодобрения собеседника. Он сказал только два слова:

— Благодарю покорно!..

Два слова, заставившие Мирэ спохватить-

ся.

— Дорогой Владимир Никитич! Не обижайтесь, милый!.. Вы не так меня поняли... Конечно, все мои симпатии, все мое искреннее самое горячее сочувствие — на стороне графини, а следовательно, и на вашей. Я возмущён этой гнусной травлей, этими вечными преследованиями! Флуг является для меня каким-то сгущённым олицетворением германской подлости, чёрствости, беспринципности, всего! Но, согласитесь, что этому крупному мошеннику нельзя отказать, ну, если хотите, не будем бояться слов, — в гениальности, что ли? Пусть узкая, односторонняя, но все же гениальность?

— В таком случае и знаменитый корнет Савин[12]тоже гениален?

— А вы думали? Без сомнения! Всякая индивидуальность, выраженная в чрезмерно исключительной яркости...

— Давайте говорить на другую тему. В этой плоскости мы никогда не сойдемся... — перебил Вовка.

Он хотел рассердиться, но не мог... Не мог по двойной причине. Во-первых, сам он был

слишком уживчив и терпим по натуре своей, а во-вторых, Борис Сергеевич Мирэ смотрел на него сквозь пенсне таким обволакивающим, мягко благожелательным взглядом близоруких глаз, что сердиться на него было бы совсем праздным, непутёвым занятием.

Выждав некоторую паузу, маг и волшебник газеты «Четверть секунды» спросил:

— Вы ничего не имеете против, если я закачу телеграмму слов этак в пятьсот? Под хлёстким заглавием: «Что было в чемодане германского шпиона Флуга»? Вот будет сенсация!

— Ради бога, ради бога, не делайте этого... — взмолился Вовка. — По многим соображениям, я не хотел бы, чтоб трепалось имя графини.

— А если в благожелательной форме?

— Ни в какой! Очень прошу вас... как личное мне одолжение...

— Ради вас я согласен... Хотя вы с кровью и мясом вырываете у меня такой ударный материал. И несмотря на это... я согласен... — свеликодушничал Мирэ.

Но вскоре, в этот же самый день, он уте-

шился, если не совсем, то наполовину... В госпиталь, в Уяздовских аллеях, в помещения кадетского корпуса, привезли с австрийского фронта разбившегося летчика Агапеева. Он совершил два крупных подвига, оба на протяжении какого-нибудь часа и награждён был Георгием. Этот Беленький крестик лично повесил ему на грудь командующий армией, сам, как отважный солдат и талантливый вождь, оценивший агапеевские заслуги.

В чистенькой, сверкающей офицерской палате Агапеев лежал с плотно забинтованной головою. Его круглые птичьи глаза то заволакивались вдруг прозрачной паутинкою-пеленою — так бывает у подстреленной охотником птицы, — то вспыхивали, блестя.

Несмотря на свои страдания, в которых, по милости Божьей, не было ничего остро-опасного, угрожающего жизни, Агапеев ощущал необыкновенную бодрость духа. И если б не физическая слабость...

Борис Сергеевич разлетелся к нему с целой корзиною фруктов. У изголовья героя-летчика он застал княжну Тамару. Она сидела в своём монашеском одеянии сестры, заботливо уха-

живая за раненым.

Агапеев протянул гостью свою бледную, исхудавшую руку.

— Вот в каких условиях пришлось нам встретиться... — улыбнулся он слабой, как тень, улыбкою и, увидев корзину, сказал: — Спасибо, милый, за внимание... Батюшки, целый фруктовый магазин! Я скорее успею поправиться, чем съесть всю эту благодать... Покажите мне яблоко!..

Борис Сергеевич протянул ему крупное налитое яблоко. Агапеев тонкими, прозрачными пальцами вертел его перед глазами, как ребёнок, и повторял:

— Ого, какое! Розовое!.. Смотреть даже приятно... Я люблю с кожицей есть... Княжна, как вы думаете, с кожицею невредно?

— Сначала надо обмыть кипяченой водою...

— Ну, вот, мы его обмоем и съедим... Правда... Но что за нежный румянец!

А Бориса Сергеевича уже разбирало профессиональное нетерпение... Если б не княжна, он засыпал бы вопросами летчика, но строгие, зеленоватые глаза Тамары несколько

охлаждали его корреспондентский пыл, и он дипломатически обратился к сиделке:

— Могу я задать больному два-три вопроса, княжна?

— Два-три, не больше. Александра Александровича нельзя утомлять разговорами...

— Только два-три, даже меньше! Скажите, дорогой Александр Александрович, как это все случилось? Не торопитесь, говорите медленно и мало... Я пойму с полуслова...

— Что ж, это в самом деле все очень коротко... Зачем размазывать?.. Мне дали задачу обнаружить воздушной разведкою неприятельские силы... Я открыл спрятавшуюся в лесу, в резерве, целую австрийскую дивизию... Пришлось спуститься довольно низко... Меня обстреляли ружейным огнём... Весь аэроплан изрешетили... Я просигнализировал своим, и гаубичная батарея перекидным огнём — меж нашими позициями и лесом, в котором спрятались австрийцы, был ряд холмов, — обстреляла... И так здорово обстреляла, что вся дивизия была жестоко растрепана... Я сверху, вне сферы огня, наблюдал это зрелище в бинокль... Изумительная картина разрушения!..

Валились большие деревья, скошенные и развороченные в щепы... Австрийцы, погибая, метались как муравьи, если палкой разрушить их муравейник... Мы все это делали в нашем детстве... Ну а потом, потом за мною погнался австрийский лётчик... Я его ссадил, опрокинув струею воздуха... Он камнем полетел к земле вместе со своим аппаратом... Затем... затем для меня самое худшее... Обстреляли шрапнелью... И вот, одна пуля, чёрт бы ее драл, пробив кожаный шлем, ранила в голову... Это на высоте без малого тысячи метров... Я терял сознание... Но, вы понимаете? Неминуемая гибель, если упустишь управление... Ну, я собрал все силы, чтоб как-нибудь вернуться... Ничего, хватило, в самый раз хватило... Успел долететь к нашим позициям... Уже совсем близко... А голова отяжелела, что твой котёл, и мутно в глазах, и кровь из-под шлема течёт по лицу... Мешает видеть... Тут я закатил такой планирующий спуск — на аэродроме никогда ничего подобного не помню у себя!.. А дальше... ничего не осталось в памяти... Как я спустился, как меня сняли — ничего не помню... Только слышал смут-

носмутно, как сквозь сон, крики, слабые крики... А между тем потом узнал, что это близко от меня целый полк приветствовал меня громким ура... Таким ура, что все окопы дрожали...

— Александр Александрович, довольно, — перебила Тамара. — Довольно! Вы устали, помолчите!..

— Да-да, в самом деле... Александру Александровичу нужен покой... Я испаряюсь. Имею честь кланяться, княжна. До свиданья, дорогой Александр Александрович, поправляйтесь... я на-днях навещу вас.

— Спасибо за фрукты... Какие хорошие яблоки... Румяные, румяные... Большое спасибо!..

— Пустяки, вздор какой... Скажите, пожалуйста, княжна... Как самочувствие графини Чечени?

— Она чувствует себя очень плохо...

— Бедная... Еще бы, после такой встряски...

Борис Сергеевич помчался на телеграф и отправил в «Четверть секунды» громадную депешу в шестьсот пятьдесят два слова, расписав подробно геройские подвиги Агапее-

Ва...

А бедная Ирма действительно чувствовала себя очень плохо. Вовка не находил себе места...

Два раза в день графиню навещал военный доктор, сумрачный и смуглый македонский серб Константинович. После первого визита Криволицкий увлек его к себе, в соседний номер.

— Что у неё, бога ради, что?..

Константинович пожал плечами.

— К сожалению, ничего...

— То есть как это, к сожалению?

— Так... Ее нельзя лечить, потому что она ничем не больна... И в этом все неудобство... Сильное нравственное потрясение на нервной почве, пред которым всякие лекарства и методы бесполезны... Прекраснейшее в данном случае лекарство, единственное — это время и абсолютный покой... Абсолютный! Чтоб не было ни малейшего повода к волнению...

— И тогда?..

— Я ничего не обещаю, и ни за что не ручаюсь!..

И однако же Вовка верил смуглому, с такими резкими чертами доктору. Верил, несмотря на всю неутешительность ответов Константиновича. А может быть, потому именно и верил, что доктор не спешил рисовать ему в розовом свете положение Ирмы.

Часами лежала она в забытьи, никого не узнавая, никого, даже Вовку. Ночами, когда поднимался жар, бредила... Ее душили кошмары... Мерещился Флуг... Она видела мельницу, охваченную заревом... Пожар наполнял всю комнату... В огне и в дыму Ирма, крича диким, чужим голосом, задыхалась, сбрасывая одеяло, порываясь куда-то бежать и в изнеможении откидываясь на подушку, с запекшимся, сухим ртом и закатившимися белками... А Вовка, стынущий, холодеющий, без сна и отдыха, сидел возле неё в кресле, бессильный помочь, успокоить, утешить...

23. К НОВОЙ ЖИЗНИ

Унтер-офицер Нейман, продолжая освещать Ковальского, требовал спокойно и властно, сознавая, что так и надо, и не может быть иначе:

— Карабин сюда, дезертирующая каналья!.. — И протянул руку.

Беглец менее всего склонен был сдаться. Лучше погибнуть, отправив на тот свет унтер-офицера Неймана и, пожалуй, он успеет еще всадить пулю в другого немца. Останется двое, или вернее один, потому что Глебович, поляк, друг детства, и не поднимет руку на брата своего.

Ковальский сообразил все это. Ярко-ярко, с безумной ослепительной быстротою мелькало в голове, как у тонущего. И кликнув Глебовичу: «Владек, бей немца», — Ковальский выстрелил Нейману в грудь. Унтер-офицер откинулся навзничь, уронив электрический фонарик.

И одновременно Глебович хватил ближайшего немца саблею по голове. Лошадь вынеслась вместе с ним вперед, и раненый гусар

нелепо болтался в седле, словно привязанная кукла в манеже, за которой гоняются всадники, чтобы срубить на её спине наполненный воздухом резиновый шарик.

Уцелевший последний гусар, Кнакфус, не дожидаясь участи своих соседей, пришпорив коня, бросился во весь дух к городу.

Ковальский и Глебович остались вдвоём. Нейман хрипел на камнях шоссе. Лошадь его стояла тихо, понунив голову, как будто с её хозяином решительно ничего не случилось.

Владек застыл весь в испуге растерянный. Он только сейчас понял ужас всего случившегося. Повинуясь голосу крови и братства, видя, какая опасность угрожает Ковальскому, рубанул он соседнего немца. А теперь, когда с такой изумительной поспешностью, здесь во тьме, на шоссе, под деревьями разыгралось это кровавое и страшное, он почувствовал себя неминуемо погибшим. Погоня, минутный суд, расстрел, и, может быть, перед этим еще — истязания.

А Ковальский, хватая за повод лошадь Глебовича, торопил:

— Бежим, Владек, бежим! Секунда, и та до-

рога!.. Слышишь, топот? Погоня!..

— Бежим!.. — повторил Глебович. Ему так приятно и удобно было повиноваться, Ковальский вывел его из цепенеющей нерешительности. Почём знать, быть может, и расстрел, и мучение, которые он считал неизбежными, развеются в призрак?

А топот ближе, явственнее, четче...

Глебович и Ковальский свернули в сторону. Кони, спружинившись, перемахнули через ров и понеслись сжатым полем.

Погоня очутилась уже на месте кровавой схватки. Двое спешили подобрать Неймана, остальные, человек двенадцать, разделились. Часть пустилась вперёд по шоссе. Другие бросились справа и слева по бездорожной целине сжатых полей.

У беглецов не было пути-дороги. Все их спасение — в кратчайшей прямой, в том, чтоб с наивозможнейшей быстротою покрыть ее. И нещадно шпоря коней своих, низко пригнувшись, мчались они бешеным карьером, и только свистел кругом холодный воздух, высекая из глаз острые, режущие слезы. И оба оглядывались назад, в предательскую темень.

Несутся за ними какие-то распластывающиеся силуэты. И доносит ветер неясные крики. Потом силуэты как будто приросли к земле, растаяли, слившись с окружающим мраком. Что-то сухо и коротко защелкало... Преследователи, не надеясь догнать, спешили, на авось открыли огонь. Беглецы даже обычного характерного свиста не слышали, так далеко низали ночь шальные пули. Еще несколько выстрелов — и тишина. Только сабля Владека бряцает на скаку и бьется о стремя. Миновала одна опасность за спиной, новая — впереди. Если они будут тем же аллюром нестись, их могут обстрелять русские дозоры, далёкие от мысли, что эти два немецкие гусара спешат к ним, желая сдаться в плен.

И вот кончилась сжатая целина, сухой, высокой и колючей стеною сдерживавшая конский бег. Запарились вспотевшие лошади. Густо дымилась и белела в темноте мыльными ключьями осевшая на мордах пена.

Мягкая, пыльная проселочная дорога, и кое-где вдоль пушистыми вехами торчат одинокие вербы. Вправо — ближе к немцам,

взять влево — ближе к русским.

Беглецы ехали шагом. Первые минуты не могли обменяться словом, и каждый слышал учащенное биение сердца другого.

— Ну, Владек, теперь мы, кажется, спасены!..

— Дай бог... Что-то нас ждёт впереди?

— Чтоб ни случилось, хуже не будет, а лучше.

— Хвала Матке-Боске, Заступнице нашей!.. Воображаю, как там все переполошились. Как поднял на ноги этот проклятый Гумберг весь эскадрон. И достанется же за тебя Румпелю! Долой нашивки!.. Мало этого, Гумберг не посмотрит, что он унтер-офицер, — искровянит всего. И поделом! Как он угнетал всех нас, поляков, Румпель!..

Проехали средь ночи версты две. В соседнем перелеске дико, удушенным младенцем, рыдала сова. Гусары перекрестились...

— К добру или нет?

— А вот мы сейчас увидим... Смотри, Владек!..

Навстречу беглецам подвигалась кучка всадников. Расстояние было шагов триста.

Послышался окрик:

— Стой!

Гусары остановились. Донеслось щелканье затворов. Русский дозор подошёл вплотную. Чей-то голос, молодой, совсем юношеский, спросил на чистом немецком языке:

— Куда едете?

— К вам, господин офицер, к русским.

— Вы «гусары смерти»? — спросил обладатель юного голоса, разглядывая чёрные венгерки, с белеющими во тьме шнурами и меховые шапки с белым черепом.

— Так точно, господин офицер, мы «гусары смерти» — поляки! Мы ушли от жестокого обращения немцев, и, кроме того, нас заставляют воевать с нашими братьями...

— Вишневский, — обратился офицер к одному из своих нижних чинов, — поговори с ними по-польски...

Вишневский разговорился с пленниками. Остальные кавалеристы зорко всматривались кругом во мрак, предполагая засаду. Но ничего подозрительного. Тихо... По-ночному тихо... Слышно, как с хрустом жуют лошади мундштучное железо... Доносится из темнею-

щего пятном перелеска рыдание совы.

— Мы вас отведём в эскадрон, как пленных, — объявил беглецам юный голос.

— Мы только этого и просим, господин офицер!..

— Ваши карабины и сабли?

— Вот мой карабин, а сабли нет, — сказал Ковальский.

— Где же она?

— Ее отобрал у меня эскадронный.

— Кто у вас эскадронный?

— Барон Гумберг.

— Гумберг? Этот палач, мародёр, убийца?..

— Так точно, господин офицер...

Часть дозора двинулась вперёд, другая часть вместе с пленными и корнетом Имшиным повернула назад к деревне, в которой стоял временно гвардейский эскадрон.

— Вы не голодны? — спрашивал корнет беглецов. И не дождавшись ответа, порылся в кобурах и дал Ковальскому и Глебовичу по шоколадной плитке...

Деревушка, бедная, маленькая, словно в землю выросла своими низенькими халупами. В одной из халуп, при свете вставленного в

коническую бутылку огарка, смуглый офицер с большим носом, черной, мефистофельской бородкой, в оливковой рубашке, с золотыми ротмистерскими погонами, писал у грубого, колченогого стола письмо.

Карандаш то в недоумении останавливался, то бегал уверенно в длинных пальцах узкой руки с бирюзовым перстнем. Бирюза — любимый, фатальный камень всех суеверных кавалеристов. Иной самый отважный, не сядет на лошадь без бирюзового перстня-амулета.

Лицо, некрасивое, мрачное, мужественное, моментами принимало мягкое выражение, и какие-то вдумчивые, нежные тени пробегали по крупным чертам, вместе с трепетом робко мигающего огарка.

Шаги, звон шпор, открылась дверь, и на пороге стоял корнет Имшин.

— Честь имею донести, господин ротмистр... Привёл двух пленных германских гусар.

И этим официальное вступление кончилось. Румяный, безусый корнет улыбнулся, мальчишески-школьной улыбкой:

— Знаешь, Каулуччи, сами пришли к нам. Верстах в двух отсюда, носом к носу. Поляки! Эскадрон Гумберга. Помнишь, как мы этого мерзавца в собрании поили шампанским?

— Да... Бедный мальчик Дорожинский. Забыть не могу... Попадись он только нам, Гумберг... Давай их сюда, пленных...

Корнет вышел и через минуту вернулся с обоими гусарами в сопровождении двух нижних чинов. Каулуччи, владевший польским языком, осмотрел с ног до головы Ковальского...

— Откуда у тебя кровь на венгерке?

— Меня избил эскадронный.

— За что?

Ковальский сказал, за что.

— А потом?..

Ковальский описал все дальнейшее. Каулуччи переглянулся с корнетом.

— Хороши нравы... Хамят вовсю... Нечего сказать... И это у них называется дисциплиной?

— В Калише много конницы? — спросил ротмистр.

— Три эскадрона. Мы, уланы и саксонский

ландвер.

— Пехоты?

— Два батальона: гвардейский — бранденбургцы и армейский из Ганновера.

— Артиллерия?

— Две полевых батареи. Вчера прислали из Торна шесть гаубиц.

Ковальский рассказал подробно о всех фортификационных работах и на карте отметил участки фугасных мин, линии проволочных заграждений, «волчьих ям» и бродов, замаскированных на дне колючей проволокой и битым стеклом.

— Хорошо! Вас накормят, выспитесь, а на утро вы будете отправлены...

Ковальский вдруг упал на колени.

— Господин ротмистр! На милость Бога прошу, никуда не отсылайте нас! Там мы будем только даром хлеб есть... Оставьте нас при себе... Мы знаем здесь каждую тропинку, знаем все, что делается в городе... Мы будем полезны... Мы хотим биться с немцами... За наших братьев, которых они...

— Встань!.. Ты просишь невозможного.

— Господин ротмистр, заклиная вас. У ме-

ня одна только дума была, когда бежал к вам... Я буду самым счастливым человеком! И мой товарищ Глебович — то же самое... Вы увидите...

Каулуччи, покусывая губы, задумался. Потом резко встал:

— Хорошо!.. Пусть будет так! Я оставлю вас на свой личный страх. Здесь у меня вы и вправду будете полезнее. Завтра вас оденут во что-нибудь другое, и... Ступайте, молодцы, с Богом... Накормить их, отвести ночлег!

Гусары, довольные, сияющие, в три темпа отдав честь, вышли из халупы.

Русские солдаты пригрели их, как родных, наперебой угощая, чем только было.

24. Письмо

— Мара, откуда:

Вянет лист, проходит лето...

Иней серебрится;

Юнкер Шмидт из пи-сто-ле-та

Хочет застрелиться...[13]

— Отстань, Сонечка, не мешай! И наконец это даже не патриотично — воспевать переживания какого-то юнкера Шмидта...

Но Сонечка не унималась. Гуляя по комнате с видом человека, изнывающего от безделья, останавливаясь, заглядывая в окно синими, бездонными, прекрасными глазами, Сонечка повторяла:

Вянет лист, проходит лето.

Иней серебрится...

— Мара, Мара, иди сюда! Раненых везут... Смотри, как все обнажили головы... Нет, какая прелесть — «Бристоль»! Отсюда все видно... У, какой он большой! Чудовище!.. Блиндированный автомобиль везут у немцев отбитый... Страшно, должно быть, там внутри

оставаться... Мара, да что же это такое? Сидишь, как статуя бесчувственный! Мне твой брат Дима рассказывал, что у них в эскадроне вахмистр нижних чинов цукает: «Сидишь на лошади, как статуя бесчувственный!» Смешно! Батюшки, Друже на автомобиле пролетел. И откуда он взялся? Хотя отчего же, их полк...

Мара не слышала, вся поглощенная этим письмом, этими карандашными строками... Некоторые буквы выведены ломаными, туда и сюда, линиями. Так бывает, если между карандашом и грубой доскою стола — тоненький листик бумаги. Карандаш невольно повторяет все изломы шершавой доски...

«...Мой друг, ни на словах, ни на бумаге я не умею выразить своих чувств. Не умею! Что-то лежит во мне глубоко... извлечь оттуда на свет Божий... ну, не могу, да и только... Я не умею быть нежным, не умею цветисто и ярко описывать мою... вот видите, какого труда стоит мне вывести это слово „любовь“. Господи, как его затрепали, обаналили сквозь века, тысячелетия... А это — прекрасное слово... Что я думаю о вас постоянно и много — вы это сами знаете... Ах, эта разлу-

ка! Но мне приятно сознавать, что вы не там, где-то на севере, а близко, так близко, что через несколько часов я мог бы вас увидеть... Увидеть и...

Вечер. Я набрасываю эти строки в мужицкой халупе, при свете огарка. Бедно, темно, убого, а между тем какая суровая красота! Дмитрия не вижу четвертый день. Он уехал с дозором и не возвращался. Горячая голова! С него хватит „профильтроваться“ сквозь линии неприятельских расположений. Молодец! Я им доволен... Вообще вы можете ими гордиться. Василием тоже. Я его видел мельком. Борода, бурка, лихости в нём! А между тем похож на кронпринца. Это сходство может — я фантазирую, конечно, — сослужить ему службу. Представьте, одевшись немецким офицером, а это нетрудно, потому что имеем каждый день свеженьких пленных. И вот в образе кронпринца он проникает якобы к „своим“, к немцам. Дальше, дальше уже дело романиста. Я совсем лишён творческой фантазии.

Ах, как хотелось бы хоть всего пять минут побыть с вами... Хоть мгновение! Знае-

те, что мне сейчас вспомнилось в этой холодной боевой обстановке? И они меня жгут — воспоминания. Я не забуду его, этот душный, душный день... Парило... Ах, как парило! И потом, кажется, был страшный ливень. Я поймал вас в липовой аллее. И как вы растеряны были, смущены... И ничего не видел, кроме жарких губ и этой белой шеи... Карандаш дрожит в руке... Я чувствую аромат вашего тела... Сколько в нём здоровья, молодости и еще чего-то вашего, Мара, собственного... И кружится голова... И сколько нежности к вам... Дайте же мне ваши горячие губы... Я хочу смотреть в эти зрачки зелёных глаз, как они ширятся, становясь безумными...

Меня прервали. Настроение, как испугнутая птица... Его не вернешь. А жаль... Я так размечтался... Милый, розовый Имшин, из маменькина сынка превращающийся в боевого офицера, привёл двух пленных. Сами явились к нам... Поляки эскадрона Гумберга. Вы слышали, конечно, о подвигах, этого полупочтенного? Последняя его доблесть — пристрелил и ограбил Дорожнинского. Вот кого хотелось бы мне заполучить, этого змеёныша, которого

мы все так радушно принимали! Здесь, с этими поляками, сказалась моя натура. Следовало их обласкать, пригреть, а я был с ними сух... Что поделаешь! Один из них, избитый Гумбергом, оказался толковым парнем и общил мне много интересного... Все резче и резче бросается разница между взаимоотношениями офицеров и нижних чинов у нас и у германцев. Наша дисциплина неизмеримо человечнее. И сквозь строгость проглядывает что-то хорошее, заботливое... И солдат ценят. У них же — бесконечное презрение к солдату. Для германского офицера нижний чин — животное, скотина. Можно ли допустить хоть на минуту, чтобы немецкий генерал обратился к солдатам: „Я вам отец, я вам брат, я вам и нянька“? А ведь это слова нашего бригадного князя Б. Это не только красивая фраза, он такой и на самом деле... Вот почему немцы, несмотря на свою дисциплину, идут в бой из-под палки, если не в прямом смысле, то в иносказательном... Так же гнали их вперёд капралы дубинами в эпоху прославленного Фридриха Великого... Сущность все та же, разница только во внешней

форме... И это один из верных залогов конечной победы нашей. И когда они начнут голодать и мерзнуть — не поможет и магическая дубина капралов...»

Длинное, из нескольких листиков письмо, перескакивая с предмета на предмет, возвращалось в конце опять к воспоминаниям о душном дне в густой аллее и о первом поцелуе...

Княжна перечитывала карандашные строки, затихшая, пылающая, с полураскрытыми влажными, как вынутый из воды коралл, губами. Она видела трепетный огонёк вставленной в бутылку свечи и резкий профиль, склонившийся над бумагой. Она увидит его... Должна увидеть...

И Мара повторила вслух:

— Должна!

— Что такое, должна? — спросила Сонечка.

— Милая, мы с тобой разлучимся на несколько дней.

— Ты уезжаешь?

— Уезжаю.

— Куда?

— К нему.

— А раненые?

— Все брошу! Все! Думать не могу ни о чем!..

— Но ведь это же сумасшествие! Тебя не пустят. Какая-то деревня... Рыщут немцы... Подумай! И, наконец, ты знаешь, как у них там... Сегодня здесь, а завтра...

— Он рассчитывает пробыть с неделю на одном месте. Я его застану... Сегодня вечером, или утром, самое позднее, выеду. Несколько станций, пять-шесть часов, а там — лошадьми...

— Как хочешь, только не советую...

— Ничьи советы не в силах остановить меня, дорогая. Решено! Никаких перемен, отступлений!

— Ну и характер! А как же я останусь одна? — детски-беспомощно воскликнула Сонечка.

— Как? Во-первых, это вопрос двух-трех дней, а затем ты клеветешь на себя и на меня. Почему одна? Почему не с Малицыным?

— Вот сказала! Малицын — мужчина...

— А разве ты предпочитаешь женское общество? За тобой не водилось этого...

Сонечка надула губки.

— Ты или не понимаешь, или нарочно...

Сонечка отвернулась к окну, забарабанив, пальцами в стекло.

Вянет лист, проходит лето

Иней серебрится...

Юнкер Шмидт из пистолета...

— Несчастный юнкер Шмидт! Ты его день целый не оставляешь в покое.

— Ах, Мара, этот Малицын...

— Что Малицын?

— Ничего... Раз ты уезжаешь, оставляя меня одну...

— Опять одну! Ты проведала бы графиню Чечени. Пластом лежит, бедная.

— Я не гожусь в сиделки. Больных — не люблю. Они наводят на меня уныние.

— Вот как! И если я захвораю, ты перестанешь меня любить.

— Ты, другое дело... Наконец отстань...

Вянет лист, проходит лето...

Княжна позвонила, чтоб ей принесли книгу расписания поездов. Но книга оказалась лишней, ибо по военному времени поезда

шли согласно другому, новому расписанию. И в точности можно было узнать лишь на Венском вокзале.

— Сонечка, съездим за компанию на вокзал?

— Не хочу, ты гадкая!

— Сама поеду...

— Впрочем, и я с тобою. Я не могу на тебя долго сердиться.

— Вообще, ты не можешь сердиться, милая птичка...

«Стангрет» в новенькой ливрее щёлкнул бичом, и пароконная коляска покатила вдоль шумных, сентябрьским солнцем залитых, нарядных улиц Варшавы. Стонали сирены бешеных автомобилей, гудели пульмановские вагоны трамваев. Газетчики звонко выкрикивали свой бумажный товар. И без конца — солдаты, офицеры, обозы, колонны, пешие и конные.

На Венском вокзале — суета! И низенькое, приземистое здание под башнею с часами, выбрасывало на площадь целые толпы прибывающих беглецов.

Первый ближайший поезд отходит в де-

вять утра. Времени еще много впереди. Весь день, вечер и вся ночь. Оказалось, что уехать можно лишь, получив разрешение от коменданта, и вообще это делается с большим разбором. Но княжна не сомневалась в успехе. Комендант Варшавы был приятелем покойного старого князя, и они вместе начинали жизнь в столичном обществе.

Мара не любила ничего откладывать.

— Сонечка, ты поедешь со мною в цитадель?

— Поеду!

Сонечка любила движение, любила всякую возню и была свободна, как ветер. И отчего же не поехать в цитадель? Кстати, отец её вместе с комендантом воспитывался в пажемском.

Сонечка поставила одно условие:

— Это далеко — цитадель. Надо взять машину...

— Возьмём! Я сама хочу скорей выяснить!

Княжна так и горела нетерпением. Душою она была уже «там»...

25. Роман

Сонечка за последнее время затихла как-то. Причиною этого обстоятельства был очередной Сонечкин грех, по словам княжны, «титулованный», как и большинство грехов её подруги, синеглазой, порхающей птички.

Этот грех — юный, совсем юный прапорщик, не успевший даже окончить старший, специальный класс пажеского — князь Малицын. Красив этот юноша был изумительно, а главное — не шаблонная красота. И не типичный гвардеец, и не херувим, а нечто совсем особенное, свое. Он был тонок, гибок и смугл, темной, синевато-бронзовой смуглотою. У индусов, цыган и древних египтян — такая кожа.

Любопытное сочетание двух кровей было в юноше. С одной стороны — отцовская порода, восьмисотлетняя, с другой — буйная, здоровая примесь какой-то степной — город ее не выветрил — цыганской силы от матери. Отец молодого князя женат был на цыганке.

Итак, с одной стороны нечто холодное, северное от варяжских князей Рюрика, с дру-

гой — экзотическая порода фараонова племени со всем её знанием и страстью.

Вот почему юный Малицын был живою, во много раз увеличенной танагрской статуэткой, с темными, до жуткого темными, не черными, а именно темными, глазами. И крупный, синевато-жёлтый белок их говорил о чём-то далёком и нестерпимо горячем, как джунгли Индии, как раскаленные пески пирамид. Эти глаза, несмотря на величину свою, узкие, с египетским разрезом, никогда не смотрели ясно и прямо. Не могли смотреть. Мешали тени длинных ресниц, мешала какая-то дымка прозрачной поволоки. И выражение их всегда было загадочное, томное.

Он пил вино, пил, как мальчик, больше из озорства, чем от удовольствия. И когда Мара пыталась удержать его:

— Не пейте больше, князь, вам вредно!..

Он, глядя и на Мару, и в то же время как будто созерцая одному ему ведомые дали, отвечал с улыбкою, причем улыбались губы, глаза же оставались не только серьезными, а даже грустными:

— Не мешайте... Мне надо тренироваться.

На войне зимою, когда будет очень холодно, должен же буду я глотнуть коньяку... И тогда с непривычки могу охмелеть. А это вовсе не желательно... Я должен себя подготовить...

И он «подготавливал» себя самым добросовестным образом...

Из всех Сонечкиных «влюблений» это было самое трогательное. Бойкая щебетунья, она резко менялась в обществе этого юного красавца. Затихала, опускались плечи, и она подолгу не сводила с него синих, одухотворённых какой-то упорной мыслью глаз...

Сонечка под влиянием нового чувства принялась писать роман, где вместо Малицына вывела своего «героя» под именем Палицына, почему-то назвав его Гулей, уменьшительным неизвестно от какого имени. На самом же деле он был Андреем.

Итак, Гуля Палицын...

С него начиналась первая глава, она же и последняя, потому что дальше двух страничек синей учебной тетрадки, исписанной крупным детским, презирающим горизонтальные линии почерком, не подвигался роман...

— С чего бы начать? — ломала свою легкомысленную голову Сонечка, обращаясь за советом к Маре.

— С чего хочешь, с того и начни...

— А разве так можно?

— Можно! Я интересовалась, как пишет свои романы Бережной, а главное, как он их начинает. Он сказал, что можно с любой фразы, которая в данный момент просится под перо... Сказал, что к тому, что хочет сказать автор, он всегда незаметно сам подойдёт, в конце концов...

— А я думала, существуют какие-нибудь правила...

— В творчестве нет правил, есть вдохновение.

— Вот как! — обрадовалась Сонечка. — В таком случае, и я буду писать по вдохновению. Но все-таки с чего бы начать? Разве с пробуждения? Начну с пробуждения...

— Начни.

Сонечка, думая, думая, вывела, наконец, косыми каракульками:

«Гуля Палицын проснулся. У него были белые, красивые зубы. Вообще он весь был очень

красив. Черты лица...»

Здесь Сонечка сделала паузу. Какие у него черты лица? Она никогда не обращала на это внимания. Вернее, никогда не видела их. Она видела глаза... только глаза. И в них тонул её взгляд, и все лицо его расплывалось в тумане, как если б Малицын был факиром, заставляющим видеть себя лишённым материальной оболочки, бестелесным...

— Но нельзя же так. Нельзя же не описать подробно героя...

И Сонечка ставила кляксы, рисовала на полях чёртиков, кусала губки, пытаюсь найти слова и образцы, чтоб описать лицо Гули.

Нос, первым делом — нос... Это самое главное. И Сонечка решила начать с описания носа.

«Породистый»... нет, не то слово. Он и породистый, и какой-то еще. И это неуловимое «еще» — гораздо характерней.

Неуверенно ложились на бумагу фразы, зачеркивались, исправлялись, громоздились друг на друга и получался такой сумбур, что даже сам «автор» начатого романа при всём желании своём никак не мог в них разобрать-

ся.

«Трудно писать роман. Ничего не выйдет», — решила с грустью Сонечка. И синяя учебная тетрадка подверглась на время остракизму.

Через день «опала» окончилась, и Сонечка усердно выводила, оставив для описания лица свободное место: «*Гуля решил поехать на войну...*» Опять не то... Решил! Не он сам решил, а его посылают... «*Гулю послали на войну...*» Опять не то... Послали! В этом что-то принудительное, казенное. Ах, как трудно писать роман!

— Мара, давай писать вдвоём. Это можно. Ведь писали вдвоём?..

— Писали. Братья Гонкур, братья Немировичи-Данченко.

— Но для этого нужно непременно быть братьями... Мы же с тобою, хотя и подруги...

— Писали и чужие друг другу. Эркман и Шатриан писали вместе.

— Однако братья чаще. Например... ты забыла еще братьев Карамазовых!

— Братьев Карамазовых, — сощурила княжна зеленватые японские глаза. — Но

ведь это роман... Так, называется роман Достоевского.

— Разве? Ну, все равно — братья. Есть о чём говорить! Самое главное, хочешь ты писать со мною или нет?

— Боюсь, ничего не выйдет...

— Ну, вот. Всегда такая ты! Ничего не выйдет!.. А может быть выйдет... Попробуй! Самое главное описать его лицо? А я не могу. Не могу! Он так мне весь нравится, весь, ты понимаешь? И я вижу только одни глаза. Ты видишь его лицо? Тогда опиши. Садись, бери перо.

Мара, взяла синюю тетрадь и крупным, чётким, английским почерком набросала:

«Гуля напоминал своей внешностью маленького индского божка, вылитого из бронзы. Когда он смеялся, а смеялся он редко и нехотя, зубы освещали его лицо, и оно казалось менее смуглым».

Сонечка, нагнувшись через плечо подруги, читала...

— Недурно, только разве зубы могут освещать лицо?

— Могут.

— А по-моему...

Княжна, отодвинув тетрадку, положила перо.

— Надоело... Сама пиши!

На этом кончился роман... в синей тетрадке. А в жизни он только разгорался и, по-видимому, с обеих сторон, хотя Малицына трудно было понять. Сонечка нравилась ему. Он охотно искал её общества. Он часами играл ей свои фантазии, сидя у пианино в большом «бристольском» номере обеих подруг, но любит ли он Сонечку — трудно сказать. Сам он ничего не говорил, а в его томных, с поволокою глазах, мудрено было угадать что-нибудь.

Как музыкант — он владел даром Божьим. И чтоб он ни играл — вальс Шопена или одну из своих собственных фантазий, слушателей чаровало его исполнение. И во всем, в каждом звуке было так много чувства... И выливался целиком весь его темперамент, страстный, сдерживаемый. И моментами вырывались звуки такой покоряющей, безудержной мощи, что казалось, этот смуглый юноша вместе с пианино, сорвавшись вдруг, унесутся куда-то... Потом стихийная мощь сменя-

лась чем-то нежным, прозрачным и тихим, как чистый, звенящий шёпот...

В восточных фантазиях Малицына сказывалась южная, знойная кровь. И праздничное, напоенное солнцем ликование феерических, сверкающих шествий, переходило в жалобную тоску, тоску далёких полуденных существ, беспомощных пред безжалостно топчущей их силою слепой, карающей судьбы...

Книжна, сама недурная пианистка, упивалась красотами богатой техники. А Сонечка... Сонечка, сжавшись в покорный и гибкий комочек, не сводила замороженных глаз с профиля «своего Гули». И когда он играл, этот профиль был строгий, вдохновенный и властный...

Замирали последние звуки, и, хотя реяло кругом еще не вспугнутое очарование, волшебный инструмент превращался уже в банальное, с бронзовыми подсвечниками, украшение гостиничного номера.

Малицын проводил рукою по глазам, словно отгоняя истому и целые хороводы кружившихся перед ним призраков... И опять это был мальчик, который пьёт для «трениров-

ки», чтобы не охмелеть потом от одного глотка коньяку. Подруги хвалили, восторгались, а он не понимал, за что его хвалят... И улыбались губы в нерешительной, сверкающей улыбке... А томные, в вечном сумраке длинных ресниц глаза, смотрели с какой-то непонятной тоскою...

Подруги оставались вдвоём. Сонечка сжимала руки Тамары...

— Как я его люблю! Как он мне дорог. Ах, это такое, такое!.. Не скажешь!.. Слов не хватает. Нет их — слов! Понимаешь? Нет!.. И хорошо, и я рада, что нет. Лучше так!..

26. К нему!

От одной мысли Сонечка приходила в ужас: — Его пошлют на войну. Его могут убить! Этот оранжерейный цветок и вдруг в каких-то окопах!.. Наступают холода и будет еще холоднее... А я останусь здесь, и он уже не будет мне играть!.. Ах, Мара, зачем так глупо устроен свет, зачем эта противная война и вообще...

И Сонечка, ломая руки, готова была вот-вот расплакаться. Походит-походит молча и совсем машинально, думая о другом:

*Вянет лист, проходит лето,
Иней серебрится,
Юнкер Шмидт...*

Так и покончила. Так и осеклась. И умолкла. И как-то неслышно прильнула вся к стеклу окна.

Мара тихо подкралась к ней и, схватив Сонечку за твёрдые, круглые плечи сильными руками своими, повернула к себе. И увидела близко-близко два громадных, синих глаза. И в каждом — прозрачная детски-крупная и

детски-беспомощная слезинка.

— Дурочка! — только и нашлась оторопевшая княжна.

И самой стало не по себе. Мара обняла Сонечку. Сонечка уже не стыдилась больше своих слёз, дала им полную волю. И плакала, вздрагивая на плече Мары.

«Мы, кажется, на этот раз влюблены самым основательным образом...», — решила княжна.

В самом деле, новое увлечение синеглазой птички затмило все предыдущие. Положительно затмило. Сонечку не тянуло даже целоваться с Гулей, хотя у него такой красивый рот и такие великолепные зубы. А сидела бы часами, не сводя с него глаз, слушала, как он играет и — довольно... И такой ликующий праздник в душе... И так хорошо без поцелуев...

Как-то, вернувшись из своего обычного дежурства в госпитальном бараке при Петроградском вокзале, княжна принесла купленную по дороге внушительную «общую» тетрадь в клеёнчатой обложке.

— Это еще что? — спросила Сонечка. — Це-

лая бухгалтерия! Приход и расход будешь записывать? Скучно!..

— На этот раз ты не угадала...

— А что же?

— Ты соблазнила меня... Хочу писать роман, самостоятельный...

— А ты же изверилась в своих способностях?

— И все-таки начну. Я ведь упряма!

— А какой сюжет?

— Сюжет — я, ты, мы, они, он. Опишу тебя, себя, весь наш кружок. И Гулю, и графиню Чечени, и Криволицкого, и покойного папа. Всех!

— И его?

— Конечно!

— Вот какая ты... У тебя выйдет!

— А почему бы и не выйти? Пусть это будет нелитературно, шероховато, наивно, пусть! Но краски я дам верные. Знаешь, что мне послужило толчком? Там, у нас в бараке, одна из сестёр, жена маленького чиновника, упивается какой-то затрепанной книгой. Ее зовут на дело — не может оторваться. Дай, думаю, погляжу, что это такое... «Роман из вели-

косветской жизни в четырех частях»... Начала перелистывать... Вот весело! И это не первый раз попадаются мне такие «великосветские романы». Любопытно, в каких лакейских это сочиняют? Даже не в лакейских, потому что наши лакеи и горничные — как-никак видят нас близко... Все князья и графы, княгини и графини, все без исключения, необыкновенно изящны. «Она изысканно элегантно взяла из тяжелой, дорогой вазы громадную дюшесу и крохотной, нежной ручкой положила к себе на тарелку настоящего севрского фарфора». Не угодно ли? Если я и преувеличила, то совсем, совсем немножко. А вот, выудила я в этом же самом романе настоящий перл! Описываются «великосветские» похороны. Пышная процессия с «элегантными каретами, камергерами, гвардейцами» и, слушай, Сонечка: «А потом, как это принято по традиции в этом кругу, был устроен в кухмистерской грандиозный поминальный обед на двести кувертов»...

— Не может быть, Мара. Ведь это же балаган!.. — воскликнула Сонечка.

— Ничуть! Я привожу дословно. А дальше,

вероятно, будет, что на этом же самом «поминальном» обеде какая-нибудь тоненькая, прозрачная, с необыкновенным изяществом во всех движениях графиня возьмёт в свою крохотную, нежную ручку дюшесу и положит, теперь я уже не знаю, на что она положит — в кухмистерских не бывала, но вряд ли там имеется посуда из севрского фарфора...

— Вот балаган! — всплеснула руками Сонечка.

— Теперь ты понимаешь, как весело было читать этот роман из «великосветской жизни»? И зачем братья за то, чего не видел и не знаешь. И сидит такой писатель или чаще всего писательница у себя в меблированной комнате и фантазирует, сочиняет... И раз аристократ, или аристократка — непременно ходячее благородство, изящество... Как это глупо! И язык какой-то особенный, на котором они говорят, — выдуманый. И вместо «хорошего тона», которым изо всех сил наделяют они своих героев, получается именно дурной тон. Об исключениях я не говорю. Исключения — те редко и мало пишущие, которые сами люди общества. И как у них просто. Я уже

не говорю о Толстом. Кстати, ты читала «Анну Каренину»?

— Кажется... читала...

— По глазам вижу — врешь! Здесь не может быть «кажется». Здесь может быть да или нет. Прочти, очень советую! Так вот в Анне Карениной ты не встретишь графинь «с изящным жестом кладущих себе на тарелку дюшесу». И все эти Китти, Облонские, Каренины — живые люди... Так вот сегодняшней «великосветский роман» вдохновил и меня.

— С чего же ты начнешь?

— С тебя.

— С меня?

— С тебя. Так и начну. Сонечка смотрела на Гулю, который играл... ну, симфонию Чайковского, что ли...

— А это не будет очень просто?

— Тебе не нравится. Тебе хотелось бы, чтобы я так написала: «Софи д'Эспарбе, дочь блестящего кавалерийского генерала, служившего в молодости в одном из самых фешенебельных гвардейских полков, одетая в дорогой элегантный туалет, который так шёл к её породистому личику, сидя в изысканной позе,

созерцала тонкий аристократический профиль князя Малицына, отпрыска одного из знатнейших родов, перебиравшего клавиши своими длинными, узкими, породистыми пальцами!..»

— Опять балаган!

— Вот видишь, как тебе трудно угодить! Сонечка смотрела на Гулю — это слишком просто. А новая редакция — «самая великосветская» — тебе кажется балаганом. Выбери одно из двух.

— Лучше, первая.

— И я думаю, лучше.

Тамара увлеклась, и чётким, крупным почерком её исписано было много страниц.

— Прочти мне, — сгорая любопытством, ежеминутно приставала к ней Сонечка.

— Потом. Когда будет кончена первая часть.

— Ах, и у тебя в четырех частях!

— В двух, успокойся...

Но Тамаре не выпало кончить первую часть. Письмо Каулуччи взбудоражило, погасило весь её творческий пыл. Надо увидеть его! Она поедет во что бы то ни стало!..

И поехала.

Комендант, бодрый и бравый седоусый генерал пытался отговорить ее от этой рискованной затеи.

— Дитя мое, ведь это же чистейшее безумие! И там, где уже перестают ходить наши поезда, вы можете натолкнуться на самые непредвиденные, опасные случайности.

Но переубедить княжну было мудрено. Она твердо стояла на своем. В конце концов комендант признал себя побежденным.

— Если вам так хочется, поезжайте. Все, что я могу сделать, это послать вместе с вами двух всадников-осетинов. Они выгрузятся вместе с вами на станции и будут конвоировать ваш «экипаж», если вам только удастся найти крестьянскую подводку. При всём желании, при всех моих тёплых чувствах к покойному князю, а следовательно, и к его дочери, автомобиля дать вам не могу. Они все на счету и необходимы для обслуживания военных надобностей.

— Генерал, вы и так слишком добры, и, кроме того, я отказываюсь от любезно предложенных всадников. Зачем? Я уверена в сво-

ей безопасности...

Тамара недолго собиралась в путь-дорогу. Оделась спортсменкой. Высокие шнурованные башмаки, короткая юбка, не стесняющая движений, круглая, мягкая вязаная шапка и такая же кофточка, плотно охватывающая фигуру.

Сонечка осмотрела подругу.

— В таком виде мы бегали у себя под Петроградом на лыжах...

«На всякий случай» Тамара взяла небольшой револьвер. Эта игрушка с перламутровой ручкою может ей пригодиться.

Ночь прошла без сна. Тамара глаз не сомкнула. А меж тем какое бодрое пробуждение! Встала свежая, с непочатым запасом энергии. Вспыхивали румянцем щеки.

Утро, солнечное, жизнерадостное. Открыла балкон. Холодок обвеял лицо.

Подруга, свернувшись тёплым калачиком, спала еще крепко, подложив руку под голову. Кого видит во сне, Сонечка? Наверное, Гулю.

Княжна старалась одеться неслышно, чтоб не разбудить Сонечку, и уже готовая, спрятав свои рыжеватые волосы под вязаной шапкой,

поцеловала Сонечку.

— До свиданья, милая!"

Сонечка раскрыла веки, обдав подругу за-
спанной, удивленной синевою бездонных
очей своих.

— Как, уже? Противная, ты могла меня
поднять раньше! И я бы поехала с тобою на
вокзал.

— К чему? Это не дальние проводы. Через
три-четыре дня я буду обратно. А ты не ску-
чай и будь умницей! Впрочем, Гуля не даст
скучать. Спи!

И взяв маленький ручной саквояж, Мара
ушла. Сонечка, перевернувшись на другой
бок, уснула.

Вот и Венский вокзал и над ним башня с
часами. В киоске Мара накупила газет и жур-
налов. Отходивший поезд весь густо кишмя
кишел пестрой, шумной толпою пассажиров.

27. О чём тосковала свирель!

Румпеля и след простыл — он уже мчался в погоню за Ковальским, а Гумберг продолжал бесноваться:

— Упустили! Ротозеи!.. Канальи!.. Какие же это гусары?.. Бабы! А я так мечтал, так хотел лично руководить завтра... И вот — убежал!

Топоча ногами, эскадронный схватился за голову, с искажённым лицом. В углах тонких губ проступила пена...

Флуг и Прейскер пытались успокоить его:

— Брось, ты волнуешься понапрасну... Брось! Приди в себя... Во-первых, твоего Ковальского могут поймать, и даже наверное поймают. За ним кинулись по всем радиусам, затравят, как зайца... А во-вторых, Ковальский, Снипяльский, Чертальский — не все ли равно? Сколько у тебя в эскадроне поляков?

— Шестнадцать... Ковальский семнадцатый...

— Ну, вот видишь! Целых шестнадцать польских свиней. За одного Ковальского ты можешь спустить со всех семь шкур!

— А ведь это верно, — спохватился Гум-

берг. — Это верно, — как-то вдруг странно успокоившись, повторил он, мигая холодными глазами, и с просветленным, слегка недоумевающим лицом, вспоминал: — Да-да... Я заметил сегодня... Мне показалось, что рядовые Шамновальский и Еленич не имели мундштучного повода. И все время ездили на одном трензеле. Это взвод Румпеля. И если этот дурацкий растяпа Румпель не вернёт мне Ковальского, живого или мёртвого, все равно я ему покажу... Я ему покажу... Не посмотрю на то, что он унтер-офицер и командует взводом...

— Брось, Гумберг! Охота тебе заниматься службой в неурочное время... Всему свой час... — убеждал Прейскер. — Ты знаешь, я сам строг и терпеть не могу никаких сентиментальностей... Брось! Служба службой, дисциплина дисциплиной, все это так, но надо же что-нибудь для души и для сердца. Сам же ты поднял женский вопрос, а перешёл на мундштуки! Садись! Пей свое пиво, кури свою сигару, и... скоро будет сладкое...

Вахмистр Фреммель, плечистый и рослый,

казался еще выше в твёрдом, клеенчатом уланском кивере, лихо сдвинутом вбок на низко выстриженной голове. Череп с низеньким, плоским лбом у вахмистра совсем крохотный — годовалому ребенку впору. А мясистое лицо — хоть отбавляй! Тяжелый подбородок, тяжелые челюсти твердо выпирали у крохотных глазок сильно развитые скулы. Когда Фреммель смеялся, он напоминал гориллу.

Трудно сказать, кто внушал больший страх солдатам эскадрона: Прейскер или Фреммель. Пожалуй, Фреммель, потому что он, как вахмистр, был чаще на глазах у солдат. Вернее, они были чаще перед его заплывшими, вечно свирепыми глазками, свирепыми, даже когда они смеялись.

Прейскер ценил Фреммеля. Они вместе обдывали разные тёмные делишки с поставщиками фуража для лошадей и продовольствия для солдат эскадрона. Фреммель на "войне" исполнял все щекотливые главным образом кровавые поручения своего майора, который, волею кайзера, назначен был комендантом в Калише.

Этот самый Фреммель стоял у порога в ожидании распоряжений начальства.

— Подите сюда, Фреммель!

Вахмистр учебным шагом подошел к столу.

— Выпейте бокал пива!..

Это было громадной честью, и Фреммель оценил ее во всем объеме. Побагровевший от удовольствия, он выпалил:

— Прозит, господин майор!

И залпом осушил стакан.

— Вот вам сигара... Вы ее выкурите потом!

— Весьма благодарен, господин майор!.. — вторично выпалил Фреммель, беря красными, неуклюжими пальцами большую гамбургскую сигару.

— А теперь вот что, Фреммель... Вы ведь ходок по этой части... Нельзя ли достать двух девочек? Барону Гумбергу и мне. Барон любит брюнеток, а я, вы знаете мой вкус, — блондинок...

Фреммель задумался, сощурил и без того узенькие глазки.

— У вас, наверное, есть что-нибудь на примете? — поощрял его Прейскер.

— Так точно, господин майор! Для господина барона я имею в виду хорошенькую жидовочку... Черна, как смоль, косы, как два лошадиных хвоста, и глаза — два пулемётных дула...

Даже на мрачном, окаменевшем лице Флуга эти сравнения выдавили улыбку.

— А для меня?.. — спросил Прейскер.

— Для господина майора у меня есть на примете жена одного...

— Только не жена!.. — перебил Прейскер, поморщившись. — Девушка!.. И не старше семнадцати лет!

— В таком случае, есть и это, господин майор. Это дочь одного русского чиновника. Он служит по акцизному ведомству...

— Меня не интересует, где он служит!.. Хороша собой?

— Ангел!.. Белокурые волосы, голубые глаза и бела, как снег!

— Браво, браво, Фреммель! Вы становитесь поэтом... Итак, с Богом, за дело! Возьмите с собою десяток вооружённых улан и тащите их сюда, девушек... А с родственниками этих красоток — никаких церемоний. Да и деви-

цам скажите: если будут упираться и выть, никого из близких не оставлю в живых! Поняли?..

— Понял, господин майор.

— Ступайте! Да не терять понапрасну дорогого времени!..

Фреммель, сделав четкий оборот налево кругом, вышел. Прейскер поглубже вставил в глаз монокль, усмехнулся.

— Ну, вот! Мы позабавимся... А Флуг в наказание, что упустил венгерку, останется без сладкого...

— Не по адресу, милейший, — огрызнулся Флуг. — Моя голова сейчас занята совсем другим... За весь день я так намаялся и устал, что пойду спать... Спокойной ночи, друзья, наслаждайтесь вовсю.

Высокий, мрачный Флуг исчез в глубине губернаторского дома.

После захода солнца никто из обывателей не смел выходить на улицу. Ни одна живая душа! Ослушникам этого распоряжения грозила смертная казнь, или попросту удар штыка, или сабли дозорного патруля...

Распоряжение это не касалось одного лишь существа. Человеком его нельзя назвать было. Это — сорокалетний дурачок Стась, вечно босой, вечно в лохмотьях и с неизменной свирелью, из которой он выдувал унылые, монотонные звуки.

Пришли немцы... Грабили, тешились пожарами, убивали... Цветущий городок превратился в мерзость запустения. Уцелевшие жители прятались в погребах и в подвалах. А дурачок Стась бродил по улицам и площадям в короне из сусальной золотой бумаги, высвистывая жалобные мотивы. Бродил и ночью, и днём, на рассвете... Его лицо, безбородое, безусое, без возраста, хранило тупое выражение. В оловянных глазах — хоть бы искра мысли.

Даже немцы щадили его, встречая поздней ночью. На оклики он отвечал:

— Я глупи Стась... Стась глупи...

Солдат в касках это забавляло. Они смеялись над этим дурачком в бумажной короне.

— Сумасшедший! Что с него спрашивать?..

Бродил Стась и в эту ночь. Жалобно плакала его свирель какими-то затерянными звуками. Он выступал босой, в лохмотьях своих, с

голой грудью и в зубчатой, бумажной короне. Остановивался, прислушиваясь к чему-то, и брёл дальше, выдувая усердно писклявые ноты из камышовой свирели, подаренной ему когда-то странствующим "другажем", — словаком, торговцем крысоловками.

"Глупи Стась" увидел впереди себя толпу из нескольких солдат в киверах и среди них — две женские фигуры. Они упирались, уланы тащили их за руки, подгоняя ножнами сабель и прикладами карабинов. Другой на месте дурачка Стася убежал бы — от греха по-дальше... Но Стась никогоне боится. На то он и дурачок. Он пошёл прямо на этих людей в рогатых шапках и, сложив губы трубочкою, дул в свирель:

— Тур-люр-люр... тур-люр-люр...

Но звуки пресеклись вдруг. В безумных, потухших глазах "глупого" Стася, вспыхнуло что-то. Он узнал обеих девушек, растерзанных и растрёпанных, подгоняемых прикладами. Узнал...

Эта белая панночка при встрече давала Стасю копейку. А эта черненькая жидовочка, когда он подходил к их лавке, выносила ему

леденец или пряник.

И вот их ведут эти люди, в рогатых шапках и, наверное, сделают им что-нибудь нехорошее...

И в тупом животном вспыхнул человек, и "глупи Стась" в короне и лохмотьях, как жезл, подняв свою дудку, преградил путь солдатам...

— Слышите вы, злодеи, пся крев! Я, глупи Стась, приказываю вам отпустить на свободу этих девушек! Слышите?.. Они добрые, глупого Стася никогда не обижали...

Фреммель со смехом толкнул его кулаком в грудь. Стась обозлился, увидев близко перед собою красное, мясистое лицо. С каким-то звериным воем он хватил со всей силою по этому лицу своей дудкой... И готов был вцепиться в вахмистра твердыми и длинными, как когти, ногтями...

Взмах сабли... "Глупи Стась" опрокинулся навзничь с раскроенным черепом, выпустив свою верную дудку. Смялась бумажная корона, обогренная кровью. Люди в рогатых шапках прошли со своей добычей мимо трупа, и жалобно хрустнула под солдатским каблуком

раздавленная свирель глупого Стася. И всю ночь лежал посреди площади труп в лохмотьях. И палками закостенели босые, голые ноги, странно, "по-мертвому", развернутые носками.

На один миг, на единственный миг в дурачке Стасе проснулся человек, и это стоило ему жизни...

Когда Фреммель втолкнул в комнату обещанных блондинку и брюнетку, обезумевших, с растрепанными волосами, в синяках и ссадинах, майор Прейскер обратился к ним:

— Вот что, красавицы!.. Никаких слез, никаких истерик, ничего, что могло бы нарушить и омрачить наше веселье. Эти скучные фокусы вы оставьте... Если вы будете милыми и сумеете угодить нам, я пощажу ваши семьи. В противном же случае — не взыщите! Так и знайте! От вашего поведения зависит жизнь ваших родителей и всех близких. Улыбайтесь, кокетничайте, увлекайте, чтоб не было похоронных физиономий... Неправда ли, Гумберг?

Гумберг не слышал. Он оценивал глазами собственника молоденькую, смуглую, с мато-

вым лицом и копной черных, буйно рассыпавшихся волос, еврейку. Он до крови искусает ей губы, и она узнает, что такое ласки барона Гумберга, ротмистра, "гусара смерти"...

А Прейскер распорядился:

— Ганс, пива! Фреммель, спасибо... Уходите все, оставьте нас...

28. Навстречу!

От обычного расписания и следов не осталось. Давно ли, кажется, чуть ли не один за другим отходил поезд? А теперь за весь день всего-навсего — два.

И за это спасибо! Раньше, когда началась война, совсем прекращено было всякое пассажирское движение.

Вот почему в этом поезде только немногие счастливицы сидели. Большинство же толпилось, где только можно, включительно до подножек, занятых с бою смельчаками, ежеминутно рискующими сорваться и упасть вниз под откос.

И хотя у Тамары билет первого класса, — ей пришлось бы все пять с лишним часов утомительного черепашьего хода простоять на

ногах. В лучшем случае — у окна, в худшем — среди сжимающей со всех сторон толпы, теснившейся в коридоре.

Но и зеленоватые японские глаза, и чуть вздернутый носик, и свежий коралл губ, и природная мушка на неясной розоватой щеке, — все это вместе взятое лишний раз доказало, что для молодой женщины с такой внешностью найдется всегда свободный уголок на диване, даже в самом переполненном купе. Так было и теперь.

Княжна сидела, а уступивший ей свое место седоусый пан, уступивший с какой-то рыцарской старосветской галантностью, отправился в коридор созерцать в окно знакомый, хорошо знакомый пейзаж с трубами Жирардовской мануфактуры — этого немецкого форпоста перед Варшавой. Форпоста, где всё население из нескольких тысяч, с главных директоров начиная и до последнего рабочего — сплошь немцы.

И не только "свои", обжившиеся немцы — хотя и свои всегда останутся враждебными, чужими, — а главным образом жадное воронье, слетевшееся из Бранденбурга, Помера-

нии, Силезии и Познани. И в большинстве — запасные капитаны, лейтенанты, фондрихи, унтер-офицеры. Всех этих господ влекла сюда магическая легенда о терпеливом русском баране, стричь которого надлежит немецкими ножницами. Стричь и только стричь! А золотить его рога — это уже, ах, оставьте... Золото щедрым потоком переправляют в Германию эти современные аргонавты.

Княжна слышала вокруг себя польскую речь. Она не понимала всего, но многое было ясно. И она не сомневалась, что "немра" — это немка, а "штиег" — шпион.

Этот же самый седоусый пан, с такой нынешней учтивостью уступивший ей свое место, говорил с плотным господином, которого называл "паном будовни-чим". Он говорил о том, какое — теперь во время войны, в особенности, — вредное, гадючье гнездо этот Жирардон. Все последние варшавские новости известны здесь через несколько минут, и, в свою очередь, передаются тотчас же в Германию по скрытому телефону и с помощью радиотелеграфа. И седоусый пан волновался, негодовал, уверяя, что будь его воля,

все это "гнездо предателей" мигом взлетело бы на воздух. Но, увы, бедный пан лишь мечтать мог об этом.

А когда тихий, едва плетущийся поезд остановился у Жирардовской платформы, "предатели", дымя сигарами, вызывающе громко болтая по-немецки, ходили взад и вперед по асфальту перрона, кидая косо презрительные взгляды на окна вытянувшегося поезда.

Через десять — пятнадцать минут паровоз, свистя, понатужился и с трудом потащил за собою цепь кишевших человеческою гущею вагонов. Навстречу — равнинный, польский пейзаж с деревьями и костёлами на горизонте. Бородатые запасные, настроившие вдоль полотна землянок, охраняли путь. Горели костры у серых палаток. Маячили взад и вперед одинокие фигуры с винтовками. И у каждого моста — дозор из двух-трех солдат.

На станциях одни пассажиры уходили, вместо них появлялись новые. Но все же в купе сделалось просторней, и седоусый пан мог наконец присесть. Это был чудесно воспитанный человек, с хорошими старопольскими

манерами, и княжна, не сомневаясь, что он говорит на этом языке, обратилась к нему по-французски. И он отвечал, не стесняясь свободным изяществом оборотов, произнося красиво и чисто.

Он знает деревню, что назвала молодая спутница. От ближайшей станции, которая будет минут через сорок, это верстах в двадцати. На почтовых или обывательских лошадей рассчитывать нельзя. Но может случиться крестьянская подвода. За несколько рублей она доставит в деревню к заходу солнца.

— Я не смею интересоваться целью вашей поездки. Но разве только в силу крайней необходимости можно рискнуть...

— Вы думаете, опасно? — спросила Тамара.

— Во всяком случае — рискованно! И хотя главные силы германцев, да и то небольшие, находятся в Калише, но какой-нибудь кавалерийский разъезд может вам повстречаться... Не дай бог, если попадетсЯ к ним, этим бандитам, в руки одинокая женщина. Я, во всяком случае, не советовал бы.

— Но мне известно, что именно эта дерев-

ня занята нашим кавалерийским отрядом?

— Это ничего не значит... Одинаково могут небольшие германские разъезды очутиться в русском тылу, точно так же, как русские пробираются в тыл к немцам...

Холодком тревоги обвеяло Тамару. Неужели надо быть готовой ко всяким случайностям?.. А она была так уверена...

Седоусый пан отечески посоветовал ей вернуться назад в Варшаву.

— Я должна поехать! Должна непременно! — горячо сказала Тамара, думая: "Ни за что!" Ни за что на свете не вернется она! Это было бы непростительным малодушием. Она увидит его, непременно увидит, потому что для неё весь смысл, все радости в этой встрече...

В одном лишь каялась... Зачем не послушала коменданта, предлагавшего конвой из двух осетин? Что делать? Позднее сожаление всегда бесплодно...

Вот наконец и станция, где она выйдет. Седоусый пан, выразительно пожелал счастливого пути, кликнул в открытое окно носильщика и сам передал ему вещи княжны.

Тамара осталась ждать в единственной грязной комнатке "для пассажиров первого и второго класса", с графином воды и зеркалом, искажающим немилосердно всех, кто отваживался, в него заглянуть.

Носильщик побежал на деревню искать подводу. Прошёл битый час, показавшийся Тамаре вечностью, — так уныло ползло время в этой комнате с пустым, пожелтевшим графином и тусклым зеркалом.

Слава богу! Задрезжали колеса по камням станционного двора. Вспотевший носильщик прибежал за вещами.

— Есть, проше пани... Досконала фурманка, але хце десенць рубли...

— Хорошо, я ему дам десять рублей... только скорей!..

"Досконала фурманка" жиденькой, дребезжащей подводой оказалась. Пара клячонок, худых, маленьких, в веревочной упряжи. Маленький старичок в белой свитке и с небристой седой щетиною сухого, обветренного лица.

— Знаешь дорогу?

— А як же. Бардзо добже вем! — закивал го-

ловой старичок.

Сидеть пришлось, вытянув ноги. Сено, сбиваясь под ковровой попоною, опускалось ниже и ниже. На ухабах Тамару подбрасывало, и то и дело приходилось хвататься руками за борты "возечка".

Но все эти неудобства скрашивались ясным осенним днём, чистым воздухом и манящим простором далеко бегущих полей. И тихо так, славно кругом... И верить не хотелось, что где-то близко воюют люди, убивая друг друга из пушек и ружей.

И вся унеслась туда, вперёд Мара. Как хорошо любить и с трепетом ждать встречи, после такой долгой разлуки. Вот будет ему сюрприз!..

Она перечитывала на память набросанные карандашом строки... Теперь они переживут их вместе, близко, близко... Вспомнят душный день в аллее сада...

А старичок, вежливо спросив: "Пани позволит"? — натянул верёвочные вожжи и раскуррил трубочку. И опять затарахтела вдоль пыльной дороги подвода, и сизый дымок носогрейки таял в прозрачном воздухе...

Где-то вдали, на пригорках, словно заворожённые, стояли молча усадьбы, поднимаясь крышами и трубами над густой зеленью парка. Гигантскими насекомыми на задних лапках, насторожившими усики, чудились ветряные мельницы.

И — ни души... Ни одной живой души на встречу. Лишь в стороне от дороги наметится там и сям фигура пастуха. И медленно, плотной, грязно-серой массой ползут по буграм его овцы.

И чем дальше, чем ближе к "нему", — волновало девушку нетерпение. И поминутно спрашивала:

— Сколько осталось?

Возница мерил путь не верстами, а "милями", и это ничего не говорило княжне. Но вот они в пути уже около трех часов. И если даже эти маленькие лошадки плетутся самой мелкой рысцою, — конец путешествия близок.

Бежит за подводой облако пыли, мелькают одинокие придорожные вербы, с опавшими листьями, вросшими в землю стволами и пучком тоненьких, гибких ветвей.

Старик сделал затяжку, вынул изо рта

свою носогрейку. И ткнув кнутовищем в пространство молвил:

— Недалеко, проше пани...

Впереди в какой-нибудь версте намечалась деревня.

— Это? — спросила Мара.

— Так есть!

— Скорей, голубчик, скорей... Прибавлю тебе...

Старик задёргал вожжами.

Стоял у дороги ветхий, покосившийся крест с деревянным изображением Спасителя в терновом венце. Фигура была когда-то раскрашена. Время, дожди и непогода смыли краску, и она осталась кое-где, полинявшая.

Сняв свою войлочную шапку, старик набожно перекрестился. А за ним и Тамара, с каким-то хорошим, свежим, вдруг прихлынувшим чувством.

Низ Распятия украшен был цветными ленточками, нитками чёток, засохшими венками из полевых цветов. Такое Тамара видела впервые... Какой-то наивной бесхитростной вдохновенной поэзией веяло на нее от Распя-
тая.

Мимо... Остался позади ветхий, покосившейся, словно благословляющий всех путников, крест...

Тарахтит воз... Ближе и ясней вырисовывается желанная деревня... И оттуда навстречу несколько всадников...

Шибко-шибко забилося сердце Тамары... Вдруг он? Вдруг. Вот будет встреча! И она рисовала себе удивленное лицо, с некрасивыми резкими чертами, дорогое, прекрасное.

Воз и всадники все сходятся, взаимно приближаясь...

Старик повернулся к ней бледным лицом; трясутся губы.

— Моя дрога пани, то ж немцы!..

Мара застыла вся... И ледяной холод, струйками забегавший по всему телу, сменил недавнюю радость...

Всадники — шесть их было — двумя рядами неслись коротким галопом навстречу по дороге, вздымая пыль...

И что-то злое, траурное в этих чёрных венгерках с белыми шнурами и чёрных меховых шапках с чёрным султаном и белым черепом над двумя крест-на-крест костями...

29. "Зеленая опасность"

Заботами доктора Константиновича — он удивительно успокаивающе действовал на больных, этот сумрачный македонский серб — графиня Чечени поправлялась. По ночам не сжигал ее жар, и она вставала, могла ходить, и уменьшались понемногу, таяли недобрые, злые кошмары...

Еще за нею был нужен мягкий, любовный уход и уход, а Вовка получил из Петрограда спешную телеграмму от Арканцева. Молодой сановник немедленно требовал его к себе по важному, чрезвычайно ответственному делу.

И Вовка заметался.

Как быть? Взять Ирму с собою — немислимо. Ей надо оправиться в тишине и покое, а теперь все поезда между Варшавой и Петроградом бог знает до чего переполнены и весь "пробег" — если можно это называть пробегом — тянется пятьдесят с лишним часов, в течение которых поезд стоит на месте, пропуская воинские эшелоны. Больше стоит на месте, чем движется.

Но, допустим, Вовка с помощью своих свя-

зей и секретного документа, оказывающего такое магическое воздействие на жандармские и военное-железнодорожные власти, получит в собственное распоряжение отдельное купе? И все-таки даже в этом относительном комфорте везти Ирму было бы риском для её здоровья.

Тем более Арканцев требует его к себе на один день, и он тотчас же вернется назад в Варшаву.

С другой стороны, какое-то прямо суеверное чувство мешало оставить графиню одну. Он рисовал себе всякие ужасы... Мерещилось, что Флуг-Фантомас, этот хищник, притаился где-то близко и ждёт лишь удобного случая, чтоб без промаха вонзить в свою жертву кроважные когти...

Умом Вовка думал другое. Флуг, после всего случившегося, при всей своей дьявольской неуязвимости, вряд ли отважится так скоро вновь проникнуть в Варшаву. Вряд ли... Но — бережного бережёт Бог. Он, Вовка, обязан оградить Ирму от каких бы то ни было покушений.

Жить ей без него здесь, в "Бристоле" — рис-

кованно. Будь еще княжна Тамара, Вовка оставил бы графиню на попечение этой сильной энергичной девушки. Но вот уже третий день, а о Тамаре — ни слуху ни духу... Сонечка разве? Но вспомнив Сонечку, Вовка не мог удержаться от улыбки, хотя в его настроении ему совсем не до улыбок. Эта милая Сонечка сама нуждается в опекунах и няньках, и, кроме того, все, что не Гуля Малицын, — не существует для неё. Она им только и бредит. Слушает его музыку, смотрит в его знойные, томные от глубокой тени длинных ресниц глаза и на вспотевших стёклах балкона, пишет пальцем "Гуля, Гуля, Гуля", повторяя:

*Вянет лист, проходит лето...
Иней серебрится...
Юнкер Шмидт из пистолета.
Хочет застрелиться.*

Нет, решительно нельзя положиться на Сонечку.

Но как же быть, что делать? Уже второй телеграммой, лаконически-приказывающей, торопит его Арканцев.

И вдруг луч света пронизал колеблющуюся тьму.

Вовка вспомнил Бориса Сергеевича Мирэ. Вот кто, помощник редактора газеты "Четверть секунды" может быть полезен! Кстати, он так расхваливал пансионат пани Кособуцкой. И если Ирма туда переедет и ее поручить заботам жены Мирэ, такой же, вероятно, милой, обязательной, как и он сам, — чего же лучше? Скромный пансионат, маленький. Все жильцы на счету. Не хаотическая гостиница, куда незаметно может проникнуть опасный враг под той или иной маскою.

Сказано — сделано.

Вовка помчался на Госпитальную. У ворот высокого нового дома — фарфоровая дощечка с надписью: "Пансионат г-жи Кособуцкой". И рядом — это же самое на польском языке.

Лифт поплыл вместе с Вовкою в шестой этаж.

Мирэ в своём фантастическом костюме охотника за львами, с заряженным револьвером у пояса, диктовал жене очередную корреспонденцию. Миниатюрная, совершеннейшая колибри, с пышными, прекрасными волосами, Евгения Владимировна чётким бирюзовым почерком своим поспевала за диктов-

кою мужа.

— "...Грозный цепелин, казавшийся исполтинской сигарою, пронизывал облака. И вспыхивало вокруг него множество крохотных облачков. Это были разрывы снарядов..."
Есть, Женичка?..

— Есть, Боря.

— Дальше... — Борис Сергеевич, жуя мягкими гуттаперчевыми губами, припоминал: — "И в этот момент.."

Но в этот момент как раз постучали в дверь.

— Вот не вовремя! — поморщился Борис Сергеевич. Но, увидев Вовку, просиял весь: — А, это вы, Владимир Никитич? Рад видеть! Рад видеть обладателя знаменитой ассирийской бороды.

— Я вам не помешал?

— Разве вы можете помешать? Вы всегда желанный! Всегда! А мы тут пишем... Женечка, позволь тебе представить...

Вовка извинился, что прямо в шинели. Но он так спешит и забежал на минуточку... Он в нескольких словах изложил цель своего посещения.

— Великолепная идея! — подхватил Мирэ. — Кстати, есть одна свободная комната. Перевозите сюда графиню, и ей будет здесь чудесно! Мы с Женечкой не дадим ей скучать. Кормят на убой и феноменальная дешевизна! Что такое? Флуг? Посмотрел бы я, как он сюда явится! А это на что?..

И Борис Сергеевич хлопнул себя по кобуре с заряженным револьвером.

— Первая пуля прямо в переносицу. И — никаких гвоздей! Кстати, как здоровье графини? Лучше... Слава богу! Ах, этот мерзавец Флуг! Попадись он нам только!..

Милейший помощник редактора "Четверти секунды" сделался ужасно воинственным.

Но — от слов к делу.

Борис Сергеевич познакомил Вовку с пани Кособуцкой — полной почтенной дамой, не говорившей ни слова по-русски. Вовка объяснялся с нею по-французски...

Через час он перевёз в пансионат Ирму, а еще через час уехал в Петроград.

Ирме казалось, что она где-нибудь в санатории очутилась — так было кругом спокойно и тихо. Ни шума, ни суеты, ни звонков...

Миниатюрная Евгения Владимировна посвящала графине все свое свободное время. Она была свободна целый день, за исключением двух часов, когда писала под диктовку мужа. Эти два часа были для неё, влюбленной жены, — сплошным священнодействием.

Завтрак и обед приносили графине в её комнату. Все же остальное население пансионата принимало пищу в светлой, обширной столовой. Хорошая половина комнат занята была бесчисленными племянницами и племянниками доброй пани Кособуцкой. Самые требовательные и самые напряженные жильцы, потому что ни копейки не платят, считая обязательным долгом тетушки содержать их за счет прусского короля.

Кроме этих племянников и племянниц в столовой сходилась довольно разношерстная компания. Какие-то бесцветные чопорные дамы, какие-то жгучие брюнетки коммивояжёрского типа, бритые актеры, певицы. Пожилые господа необыкновенно солидного вида. Выскочившие из немецкого плена в чём попало беглецы Ченстохова и Калиша...

В каждом пансионе имеется свой комиче-

ский элемент. И в пансионате г-жи Кособуцкой имелся таковой, в лице вечно суевающейся, провинциального типа, пожилой девы, которая, несмотря на свою девственность — по видимому, ей это шло впрок, — отличалась изрядной полнотою. Помещица, сбежавшая из своего "майонтка" на Подолии, разграбленного австрийцами. Ходила она в каком-то нелепом зелёном платье. Ее так и прозвали "Зелене небезпеченьство" — "Зеленая опасность". В самом деле, она ни минуты не могла оставаться спокойной. Исчезала и возвращалась с целым коробом "самых последних новостей". И всегда — самого безотрадного свойства. Какая сорока приносила ей эти новости на своём пегом хвосте, — это был секрет подольской помещицы. И когда все уже бывали в сборе, она последней садилась за стол, обводя глазами соседей, не замечая выжидательных улыбок.

— Я только что узнала, всем нам грозит большая опасность!.. А может быть и смерть. Германцы со всех сторон обложили Варшаву, и пятьдесят цеппелинов будут бомбардировать город сверху... Бедная Варшава... Бедные

МЫ!..

Сидевший против Зеленой опасности драматический артист Павловский, делая усилие, чтоб не расхохотаться, с невозмутимейшим видом перебивал свою визави:

— Пани, я должен сказать, что ваши сведения грешат неточностью...

— А я должна сказать пану, что получила эти новости из самых верных уст...

— Я не сомневаюсь, но вкралась одна ошибка. Не пятьдесят цеппелинов будут атаковать Варшаву, а сто двадцать восемь. Это самая верная цифра...

— Вот-вот я сама хотела сказать: сто двадцать восемь!..

На другой день:

— А вы знаете, мне сказали, что русским, французским и английским пленным живет-ся чудесно у немцев! Кормят их — несколько блюд получают простые солдаты! Мяса и хлеба вдоволь!..

Павловский не оставался в долгу:

— Пани упустила одну подробность.

— Какую?..

— Вы забыли добавить, что каждому плен-

ному солдату полагается в Германии бутылка шампанского...

— Вот-вот! А что вы себе думаете, я сама хотела сказать... Но пан Павловский всегда меня перебьёт... Пан Павловский что-то против меня имеет...

— А кто не хочет, — продолжал Павловский, — тем насильно вливают шампанское в рот...

Зеленая опасность не решалась ничего ответить. Может быть, это верно, а может быть, Павловский захотел посмеяться над нею? Таковой уж народ — артисты. Свяжись только с ними!..

В конце концов, ее затравили, беднягу. Особенно стал изощряться над нею Мирэ:

— А вы знаете, австрийцы уже в Киеве...

— Не может быть!

— А германцы идут на Москву...

— Скажите, пожалуйста!

— Они задумали поход на Сибирь, чтоб соединиться с дружественными китайцами. Кавалерские отряды уже достигли Урала.

Ошеломленная помещица, не доев сладкого блюда, спешила к знакомым, чтоб сооб-

щить им "самые последние новости".

Весело жилось в пансионате пани Кособуцкой...

30. Старые счета

Да, это были "гусары смерти"...

Тамара вспомнила, как они шли без оружия, под конвоем, по улицам Варшавы... И траурная, рассчитанная на мрачный эффект форма казалась лишней и жалкой и не только никого не пугала, наоборот, смеялись в публике при виде этих белых черепов, нашитых даже на рейтузы...

Здесь же, среди поля, всадники с карабинами, саблями, с опущенной на подбородок "чешуею", сообщающей лицам что-то походно-суровое, производят внушительное впечатление... В особенности если, выхватив саблю, они окружают остановившийся воз с двумя беззащитными пассажирами, девушкой и стариком...

Беззащитными?..

Княжна вспомнила ясно и четко про свой револьвер, отделанный перламутром. Именно, перламутром... И что такое в её руках эта

безделица против шести вооружённых до зубов кавалеристов?..

Шести... Шестой — офицер...

Тамара еще не успела испугаться, как следует. Главный испуг в таких случаях — всегда впереди... И поэтому, с какой-то жуткой, цепляющейся крепко за что только можно уцепиться, ясностью, работала мысль...

Множество упрёков себе самой, и только себе!.. Тоскливое сожаление, самое тоскливое, потому что — непоправимо позднее... И безрассудством, сплошным, диким и глупым, выяснилась вдруг вся эта поездка... Надо было слушать коменданта, Сонечку, седоусого пана, а главное, себя, потому что все время ее мучило искусственно баюкаемое доверие к тому, во что нельзя верить...

Минуту назад она была вольной и гордой, все, решительно все, делая, что захочет...

Ах, как противно мигают сабли, близко так. И зачем?.. Зачем, когда все это ненужно...

Старенький мужичок, кинув свои немудрёные вожжи, думал кубарем свалиться со страху, но короткий, грозный окрик на чужом языке, свирепое чужое лицо, охваченное бе-

лой наборной чешуею, и старик, ни жив ни мёртв, затаился, а лиловые от испуга и возраста губы, кладая зубами шептали:

— Матка-Боска Цудовна, змилуйсе...

Внешность офицера показалась Тамаре как будто знакомой... И посреди цепящего озноба пыталась она вспомнить, кто же это?.. И где, и когда она его видела?..

Вспомнила... И до чего ярко! Мучительно-ярко вспомнила... Каждую веточку, каждый листик опушки леса вспомнила... И узловатые корни, змеями вросшие в землю... Она сидела на этих корнях и была в лакированных сапожках со шпорами... Один миг, стремительный, безумный, и Гумберг отпрянул, как тигр, схватившись за лицо, с вспыхнувшей на нём красной полосой...

Все исчезло... И темной, унылой пустотою наполнилась душа...

Гумберг двумя-тремя секундами позже узнал Мару, чем она его.

— Княжна?.. Вы ли это? Как я рад встрече! Сама судьба, положительно судьба... И в какой поэтической обстановке... Телега, сено!.. Природа, Польша... И эта вязаная шапочка...

Он сдерживал коня, напирившего грудью, широкой, сильной грудью, с выпуклыми разветвлениями жилок под лоснящейся коричневой шерстью... Напирал на подводу, и влажные ноздри лошади обдавали княжну тёплым, как пар, фыркающим дыханием...

Вынуть револьвер, на груди спрятанный, и... в это бритое лицо, улыбающееся так торжествующезверски... Ну а потом? Потом этот самый, непременно этот самый солдат, уже немолодой, с белой щетиной усов, полоснёт ее саблей...

Гумберг угадал её мысли.

— Княжна! Вы — моя военнопленная... Постарайтесь отдать мне ваше оружие...

— Какое? — спросила Мара, сознавая всю ненужность вопроса.

— Странно... Есть же при вас револьвер? Дамы в такой путь не едут с пустыми руками... Я не люблю никаких случайностей, кроме приятных, разумеется, вроде нашей встречи, о которой я, признаться, и мечтать не смел. Итак, ваше оружие?..

Мара, прикусив нижнюю губу, сунула ему револьвер. Он поиграл им.

— Пустячок, но и пустячок бывает опасным в смелой руке. А у вас рука смелая... И даже очень... Я убедился в этом собственным опытом... Помните нашу прогулку верхом? Я не забыл... И тогда же поклялся при случае отомстить... Хотя не верил в случаи. И вот, однако... Но это довольно комическая картина! Мы остановились посреди дороги... Дороги, которая в наших руках... И со стороны хозяев это нелюбезно и неучтиво... Гораздо удобнее пригласить вас, княжна, в гости ко мне, в эту деревню... Видите, лица моих солдат вытянулись в довольно глупом недоумении? О чём это болтает их эскадронный по-французски с барышней, которая едет в простом возу, но у которой такой щегольской несессер?..

Гумберг, освободив из стремени ногу, — он все время "играл" стремянем, — ткнул возницу носком в плечо.

— Поезжай вперёд!

Старик не мог пошевелинуть руками... Так сковал его страх...

Новый толчок... посильнее... И он, с грехом пополам, задёргал вожжами.

— Румпель, поезжайте за нами, сзади, —

бросил Гумберг унтер-офицеру, кивнув на солдат.

Воз покатился к деревне... Гумберг, приседавая на облегченной рыси, равнялся с княжной.

И опять она каялась и бичевала себя, недавно такая свободная... Ей было страшно... От Гумберга не ждать пощады! Но гордость заставляла крепиться и не показывать до чего она вся внутри, съезживаясь, коченеет... А он, счастливый своею ценною добычей, болтал без умолку:

— Я все знаю... Вы ехали на свидание к маркизу Каулуччи. Вот что значит любовь! И вы опоздали всего на несколько часов. Всего... Эскадрон их получил предписание спешно очистить деревню. А мы ее заняли. И я помещаюсь в той самой халупе, откуда маркиз писал вам письма. Мы увидим даже следы его недавнего пребывания... Увидим забытый конверт, надписанный вашей рукою... Но что же вы молчите, княжна? Молчите упорно... Там, у себя, вы были гораздо словоохотливей... Вы меня боитесь?

— Я вас презираю! — бросила она.

— Что такое презрение? Пустое слово... Из него не сошьёшь даже венгерки... В особенности отороченной вашими же, русскими, соболями... Важнее всего — факт! Слова без факта не имеют никакого значения... Вы мне говорите, что вы меня презираете... Великолепно, презирайте! А я вам говорю, что вы, княжна, из древней семьи, очутились в моей полной власти... И я волен делать с вами все, что мне угодно... Все... Для меня никаких законов не существует... В военное время — в особенности... Война все извиняет, все оправдывает... В этом отношении германский офицер — сверхчеловек! Ему все позволено...

— Даже пристреливать раненых и дочиста грабить их? — спросила княжна, со складкою между бровями.

— Даже и это! Вы полагали меня смутить? Напрасно! Во всём нужна последовательность... Трезвая логика... Логика — в нашу пользу... Добивая офицера, я уменьшаю неприятельский командный состав. Что же касается денег и ценных вещей, то, право, они гораздо необходимей живому, чем мёртвому. Нам никогда не понять друг друга...

Сентиментальность славянской расы чужда трезвой и твердой, как железо, душе и натуре германцев...

Вот уже потянулась околица вымершей деревни. Что могло — убежало, и след простыл давно, а что осталось — поспешило запрятаться подальше, с появлением "гусар смерти"...

Шершавый дворовый пёс, с молочными бельмами на слезящихся, старческих глазах, с хвостом в репейнике, худой — ребра все пересчитать можно — хрипло и одиноко залаял.

Приехали... Гумберг велел спешившемуся солдату взять с подводы вещи княжны и внести в хату. Покосившееся крылечко, лужа, и в ней — разохшееся колесо... Откуда-то гусар провёл в поводу неосёдланную лошадь. И Гумберг сделал ему какое-то замечание...

Гумберг вместе с княжной вошёл в халупу, одетый, как на парад: в медвежьей шапке, с чёрным султаном и с новенькой лядункой через плечо, поверх траурной венгерки....

— Вот здесь... Я помещу вас здесь, пока... пока не отправлю куда-нибудь подальше...

Мара осмотрелась: неуютно и голо... На

столе — коническая бутылка с оплывшим огарком... При свете этого самого огарка, склонившись, он писал ей... Как она стремилась к нему! И вот его нет, и до чего далёк он, бесконечно, от мысли — вдуматься, прямо чудовищной мысли, — что его Мара здесь, в этой самой комнатке, с глазу на глаз с Гумбергом, и вся во власти этого "сверхофицера" германской армии...

— Располагайтесь, как дома, княжна... Увы, я не могу предложить вам больше комфорта. Хотя вы сами знали, на что и куда ехали... Здесь — ни теплой и горячей воды в любое время, ни ванны, ни мягкой постели со свежим бельём... Не взыщите! А если вам нужны какие-нибудь особенные услуги, мы вам добудем какую-нибудь старуху деревенскую... Это не будет ловкая, опытная горничная, вроде вашей петроградской... Но... Что я вижу! Слезы?

Княжна беззвучно плакала, стыдясь своих слёз перед Гумбергом и больно закусывая губы, чтоб удержаться. Но не могла... Ширилась тоска, что-то громадное, щемящее, тупое давило грудь, сжимая горло, вызывая какое-то

мутьящее головокружение...

Эти слезы унижения и обидного бессилия огнём жгли веки. И при виде их в Гумберге проснулся, заскребшись когтистыми лапами, зверь... И глуше стал его голос... Он подошёл к ней ближе... И молвил:

— Помните, когда я желал вас, а вы... Я хочу, чтобы вы целовали меня, целовали то самое лицо, которое осмелились ударить... Ну?..

И он обнял ее...

Мара, оттолкнув, крепко схватила за кисти рук Гумберга, ломая их так, что захрустели пальцы... И он не мог вырваться... Ему было адски больно... А Мара, стиснув зубы, продолжала своими пальцами дробить эти холёные руки так, что они побелели... И выпустила, увидев его искаженное лицо, готовая к борьбе, если б он даже кинулся на нее с оружием... Один конец...

Но Гумберг, отрезвленный болью, почувствовал какое-то минутное уважение к этой девушке. И со злобою, не чуждой восхищения, овладевая собою, сказал:

— Вы — сильная... Я не встречал таких сильных женщин. Откуда у вас эти пальцы...

стальные?..

— От шопеновских вальсов, — ответила Мара насмешливо, борьбою стряхнувшая с себя подавленность.

А Гумберг, спохватившись, что сбился с тона "завоевателя и собственника", поспешил заговорить по-другому:

— Пожалуйста, ни на что не надейтесь! Вас может спасти одна лишь покорность... Мы еще побеседуем... и, если еще раз вы пустите в ход ваши пальцы, я позову солдат... А к такой крайней мере я не хотел бы прибегнуть... Поняли? Я ухожу... На досуге у вас будет время подумать обо всём... Я позабочусь, чтобы вас накормили. До скорого свиданья!

Кивнув чёрным султаном, он вышел... И бросил уже с порога:

— Не вздумайте убежать... Я поставил двух часовых... Если только вы покажетесь на крыльце, они будут стрелять...

31. Пенебельский процветает

Затихла, приумолкла петроградская биржа. И пусто, уныло под монументальными портиками, среди массивных колонн этого Пестумского храма, перенесённого на берег Невы. Куда девались юркие, суетливо галдящие фигуры? И нет длинной вереницы экипажей и автомобилей, тянувшихся иногда по самый Дворцовый мост. Капище Меркурия, плутоватого бога с крылышками, давно уже вымерло. Улетел куда-то непоседливый Меркурий и нет жрецов, нет молящихся. Пусто...

Вообще для многих предприятий, банков, заводов, акционерных обществ первые пушечные выстрелы явились траурным сигналом, возвещавшим катастрофу. И то, что казалось было крепче крепкого, надежнее надёжного, лопалось, как мыльный пузырь, словно карточный домик разваливаясь.

Одним из немногих счастливцев, которому война послужила впрок, а не в убыль, счастливцем, сохранявшим одновременно трогательно-дружеские отношения и с Меркурием, и с грозным Марсом, был Ольгерд Фер-

динандович Пенебельский.

Помимо одновременного чудовищного обогащения дела Пенебельского вообще шли блестяще. Его банк работал на славу, и кроме отделений в Софии и Тегеране Ольгерд Фердинандович горделиво мечтал покрыть едва ли не весь шар земной целой сетью таких же отделений.

Об этом надо подумать и подумать... Не настал час еще. Должна окончиться война, затем наступить "ликвидация". И когда всё успокоится, можно будет помечтать и о сети предполагаемых отделений.

Когда кончится война?.. Вот вопрос, на который никто не в силах ответить. Никто. Даже Флуг.

Ах, этот разбойник! Ольгерд Фердинандович вспоминал Флуга всегда с каким-то смешанным чувством. Он и ненавидел его, и боялся. Еще бы! Человек, ограбивший Пенебельского на целых четыре миллиона, нельзя же питать к нему за это нежность?

Ольгерд Фердинандович, как влюбленный в себя эгоист, упускал совершенно из виду, что благодаря Флугу и только Флугу удесяте-

рил он так стихийно свое состояние и сам же в "наполеоновском" кабинете обещал ему за эту "комбинацию" два миллиона. Вообще чем больше ему везло и чем щедрее и богаче баловала его судьба, тем он становился жестче и суше. И скупее... Скупее — в мелочах или в том случае, если о его тороватости никому не будет известно.

Ольгерд Фердинандович мог с лёгким сердцем выбросить две-три тысячи на обед с титулованными гостями, мог "королевским" жестом положить пятисотрублёвую на блюдо какой-нибудь знатной дамы-патронессы, чтоб услышать из её уст несколько банальных слов признательности. Мог...

Мало ли что мог он позволить себе при своих капиталах?

И в то же время Ольгерд Фердинандович мог с лёгким сердцем уволить старого, много-семейного служащего, заикнувшегося о прибавке. О самой ничтожной прибавке. Со своими "белыми неграми" Ольгерд Фердинандович не церемонился. К чему? Ведь об этом не узнают ни его титулованные сановные друзья, ни дамы-патронессы, мнением которых

дорожил Пенебельский.

И когда осторожно пытался кто-нибудь остановить Ольгерда Фердинандовича от рискованного шага, у него на устах всегда была фраза:

— Ничего... Было бы болото, а черти найдутся!

Везло ему анафемски. И увольнение честных и полезных работников, осмелившихся заикнуться о десятирублевой прибавке в месяц, как ни странно, это не отзывалось на общем ходе машины.

— Вот видите, — ликовал Ольгерд Фердинандович. — Незаменимых людей нет! И вся суть в генерале, полководце, а не в солдатах. Наполеон и с плохими солдатами одерживал победы.

Ольгерд Фердинандович укрепился окончательно в мысли, что он обладает гением финансового Наполеона. И Пенебельский по случаю купил у одного разорившегося барина золотой умывальный прибор Наполеона. Это удовольствие обошлось ему тысяч в сто двадцать. Но что такое сто двадцать тысяч в сравнении с правом говорить:

— В этом самом тазу мылся Наполеон. Из этого самого кувшина поливали ему на руки. Здесь он клал зубные щетки. Здесь — мыло... И куплено все это мною у такого-то.

Ольгерд Фердинандович не утерпел и, несмотря на то, что приобретение носило музейный характер, он несколько раз пользовался умывальным прибором Наполеона.

— Что такое? Почему нет? Я купил, заплатил деньги и, кажется, могу разок-другой умыться...

Он и не подозревал, что совершает кощунственное святотатство.

Умывальный прибор Наполеона, с его подробным описанием и стоимостью, попал в газеты. И на снимке изображён был рядом с кувшином и тазом счастливый обладатель золотых массивных предметов.

Ольгерд Фердинандович вошёл во вкус рекламы. Если проходил день без того, чтоб его имя не промелькнуло в газетах, ему становилось не по себе. Пускай и Петроград, и вся Россия знает, какой у Ольгерда Фердинандовича особняк и даже не особняк, а дворец, кто бывает на его обедах и в котором часу он вста-

ёт...

Репортёрам Ольгерд Фердинандович безбожно сочинял, что в семь часов утра он уже на ногах и работает. Пусть пишут себе на здоровье! Иначе нельзя. Все сановники, все государственные люди встают рано, и хотел бы Пенебельский прочесть где-нибудь в одном из интервью, что такой-то министр встаёт позже семи.

Ольгерд Фердинандович сделался большим русским патриотом и ярким противником всего немецкого. И повсюду: и у себя в банке, и за обеденным столом, и в разных финансовых заседаниях и комиссиях — он демонстративно кричал:

— Мы им покажем! Мы им покажем, этим гнусным варварам! Узнают они, что такое наша святая Русь, когда она мощно и грозно всколыхнется. Много пролито нашей героической крови, будет еще много пролито. Но мы сокрушим врага. Мы его сокрушим!

С наступлением холодов, когда явилась насущная необходимость в теплом белье для солдат, Пенебельский убрал один из своих автомобилей цветами и флагами и, посадив в

него двух красивых артисток, выехал вместе с ними на Невский. И здесь он, стоя в автомобиле, жестикулируя, держал речь, вернее, целый ряд маленьких, одинаковых речей к сновавшей мимо толпе.

— Граждане, откликнитесь! Откликнитесь кто чем может! Каждая копейка пойдёт впрок! Граждане, холодно в окопах, очень холодно. Мерзнут наши герои, солдатики мерзнут. Пожертвуйте! Каждая копейка...

И так без конца.

Произнеся около сотни зажигательных "речей", Ольгерд Фердинандович охрип. Фотограф, заранее оповещённый им, снял Пенебельского с поднятой рукою в позе Демагога [14]. "Демагога" в пальто, с бобровым воротником и в цилиндре. Этот снимок обошёл газеты и журналы, с текстом, восхваляющим благотворительную деятельность Ольгерда Фердинандовича.

Но такими автомобильными "эскападами" Ольгерд Фердинандович не ограничился. Все это пустяки. Надо что-нибудь солидное, крупное, дающее и результаты солидные в смысле почестей. Словом, Ольгерд Фердинандович

осуществил свою идею организации санитарного поезда имени О.Ф. Пенебельского.

Первый поезд Ольгерд Фердинандович сопровождал собственной персоной своей в Варшаву. Для этого он надел соответствующую, а может быть, и несоответствующую форму. Но, если человек организует собственный санитарный поезд, к слову сказать, великолепно оборудованный, кто же станет придирается к его форме?

Так или иначе вся прислуга, санитары, сестры и даже врачи называли Пенебельского "вашим превосходительством". Пальто у него было генеральское, на цветной подкладке и с узенькими серебряными погонами действительного статского советника.

В Варшаве, в гостинице "Полония", Ольгерд Фердинандович занял самый дорогой номер из нескольких комнат и даже с собственной биллиардной, один из тех, в которых останавливаются путешествующие принцы.

На другой же день Пенебельский объехал всех административных лиц. Одни его приняли, другим он забросил карточку. И тем, которые его приняли, он горячо говорил о своей

любви к России, приглашал взглянуть оборудованный им санитарный поезд.

На следующий день Пенебельский объехал кой-кого из польской знати. Здесь он пел совсем другую песню: он поляк. Поляк с головы до ног, по крови, симпатиям и убеждениям. Он верит в новую зарю для польского народа, зарю, которой суждено разгореться так ярко!

А чтоб слово не расходилось с делом, Пенебельский перешёл к пожертвованиям. Десять тысяч дал он в пользу разорённых немцами польских беженцев и десять тысяч на организацию польских легионов.

Ольгерд Фердинандович на время сделался модным человеком в Варшаве. О нём говорили, к нему посылали польские газеты своих интервьюеров. И думая угодить им, Ольгерд Фердинандович бранил евреев, говоря, что деваться некуда от их засилья.

Мимоходом Пенебельский сообщал о своих польских предках, профессорах, маршалах и уланах. Но, чтобы труднее было проверить, называл себя галицийским поляком.

— Там, в Галиции, у меня довольно круп-

ное имение. Но чем могу действительно похвастать, — это моими виноградниками в южной Венгрии.

Словом, все шло как по маслу. Почёт и уважение, уважение и почёт. Репутация щедрого благотворителя. И в польских кругах — убеждённого поляка.

Но где розы, там и шипы. Не бывает сплошных только роз. Такими шипами явилась для Ольгерда Фердинандовича неожиданная-негаданная встреча — с кем бы вы думали? — с Флугом...

32. Сатана

Возвращаясь к себе в "Полонию", — он потону ему остановился здесь, что "Полония" считается шикарнее "Бристоля", — Ольгерд Фердинандович всякий раз с нетерпением бросался к портье:

— Кто-нибудь заезжал? Оставили карточек?..

Его тешили карточки с громкими графскими и княжескими именами, тешило то, что к нему заезжал тайный советник Зет, генерал-лейтенант Игрек, гофмейстер Икс.

О, все эти карточки Ольгерд Фердинандович у себя, в Петрограде, сумеет разложить лицевой стороной. И они произведут соответствующее впечатление!..

Нет, слава богу, все идёт великолепно. И если княгиня Воронцовская пригласит его к себе завтракать, закончатся этим все его требования от Варшавы. Больше он ничего не хочет.

Он покажет себя джентльменом. И тут же, во время завтрака, предложит княгине кругленькую сумму в несколько тысяч на раненых тех госпиталей, которыми она заведует.

Ольгерд Фердинандович обедал в "Лондонской" гостинице с одним из санитарных генералов. В "Лондонской" потому, во-первых, что там имеется старый наполеоновский коньяк, а во-вторых, в этой гостинице ночевал сам Наполеон, возвращаясь из России.

И вот, холодными сумерками с бледными небесами и отгорающим золотистым закатом, Пенебельский вернулся к себе в "Полонию". Дымя четырехвершковой сигарой, он по обыкновению первым делом атаковал портье:

— Карточек есть?..

— Есть, ваше превосходительство!

Ольгерд Фердинандович глянул, поморщился. На этот раз — мелочь все. Ни одного титулованного визитера, ни одного человека с видным положением.

— Прикажете наверх подать, паше превосходительство?

— Нет... не надо... оставляйте у себя!..
Лифт!

Лифт взметнул Ольгерда Фердинандовича во второй этаж. Ольгерд Фердинандович вспомнил: вот кто не забросил ему своей карточки в ответ на его визит — маркиз Вельпольский. Неужели так и не удостоит?.. А между тем его карточка была бы таким эффектным пятном среди варшавской коллекции...

Продолжая курить, Пенебельский, заглянул в "свою собственную" бильярдную и, взяв кий, погнал шар дуплетом в среднюю.

Да, своя собственная бильярдная... В этих комнатах с бронзою, венецианскими зеркалами, пышными люстрами и широченной кроватью под балдахином останавливались

принцы крови. И спали вот на этой самой кровати под балдахином. А теперь на ней спит Ольгерд Фердинандович Пенебельский, сын мелкого бобруйского лавочника. Вот что значат деньги! Деньги — все, и без них человек — нуль круглый...

Где-то далеко, у самого коридора, открылась дверь.

— Чего там такого? — окликнул Ольгерд Фердинандович.

Вошёл в биллиардную к нему лакей.

— Ваше превосходительство может принять маркиза Вельпольского?..

— Дурак! Что значит принять?.. — мгновенно засуетился Ольгерд Фердинандович... — Что значит принять? Где его сиятельство?

— Они на коридоре...

— Так что же!.. Зови, приглашай его сиятельство... Впрочем, я сам...

И одетый в полувоенную форму, тучный, с большим животом, на коротеньких ножках, Пенебельский устремился, сияющий, ликующий навстречу желанному, дорогому визитеру. Не ограничился карточкой!.. Сам собствен-

ной персоной своей пожаловал!.. И какая пер-
сона! Маркиз, обер-егермейстер.

И Ольгерд Фердинандович рисовал себе
маркиза, которого никогда не видел, высо-
ким, внушительного вида магнатом.

Маркиз действительно оказался высоким.
Но особенной внушительности не замеча-
лось. Правда, усы у него были пышные и чер-
ная визитка сидела безукоризненно...

— Ваше сиятельство... Как я счастлив! По-
жалуйте сюда, в салон... Покорнейше прошу,
садитесь в это кресло... Чрезвычайно рад слу-
чаю... Да, случаю, потому что я хотел предло-
жить вашему сиятельству еще один малень-
кий взнос на организацию польского легио-
на... Совсем маленький — тысчонок в два-
дцать пять... Я убеждён, что на святое дело за-
щиты многострадальной земли польской от
варваров...

Ольгерд Фердинандович осекся, и вкус
двухрублевой "Фернандец-Гараа" вдруг пока-
зался ему горьким.

Неподвижным взглядом, холодным и тя-
жёлым, как у трупа, смотрел на него все вре-
мя звука не проронивший гость. И что-то да-

вящее и жуткое было в этом молчании...

Но вот наконец заговорил маркиз, с улыбкою, сухой, иронической:

— А может быть, пан Пенебельский раскошелится и вместо двадцати пяти тысяч пожертвует на святое дело сумму вдвое большую?..

— Если это необходимо, отчего же, я готов... Я готов... — неуверенно отозвался Пенебельский, понемногу овладевая собою... И уже сигара казалась ему ароматной и мягкой на вкус.

И вдруг хохот... Да какой... Так смеяться может Сатана разве... Пенебельскому казалось, что на голове его шевелятся волосы. И они действительно зашевелились, когда "маркиз" двумя короткими движениями отклеил пышные усы.

Пред Ольгердом Фердинандовичем сидел Флуг.

— Ну что, господин фон Пенебельский? Не ожидали? Вы, вероятно, успели позабыть обо мне... Но я не забыл о вашем существовании... Я интересуюсь каждым шагом вашей почтенной особы и, как видите, слежу за вами. На-

столько слежу, что знаю, как бы вам хотелось получить ответный визит маркиза, не принявшего вас. Вы теперь знаменитость... О вас трубят газеты... Читал, как вы браните евреев... Не думаю, чтоб эти отзывы понравились вашему покойному папаше, если б он мог освободиться от белого савана и, вывернув каменную плиту, прочёл бы варшавские газеты за вчерашний и сегодняшний день. Я думаю, бедному, честному старику эта литература доставила бы много неприятных и горьких минут... Как вы полагаете, господин фон Пенебельский, познаньский немец и немец по духу и убеждению, перекинувшийся теперь в польского и русского патриота?..

Ольгерд Фердинандович сидел, затаив дыхание. Бледный-бледный. Вся краска, вызванная обедом в "Лондонской" гостинице и наполеоновским коньяком, сбежала с лица.

— Опять маскарад... — вымолвил он.

— Опять! Но и мой визави не чужд маскарадов... Ваша опереточная форма стоит моих наклеенных усов.

— Ну а если я звоню и приходит прислуга, и я ей говорю: зовите полицию, потому что

этот человек есть немецкий шпион... Что будет тогда?

— Что будет тогда — извольте... Во-первых, вы не успеете позвонить. Я слежу за каждым движением вашим. И один хороший удар по голове этим кастетом!.. — Нежданно-негаданно правая рука Флуга оказалась вооруженной опасным прибором с острыми рогульками над каждым суставом пальца. — Это одно предположение. Но, допустим, вы успели позвонить... Допустим, явилась полиция... Допустим, я арестован... Что же вы думаете? Так это вам сошло бы? А ваши знаменитые расписки? Вы забыли об их существовании? А ведь они существуют... И в чьих руках, если бы вы знали! И тогда — прощай санитарный поезд, прощай опереточная форма, карточки, и не угодно ли облечься в серый халат и прогуляться туда, куда русские пересылают австрийских пленных...

Ольгерд Фердинандович молчал, подавленный. Неужели будет всегда висеть дамокловым мечом над ним этот ужасный человек?..

— Чего же хотите от меня? — собрался на-

конец с силами. — Ведь вы же ограбили меня на четыре миллиона!

— Чего же я хочу... Во-первых, оштрафовать вас за все те глупости, которые вы делаете вашими пожертвованиями на польский легион и вообще на все нужды, связанные с войною. Несколько месяцев назад вы убеждали меня в ваших германских симпатиях. Тогда вы верили в наше молниеносное торжество. Надежды не оправдались. Война затягивается, и вы решили заняться ловлею рыбы в мутной воде... Итак, первым делом — штраф! И штраф основательный... Я с удовольствием, с особенным удовольствием сделаю вам кровопускание... Сумма, на которую я могу рассчитывать?..

— Не знаю. Я в ваших руках. Вы можете меня ограбить до нитки.

— Зачем же до нитки... Я буду справедлив. Назовите мне общую сумму всего истраченного вами на санитарный поезд "имени Пенемельского", на все здешние пожертвования, плюс пятьдесят тысяч, которые вы хотели прибавить на польский легион, думая, что перед вами вместо меня маркиз Вельпольский.

Видите, какая у вас слабость к высокопоставленным знакомствам. За один визит пятьдесят тысяч! И какое разочарование!.. Маркиз не был у вас с визитом и не будет, а пятьдесят тысяч достанутся мне. Итак, общая сумма? Но не вздумайте врать. Для верности возьмите карандаш и бумагу...

Карандаш дрожал в пухлых, коротких пальцах Ольгерда Фердинандовича. Дрожал. Но ничего не поделаешь, надо подвести итог. Итог выразился — четыреста тридцать тысяч.

Флуг пробежал лоскуток бумаги. Пробежал и одобрил.

— Это, по-моему, соответствует истине. Я видел ваш поезд. Оборудован великолепно. На ваши деньги мы оборудуем у себя точно такой же. А теперь, от слов к делу. Вопрос технический. Как же я получу эти деньги?

— Я не знаю...

— Вы не знаете? Вопрос чрезвычайно наивный, в устах банкира в особенности. Даю вам сроку двадцать четыре часа. Завтра вечером в это же самое время явится к вам за деньгами человек. Он ничего не будет говорить. Он только покажет вам этот самый кас-

тет. С ним будет пустой несессер, который вы наполните. Желательно и золото. Хоть на несколько десятков тысяч. Помните же: малейшая попытка к предательству или уклонение — и вы погибли. Вас ничто не спасет. А пока имею честь кланяться...

Флуг подошёл к зеркалу, не спеша наклеил усы и, бросив на Пенебельского насмешливо торжествующий взгляд, ушёл.

От страха, от необычайного волнения и нового "кровопускания" почти в полумиллионном размере Ольгерд Фердинандович занемог, ослабел, тошнота, головокружение. Слёг в постель, вызвал доктора. Но все это не помешало ему дать срочную телеграмму в Петроград в свой банк. Болезнь — болезнью, а к завтрашнему вечеру должны быть четыреста тридцать тысяч. Должны... Должны, иначе...

Ольгерд Фердинандович щёлкал вставными зубами в холодном поту при одной мысли, каких бед и несчастий может натворить с ним этот проклятый, дьявольски неуязвимый Флуг...

33. Вспугнутые...

Одна, вместе со своим горем, Тамара дала волю слезам. Хотелось выплакаться. Еще с детства привычка осталась. Обида, несправедливость какая-нибудь: отец накричал, повздорила с братьями, — выплачешься где-нибудь в укромном уголке, чтоб никто не видел... Пожалеешь себя, и станет легче.

Тамара, сильная духом, энергичная, скорее бодрая, чем унывающая, Тамара не видела никакого просвета. Нельзя рассчитывать даже на слепой случай. Она в когтях Гумберга, и он выместит на ней памятный удар хлыстом.

Как странно судьба играет людьми и до чего поменялись они ролями! Она возвращалась тогда победительницей, ведя как трофей в поводу его лошадь, а он униженный, с кровавой полосой на лице, пробирался задворками на станцию в своей щегольской визитке. Это было тогда...

Теперь же она, Тамара, в его безграничной власти.

И чем больше она думала в этих густеющих потёмках осеннего вечера, тем острее

выплывало безрассудство этой затеи с поездкой.

Безрассудство? Но виновата ли она, что ей так мучительно захотелось увидеть любимого человека? Захотелось, охватил порыв и... вот... Когда любишь, не до логических выкладок и соображений. Вернее, логика влюблённых какая-то совершенно своя, особенная, вся наперекор общепринятой логике.

Эта сумбурная логика и привела ее сюда. Стоит ей показаться в дверях, часовые — она видит в окно силуэты их — вскинув к плечу свои карабины, пристрелят ее... А Гумберг обещал заглянуть... На его языке это продолжение домогательств, в которых он встретил энергичный отпор. Отпор — один на один. Но с этого изверга хватит исполнить свою угрозу — привести солдат.

И было физически больно... И поднимались бешенство, жгучий стыд и еще что-то, сжимавшее клещами горло, мутившее рассудок, обжигавшее сознание мыслью покончить с собою. И — так просто... Несколько шагов по этим скрипящим половицам, распахнуть дверь, и не промахнутся же эти гусары, в

каких-нибудь восьми — десяти шагах.

И был момент ожесточённого потемнения, потемнения, в буквальном смысле слова. Мара ничего не видела перед собою, когда ей хотелось выбежать на крыльцо... Пусть. Чем скорее, тем лучше...

И боролись в ней, не уступая друг другу, две воли... Одна гнала ее к дверям, другая не пускала. И смятенная Мара сжимала руки, и твердые острые ногти впивались в тело. Был момент, когда, зажмурившись, очертя голову, кинулась она к дверям. Но у самого порога ее не пустила та, другая воля. И девушка, вдруг потерявшая энергию и силы, вернулась тихо, побежденная.

Другая воля, не пускавшая ее под карабины часовых, неясно и смутно шептала ей слова какой-то надежды. Чудо разве спасёт ее. Но где же они, чудеса? Нет их!..

"Есть, есть, есть... — монотонно и часто, как тиканье часов, среди безмолвных потёмков, упрямо повторяла другая воля. — Есть! Помнишь, ты была тогда в институте? На Рождество тебя взяли домой. И каждое утро к окну твоей комнаты прилетал неведомо откуда

да взявшийся павлин. И он был удивительно праздничный, яркий на белом сугробе. И так изо дня в день, каждое утро. И чей он, откуда — никто не знал. У соседей не было павлина. Ни у кого. Прилетал, а потом исчез. И помнишь, старый князь качал головой, притих и утром спешил раньше подняться, чтоб выследить появление на сугробе этой загадочной полуденной птицы? Разве это не было чудо?..

И Тамара вспомнила блестящий на солнце мириадами алмазинок заметенный, застывший у окна сугроб, вспомнила павлиний хвост сказочного оперенья... Тогда это ей мнилось чудом.

"И теперь, и теперь, и теперь", — шептала другая воля.

Уже в халупе не было ни теней, ни силуэтов. Был один сплошной мрак. И как два сторожевых шпионящих глаза, тусклыми квадратиками намечались оконца. Как-то сухо, противно, с царапающей нервы отчетливостью начала скрестись мышь... И Тамаре казалось, что этот невидимый зверёк хочет просверлить ей мозг и ввинтиться в его глубину. Стиснув зубы, девушка топнула раз-другой.

Но шум не вспугнул зверька, и сверлящая работа продолжалась...

И вот так сидеть всю ночь и ждать своего позора. И некому заступиться. И никто не знает, что с нею и где она. Ни братья, ни он. Никто!..

Ах, эта мышь. Можно с ума сойти... Если бы они знали... Если б только знали... От одного этого ей было бы легче...

Чьи-то шаги, скрипнула дверь. Трепет охватил Мару. Неужели Гумберг? Она его задушит... Будь что будет — задушит! И съежившись, она затаилась, готовая к встрече.

Но это не был Гумберг. При обыкновенных условиях и здоровом, не повышенном воображении, Мара по звуку шагов догадалась бы, что это женщина.

Печальный, убитый голос нарушил мрак и безмолвие:

— Добрый вечер, пани...

И в этом незначительном приветствии столько наболевших изломов, что тень женщины, судя по голосу, немолодой, померещилась пленнице призраком печали и скорби...

— Пани русска?

— Да...

— И вот они взяли и вас до неволи... Разбойники! Давно ли к нам вошли, а уже сколько наделали всего!.. Разграбили дочиста... А девушки?.. Лучше не говорить, как они с нами поступали. У меня дочь есть, Теофиля... Они старика мужа — саблей, а ее, Теофилю...

Мать заплакала... И дрожал силуэт головы и плечей...

Княжна подошла. И сознавая всю ненужность, даже оскорбительность этого слова, однако, произнесла его:

— Успокойтесь!..

У неё, у этой несчастной, в один день изрубили мужа, обесчестили дочь, а она ей советует "успокоиться"...

И сквозь слезы этой женщины без лица, потому что лица не видно, слышались гневные вспышки:

— Неужели не покарает их Бог? И везде так... Грабёж, насилие, убивают... Ведь мы же не воюем... Мы никого не трогаем. Так за что же? За что нам послана такая кара?..

А девушка думала: "Наверное, у неё трудовое лицо в сухих морщинах и бегут струйка-

ми слезы".

Она была полна своим горем и не могла проникнуться чужим, как бы хотелось этой честной деревенской женщине...

Старуха умолкла, видимо, вытирая слезы. Задвигались её локти. Потом спросила:

— Чи не нужно чьего-нибудь пани? Постель приготовить или так что-нибудь? Свечку просила у окаянных — не дали...

— Благодарю вас... Мне ничего не нужно, — ответила Мара, охваченная каким-то самобичующим настроением. Чем хуже, тем лучше... Вот она будет сидеть так на неудобной и твердой лавке всю ночь... Будет коченеть в неудобной позе... И пусть!..

— Так я пойду, дрога пани... Не велено мне долго здесь оставаться...

Мара вспомнила что-то.

— Послушайте, голубушка... Во-первых, вот вам... — И она сунула ей в твердую ладонь серебряный рубль. — А во-вторых, скажите, вы видели этого русского офицера, который жил здесь?

— Ах, русские! Зачем оставили нас, беззащитных? Мы чуяли, что придут немцы и бу-

дет нам плохо. Чуюли. Так и вышло. А этот офицер с черной бородой. Дай Бог ему всего наилучшего. Он объявил солдатам, чтоб не смели никого обижать на деревне и брать что-нибудь даром. И мы продавали масло, яйца... А эти — тащат к себе наши перины... Грех было бросить нас.

Послышались шаги, на этот раз энергичные, твердые и чёткие, со звоном шпор. Гумберг с порога озарил комнату электрическим фонариком.

— Ну что? Вам не нужна больше старая ведьма? Проваливай!

И теперь, при скользнувшем свете, убедилась Мара, что лицо деревенской женщины — в сухих морщинах и влажное от слёз. Распухшие, красные глаза, видимо, плакали очень много. Она, сторбившись и вздохнув, засеменила прочь к выходу.

Гумберг поставил фонарик, напоминающий видом своим портсигар, на стол, предварительно задержав кнопку на мертвой точке, чтоб свет струился сам собою, без нажима, и направил белый, резкий сноп лучей на княжну.

— Вы плакали?

— Какое вам дело? — ответила она с ненавистью.

— Потому что я люблю женщин плачущих, или только что выплакавшихся. В поцелуях всегда какой-то соленый привкус... Это возбуждает... Ну, вот я пришёл... И думаю, вы оцените мою деликатность!.. Один, без солдат. Крайние меры надо беречь всегда напоследок... Что ж, одиночество не подшепнуло вам здравых мыслей о том, что глупо и бесполезно противиться, что я теперь для вас — ваш рок, ваша судьба, все? Условия войны дают безграничную власть над человеком, кто бы он ни был.

Он умолк, сам весь в тени, в своей медвежьей шапке с султаном, и освещая пленницу. Не глядя на Гумберга, княжна щурила от яркого света зеленоватые глаза. Нерешительными судорогами пробегало по лицу что-то... И спазмы сжимающими кольцами подступали к горлу. Она боялась разрыдаться.

— Мы сейчас отправимся ко мне, — молвил Гумберг. — Я устроился в доме ксёндза, и устроился не без комфорта. Найдется бутыл-

ка-другая старого меда и, надеюсь, этот польский мёд несколько изменит ваше мрачное настроение. Прошу следовать за мною. Ваши вещи возьмут...

Гумберг прислушался. Галоп, нескольких всадников... Ближе, совсем близко и вдруг оборвался у самой халупы. В окно видны конные силуэты. Кто-то спешился, бежит по ступенькам...

— Что такое, Румпель?

— Господин ротмистр, мы были в дозоре... Нами открыта небольшая пехотная колонна русских из двух рот. Она движется сюда. Через час могут занять деревню. Совсем близко...

— Чёрт вас подери! Вы не разведчики, а сонные черепахи! И когда неприятельская пехота у вас на плечах, вы, кавалерия, об этом тогда только доносите! Сию же минуту — сбор!.. Мы очистим деревню. Одну лошадь из пулеметной команды оседлать строевым седлом. На ней поедет пленница... Слышите, княжна? Мы увезём вас подальше. Вот где пригодится ваша манера ездить по-мужски! Но, увы, я не могу предложить вам соответ-

ствующего костюма... Проклятые русские! Весь мой план вверх дном. Я ухожу.

Вы оставайтесь — и ни с места! Не подумайте убежать, воспользовавшись суматохой. Никакой суматохи, полный порядок, часовые на местах и в самый последний момент им подадут готовых осёдланных лошадей...

34. Опять...

Леонид Евгеньевич Арканцев был всё тот же. И розовое, необыкновенно благообразное лицо с надушенными "валуевскими" бакенами, и внушительный взгляд светлых, прозрачных глаз, умеющих так многозначительно щуриться, и отменная корректность всей фигуры. Словом, никаких перемен за три с лишним месяца — и каких напряжённых, лихорадочных месяца! — войны.

Так лишь с первого впечатления. На самом же деле, Арканцев, много работавший и в министерстве, и дома, похудел и побледнел. Минутки не было свободной. Напрасно ждали его к себе антиквары, заманивая великолепными Гальсами, Боровиковскими, Фортунни. И хотя в нём сидел искренний и пламенный

любитель, он отмахивался обеими руками:

— Потом, потом, как-нибудь!..

— Ваше превосходительство, не утруждайтесь, сами на квартиру доставим. Один только взгляд бросить!

— Потом... Не до вас, не до картин мне!

— В чужие руки уйдёт, ваше превосходительство... Жальчее будет...

— Что ж, пусть! До картин ли теперь?

— Конечно, вам лучше знать... Ваше дело — государственное! Война!.. Вот она где у нашего брата-антиквара сидит, война эта самая!..

Даже в обед и в завтрак Леонид Евгеньевич редко принадлежал самому себе. Это время совмещалось у него с деловыми беседами, встречами с дипломатами союзных, дружно ополчившихся против общего врага стран. Вот он вызвал к себе из Варшавы по очень важному делу Вовку. Но с первых же слов поставил его в известность:

— Я очень рад тебя видеть, и все такое, но в моём распоряжении для тебя — полчаса!..

На этом основании Арканцев сразу приступил к делу. На изложение ушло двадцать с

чем-то минут, и лишь оставшийся "хвостик" уделил Леонид Евгеньевич частной, вернее даже, получастной беседе.

— Вот видишь, война затягивается... Тем лучше для всех нас и тем хуже для австро-германцев. Каждый лишний месяц — новый шаг к их могиле. До чего они опростоволосились и как ловко сели в лужу!.. Вот вам хваленая дипломатия, вот вам полувековая, неусыпная подготовка к войне. А в результате — разгром самых безмятежных, временно занятых городов и пунктов, и в смысле стратегических успехов — одна жалость. В особенности на чужой территории. Немецкая армия без гладких, как стол, шоссе, без телефонной сети, без тысяч автомобилей, перевозящих пехоту, словом, когда кончается фабрика и начинается армия — это уже далеко не тот кулак, под гипнозом которого была так долго Европа. И они теряют десятки тысяч людей, как тучи дикарей, лезут на русские и французские пулеметы, напоминая собой магдийских мятежников, атаковавших черными гуцами английские митральезы... Однако я заговорился... Поезжай с Богом, будь аккуратен, точен и

предприимчив. Поклон графине. Бедная, этот каторжник не оставляет ее в покое... И какая дерзость! Я протелеграфирую в Варшаву, чтоб за всеми гостиницами и меблированными комнатами был усилен самый тщательный надзор. Хотя такой гусь, как Флуг, буде пожелает еще раз явиться, найдёт себе приют у варшавских немцев, среди которых надлежащая чистка далеко еще не начиналась.

Криволуцкий уехал.

Опять утомительная дорога. Особенно для тех, кто в обычное время привык, выехав из Петрограда сумерками, утром уже проснуться в Варшаве. Но у Вовки было отдельное купе. И это скрашивало и медлительность бега, и долгие стоянки, иногда в чистом поле. Стоянки по нескольку часов, чтоб пропустить очередные воинские поезда.

Вовка обложился накупленными книгами, но они так и остались неразрезанными. Ему и хотелось читать, поскорей убить время, и не читалось потому, что мысли его забегали вперёд, на Госпитальную улицу, в пансионат пани Кособуцкой. И хотя Ирма там в относительной безопасности и под опекою супругов

Мирэ, однако воображение Вовки рисовало ему всякие страхи.

Неужели он так привязался к этой женщине? И так тесно переплёл свое существование с её мятежной, полной приключений жизнью? И мимолетная связь на почве "Семирамис-отеля", связь, порождённая чувственностью, выросла в нечто большее?

Он гнал от себя подробный анализ своих чувств к Ирме, не хотел разбираться в своих к ней отношениях. Но и сама графиня, и судьба её не давали ему покоя.

И две ночи пролетели без сна. Моментами лишь забывался он в дрёме. Но это были скорей бредовые кошмары, чем успокоительный отдых. И не было грани между сном и действительностью. Сознание бодрствовало наполовину. Бодрствовало с тем, чтоб в синем трепетном полумраке вздрагивающего купе рисовать неясные обрывки чего-то похожего на картины и образы. И лица, фигуры, профили, отдельные руки, губы, улыбки — свивались в какой-то пляшущий хоровод, то появляясь, то исчезая. Трудно было сказать, где начинаются баки Арканцева и где расплывается

в бледную маску трупа гладко-выбритое лицо Флуга со скошенным лбом и тусклыми глазами. Он видел страдальческий образ Ирмы, зовущий, протягивающий руки, и тут же шевелились резиновые губы, растягивавшиеся в такую длинную улыбку, что она раздвигалась за пределы купе... Улыбку Мирэ.

Зеленый весь, измятый, с растрепанной ассирийской бородой, всегда такой расчесанной, волосок к волоску, приехал наконец Вовка. И здесь подстерегало его самое лихорадочное нетерпение, и путь от вокзала до Госпитальной казался ему бесконечно длинным. Куда длиннее, чем от Петрограда до Варшавы.

Когда он очутился в лифте, ему казалось, что кабинка повисла неподвижно в воздухе, медленно, с трудом и нехотя прорезывая толпу всех шести этажей.

Лязгнула металлическая дверь, выбросив Вовку прямо в длинный коридор пансионата. Десять часов утра. Горничная Юзя несёт кому-то кофе.

— Графиня спит? — нетерпеливо спросил Вовка.

Юзя остановилась с выпученными глаза-

ми, раскрыв рот. И онемела и вдруг, бряк, уронила поднос.

Вступление довольно странное.

Вовка опрометью бросился к комнате № 4, с матовыми стеклами в дверях. Повернул ручку. Дверь подалась и первое впечатление — несмятая постель.

Ирмы не было. И кругом такой порядок бездушный и холодный, что достаточно беглого взгляда — Ирма не ночевала.

Вовка уже колотил в дверь, занимаемую Мирэ. На стук выскочил Борис Сергеевич в длинном до пят восточном халате.

— Это вы, Владимир Никитич? — воскликнул Мирэ, не веря своим близоруким глазам. — Я не могу вас пригласить к себе. Там беспорядок, и жена еще не...

— Ради бога, где графиня? — схватил его обеими руками за халат Вовка.

— Ушла!.. Ушла с вечера на полчаса и... не вернулась.

— Куда ушла, зачем?.. Как же вы ее отпустили? Я же вас просил!.. Вы обещали...

— Мы ничего не могли сделать. Пройдемте немного, я сейчас вам расскажу по порядку...

Но успокойтесь же хоть немного!.. На вас лица нет.

— Говорите, я слушаю, — молвил убитый Вовка. Жаль было смотреть на него, так он весь сразу осунулся.

— Вчера в пять часов графиня получила письмо.

— По почте?

— Нет! Его принёс какой-то субъект, поднявшийся на лифте с чёрного хода. Здесь, если вы знаете, два лифта. Один парадный, обслуживающий постояльцев, другой для прислуги и дров...

— Дальше... Дальше!

— Дальше... Графиня, получив письмо, плакала. То есть я не видел её слёз во время чтения письма, но прочитав письмо, держа его в руках, она зашла к нам с заплаканным лицом... Пришла и говорит:

— Мне надо уйти на час из дому по весьма серьёзному делу.

Мы с женой всячески убеждали ее остаться.

— Нет, надо! Это необходимо! От этого зависит его жизнь — речь шла о вас.

— В чём же дело, графиня?

— Я не могу сказать. Но я должна уйти на минутку.

— В таком случае, позвольте быть вашим провожатым. Вы знаете, как за вами охотятся, какой опасности вы подвергаетесь, и выйти одной в особенности сумерками было бы громадной оплошностью.

Но как мы ни убеждали ее, она упрямо стояла на своём.

— Это необходимо! Его жизнь в руках людей, которые не остановятся ни перед чем, и я должна его спасти.

— Это ужасно, это ужасно... — повторял Вовка, хватаясь за голову, в порыве бессилия скрипя зубами. — Наверное, ловушка, предательство. Результат налицо: она не вернулась.

— Слушайте дальше... Не желая перечить графине, я хотел тайно последовать за нею. Но она как бы проникла в мою мысль и говорит:

— Не думайте быть моим провожатым, хотя бы на расстоянии. Это не принесёт никакой пользы, а только ухудшит...

Вы понимаете, сплошной туман. Ее связывало что-то, мешая быть откровенной. Я думал, что моя Евгения Владимировна, как женщина, сумеет выпытать больше, чем я... Но и Женечка не могла добиться никакого толку. Всю эту ночь мы не сомкнули глаз. У нас было предчувствие, что она не вернется. И вот, как видите!..

Пани Кособуцкая тоже приняла к сердцу исчезновение графини. Получилась жуткая тайна, загадка и, главное, — нет ключа к ней. Единственным ключом было бы письмо, если графиня только не унесла его с собою... Мы же, как посторонние люди, не смели рыться в её ящиках.

— Надо было рыться! — почти закричал Вовка. — В таких случаях не до боязни быть нескромным. Пойдемте!..

И они вошли в номер четвертый.

Два чемодана оказались раскрытыми. Вовка дрожащими руками обшаривал их. Но письма не было. Попались ему две его собственных телеграммы, посланные из Петрограда. Такие же результаты получились из осмотра большого, крокодиловой кожи несес-

сера, с туалетными принадлежностями. Неудача не охладила пыла к дальнейшим поискам. Пришёл черед ящичков письменного столика. Там лежала бумага, лежали забытые оплаченные счета других, прежних постояльцев. Засунув руку в глубину правого ящичка, Вовка извлёк на свет Божий письмо, в измятом, закапанном слезами конверте. Адрес был четко и твердо написан мужской рукою: "Графине Ирме Чечени. Госпитальная, пять". Написано латинскими буквами, но с тенденцией вытягивать и застраивать их в манере готического шрифта. Видимо, автор привык писать по-немецки.

Вовка нетерпеливо выдернул твердый, измятый лист почтовой бумаги. И письмо написано по-немецки, и уже не латинским, а готическим шрифтом.

И оба, Мирэ и Вовка, соединившись головами, жадно пробежали строки, которые, быть может, прольют луч света в черный туман, окутавший новое исчезновение Ирмы...

35. Возмездие

Эскадрон Каулуччи был спешно переброшен вёрст за тридцать в помощь пехоте. Было жаркое дело. Дрались и в конном, и в пешем строю. Гвардейские кавалеристы показали молодцами себя в штыковом ударе.

И вот нужные нам позиции заняты, мы укрепились в них, и Каулуччи вместе со своим эскадроном мог, да и не только мог, а должен был вернуться назад, в покинутую деревню.

Ему не пришлось каяться в превышении власти, что, вняв мольбам Ковальского, оставил при себе на свой риск сдавшихся в плен обоим поляков. Они показали себя отважными солдатами, а в разведках — знание местности и природное чутье делали их весьма и весьма полезными для эскадрона.

Пришлось выдумать им форму. В своих траурных венгерках и меховых шапках "гусар смерти" они в строю не могли быть. Нельзя их одеть и в русские шинели с погонами. Как-никак, хоть и поляки, хоть и ненавидящие немцев и готовые с ними биться до последне-

го, а все же пленные.

Каулуччи купил тому и другому две жёлтые чамарки — богатые польские мужики щеголяют обыкновенно в них. Теплые и недлинные, со шнурами во всю грудь чамарки были в самую пору, чтоб ездить верхом. На голове — рогатая, мужицкая шапка из войлока, подобие конфедератки. Сапоги и шпоры остались прежние, гусарские, только надо было сорвать звездчатые кокарды с верхней части голенища у самого колена. Лошади и строевые седла сохранены были в полной неприкосновенности. Карабины — то же самое. А вместо длинных, прямых, колющих неудобных для рубки палашей в металлических ножнах, с железными эфесами, полякам даны были русские шашки. Таким образом снаряжение было готово.

И если прибавить к этому ненависть двух беглецов к угнетавшим их своей "дисциплиною" немцам, — каждый из них стоил, по крайней мере, десятка врагов. И оба они доказали это в первом же деле, атакуя вместе с нашей пехотой германские позиции.

Глебович действовал шашкой против

нерешительно и боязливо пытавшихся его нащупать неприятельских штыков. Он изрубил семерых баварских гвардейцев, но и сам упал, бедняга, предательски застреленный сзади в спину раненым офицером.

Смерть друга сильно огорчила Ковальского. И над его свежей могилкою с белым крестиком, он дал клятву при каждом удобном случае поминать павшего кровавой тризною...

Слегка поредевший эскадрон возвращался ночью в деревню; чтоб обезопасить себя от всяких неожиданностей, Каулуччи выслал вперёд человек двенадцать дозорных вместе с унтер-офицером Якименко, смуглым, уса-тым хохлом, и Ковальским.

Дозор, опередив эскадрон версты на две, то развертывался в цепь, то сжимался, делясь впечатлениями, прислушиваясь к ночным шорохам и зорко высматривая тёмные, уже бледнеющие дуновением рассвета дали. Опять знакомая проселочная дорога, опять обозначают ее в сумраке силуэты приземистых верб.

В голове дозора ехали рядом Якименко и

поляк.

Унтер-офицер заметил на дороге какой-то небольшой предмет. Схватившись за холку своей крупной гвардейской лошади, Якименко, перегнувшись, поднял предмет, оказавшийся алюминиевой флягою для воды.

— Мабуть немецька. Эге, та воны тут без нас ходылы, нпмци, трастя их матери! Глянька... — И он протянул свою находку Ковальскому.

Поляк с первого взгляда тотчас же узнал: такие фляги выдаются прусским кавалеристам. Пехотные грубее и размер другой, более крупный. Отвинтил крышку, понюхал воду — застоялась. Дня два-три ей, пожалуй.

Во всяком случае, это было предостережение.

— Гвынтовки на чеку, хлопцы! — скомандовал Якименко. — Може нимцу сдыбаем. Бо вин тут був. Беспременно був...

Маленький отряд подвигался, усилив бдительность.

Уже несмело и робко переливалась ночь в сизый холодный рассвет. Затуманенные завесою дали прояснились... До деревни уже вёрст

пять, не больше.

И чем ближе, тем гуще росли вербы. Дорога шла излучинами, и трудно было проследить ее всю, на мало-мальски изрядный кусок. И всадники, поминутно отделяясь, выносились с обеих сторон в поле, забирая вперёд и высматривая. Обнаружена была двигавшаяся от деревни колонна коней в тридцать — сорок. Она шла без всякого охранения впереди, вся слишком черная для того, чтоб можно было заподозрить своих же русских.

Якименко решил их атаковать. Численное превосходство на стороне врагов. Но по части рубки германские кавалеристы никуда не годятся, а открыть огонь, спешившись, у них не будет времени. К тому же еще на первые же выстрелы подоспеет сзади идущий эскадрон.

И вот, двенадцать человек, развернувшись, чтоб охватить колонну с флангов, понеслись в атаку.

"Гусары смерти", которых вёл Гумберг, не только не развернулись, в свою очередь, чтоб отразить нападение, но растерянные, еще плотнее сбились в человеческое и лошадиное месиво. Только немногие успели выхватить

притороченные к седлу карабины, и несколько беспорядочных выстрелов пущено было на воздух. Наши кавалеристы уже рубили немцев и справа, и слева, и "в лоб". Первым упал Румпель, узнанный Ковальским. С великой радостью хватил поляк своей шашкой по этому красному ненавистному лицу в тот самый момент, когда Румпель судорожно сведенной рукою попытался навести на него свой револьвер.

Но бешенство охватило Ковальского при виде Гумберга. Вот с кем он сведёт свои старые счеты! А Гумберг вовсе не хотел никаких счётов. Он предпочитал удрать, куда угодно, по добру по здорову. Животный страх заглушал в нём чувство мести по отношению княжны, которая тут же, верхом на лошади из пулемётной команды, волей-неволей скакала в центре, стиснутая со всех сторон гусарами.

Гумберг почёл за благо положиться всецело на быстроту своей лошади и, шпоря ее, пригнувшись к самой шее, помчался в поле, держась направления черневшего длинной зубчатой полосой леса.

Ковальский — за ним. Но расстояние увеличивалось, хотя Ковальский гнал своего Птаха вовсю. Солдатской лошади где ж угнаться за дорогим офицерским скакуном...

Неужели уйдёт? Неужели он, Ковальский, не расквитается с этим мерзавцем за все побои, издевательства, унижения?..

А лес уже близок... И там Гумберг, спешившись, начнёт отстреливаться из-за деревьев, и обработать его будет уже труднее.

И не ограничиваясь шпорами, Ковальский, загипнотизированный одним страстным желанием, колотил Птаха тупым концом шашки. Лошадь распластывалась. Это не был карьер, это было что-то безумное, а Гумберг все-таки уходит и может совсем уйти.

Единственный способ задержать, это подстрелить его лошадь. И Ковальский, с шашкою в зубах — не до ножен теперь, не успеешь вложить — дал один за другим пять выстрелов из винтовки.

Слава богу! Святая Дева услышала его молитву. Сумасшедший аллюр Гумберга сразу вдруг затормозился. Значит, попало коню! И бросив сторяча бесполезную винтовку, мсти-

тель с одной шашкой гнался дальше. Вот уже близко! Уже видно, как прихрамывает лошадь Гумберга. И сам он, неистово вонзая ей шпоры в бока, не смея обернуться, палил наудачу из револьвера.

Ковальский, обогнав его, сделал крутой поворот и очутился грудь с грудью со своим смертельным врагом. Он должен видеть, от чьей руки падёт. Должен! В этом всё упоение мести!.. Иначе — какая же месть?

Гумберг расстрелял все патроны своего револьвера и схватился за палаш. И лишь вытащив клинок, увидел он в сизой дымке рассвета, кто гнавшийся за ним противник. Не офицер и даже не солдат, а человек, одетый польским мужиком. Гумберг — фехтовальщик, и не из последних, и проколоть этого мужика сумеет.

Но "мужик" оказался рубакою превосходным. Это не германская муштра дала ему. Этим он обязан своей крови. Да, в крови у поляков — драться на саблях. То же самое, что искусство лихо и огненно плясать мазурку.

Засвистала шашка, несколько стремительных, глазом не поймать, движений, и Гумберг

уронил свой палаш, и рука его была рассечена от локтя до кисти.

Близко, вплотную, так что кони переплелись шеями, наседал Ковальский. Диким, чужим и в то же время знакомым голосом, от которого у Гумберга забегали мурашки, спросил:

— Узнаешь теперь Ковальского, проклятый немец, истязатель, палач?.. Узнаешь?

Гумберг, вздрогнув, отшатнулся, как от грозного призрака, зажмурил глаза. Но страх и ужас были так велики, что он закрыл еще лицо руками.

Мститель со страшною силой ударил его шашкой по голове, разрубив и медвежьёу шапку, и череп, и все лицо до подбородка.

Гумберг зашатался, инстинктивно придерживая руками обе половинки разрубленной головы. Но тотчас же опустились руки, и голова раздалась на обе стороны, как половинки спелого арбуза...

Ковальский сразу успокоился. Он отомстил хорошо — чего же больше? Сам дивился редкостности своего удара. Гумберг, вернее то, что за минуту было Гумбергом, теряя рав-

новесие, медленно, до жуткого медленно сползал с седла...

А там, на дороге, было тоже все кончено. Наполовину изрубленные гусары поспешили сдаться, бросая оружие и поднимая над головами руки. Наши солдаты, сторяча не заметившие, поражены были присутствием в отряде всадника в белой вязаной шапочке и такой же гимнастерке, туго охватывавшей фигуру.

— Та с ними якась барышня!.. — вырвалось с изумлением у хохла унтер-офицера, который не знал, как поступить со своей окровавленной шашкой: вытереть ее сначала об шинель или как есть вправить в ножны.

— Где ваш офицер? — обратилась Мара к солдатам, еще не придя в себя, еще не успев поблагодарить своих избавителей.

Но офицер уже был тут как тут, незаметно подоспевший с эскадроном.

Он, он!.. Его смуглое лицо и черная мефистофельская бородка...

И хотя она звала его, и это был её голос, он верить не хотел, пораженный. В эту ночь верхом, среди немецких гусар, она, которой он

писал в "Бристоль"?.. Не может быть!

Они отъехали, и он бережно снял ее с седла, счастливую, измученную всем пережитым. И смотрел близко в страшно знакомое дорогое лицо с природною мушкою на щеке. И все-таки не верил глазам, и ему чудилось, что это мираж, созданный разгулявшимися нервами...

Да, это был мираж... Прекрасный мираж наяву, бред бледного осеннего утра. Это была одна из бесчисленных сказок войны — потому что вся война с её кровью, жутью, радостью — необыкновенная волшебная сказка.

— А где же Гумберг? — спохватился, придя в себя наконец, Кауллуччи. — Неужели скрылся? Неужели мы его не поймаем? Не может быть!.. Если он только уйдёт...

Но подъехал Ковальский, и от него узнал ротмистр, что Гумберг больше никуда не уйдёт... Никуда...

Убийца, мародёр и насильник понёс должную кару.

36. В поисках

"Графиня! Спешу уведомить вас, что г-ну Кривоуцуцкому, находящемуся, как вам известно, в Петрограде, ежеминутно угрожает смертельная опасность. Я всегда симпатично к вам относился, графиня, и с удовольствием готов дать некоторые разъяснения. Таким образом, у вас будет возможность принять какие-нибудь меры или, во всяком случае, быть в курсе вещей. Повторяю, опасность, которой подвергается г-н Кривоуцуцкий, чрезвычайно велика! В письме я ничего не могу сказать. Но если вам, графиня, угодно знать необходимые подробности, будьте добры пожаловать ко мне сегодня же в шесть часов вечера, в отель "Полония". К сожалению, я лично не могу побывать у вас, графиня, так как доктор запретил мне выходить. Спешите же... Дорога каждая минута!

В ожидании вас, с глубоким уважением
Ольгерд фон Пенебельский".

Мирэ и Кривоуцуцкий медленно повернулись друг к другу, встретившись глазами.

— Что вы скажете, Борис Сергеевич?

— А что вы скажете, Владимир Никитич?..

— Я скажу, что здесь дело нечисто... Гораздо более, чем можно было в первый момент предположить... Скажите, вы убеждены, что это письмо вышло из-под руки Пенебельского?

— Затрудняюсь сказать, ибо автографы этого господина, хотя он и знаменитость, не попадались мне...

— Хорошо... Но ведь Пенебельский, при всех своих миллионах, был и остался безграмотным хамом. А это немецкое письмо написано, если и без особенной литературности, то, во всяком случае, грамотно.

— Но вы забываете, что этот хам таскался по заграницам, притворяясь, где это было ему выгодно, немцем... Но что мы делаем с вами, тратим время над решением академического вопроса — грамотен или неграмотен этот подлец? Гораздо проще, отправимся к нему, в "Полонию", вместе с этим письмом, и от него лично узнаем, он или не он автор. Вообще надо действовать, двигаться и не в четырех стенах нашего милого пансионата разгадывать ребус исчезновения графини... Я приведу себя

в порядок, оденусь и через полчаса мы двинемся к Пенебельскому...

Совершая свой туалет "охотника на львов", Борис Сергеевич опоздал и вместо полчаса был готов лишь через сорок пять минут. Но это, в конце концов, беда небольшая. Венский вокзал, против которого находилась "Полония", — в нескольких шагах от Госпитальной.

Ольгерд Фердинандович с первого же дня своего появления в гостинице завёл порядок, чтоб на коридоре возле его номера квартиры постоянно дежурил один из лакеев. Так и теперь.

Лакей, несмотря на полувоенную форму Вовки, встретил обоих посетителей не особенно ласково.

— Их превосходительство еще в постели... Они вряд ли вас примут...

— А как здоровье господина генерала? — насмешливо спросил Мирэ.

— Здоровье ничего... Хотя у них были доктор...

— А вы все-таки снесите наши карточки господину Пенебельскому! — настаивал Вовка.

— Виноват, а вы из графов или князей будете? — осведомился лакей. — Потому что его превосходительство наказали, если из графов, или князей, или из генералов, тогда принимать.

Вовка переменял тон:

— Послушай, ты чересчур болтлив. Вот тебе карточки, передай сию же минуту! Понял!

Лакей, как встrepанный, скрылся за дверь. Через минуту вернулся.

— Пожалуйста. Просят обождать в салоне. Сейчас немножко оденутся и выйдут.

В салоне с мягкой мебелью и хрупким столиком посредине, среди драпировок, зеркал и бронзы сообщники уселись в ожидании "его превосходительства". На металлическом блюде лежали визитные карточки новых аристократических знакомых Ольгерда Фердинандовича "из графов, князей или генералов". Приятели, зная слабость Пенебельского к чинам и титулам, пересмеивались, вернее, усмеялся один Мирэ. Вовке не до смеха было.

Неожиданно появился в утреннем, песочного цвета костюме Ольгерд Фердинандович.

— Здравствуйте, господа! Я немножечко

заставлял вас ждать. Но мне не совсем здорово-вится. Теперь такие события, что кто переживает их с нервами... Я понимаю, Борис Сергеевич, вам хотелось бы маленькое интервью. Я вам могу давать такой материал...

— Вы ошиблись наполовину, — перебил миллионера маг и чародей газеты "Четверть секунды". — Наше интервью несколько иного характера, чем вы думали и чем вам хочется.

Лицо, банкирское лицо с белым, отполированным, как слонобая кость, носом, вытянулось.

— Что значит? Я вас не понимаю...

— Сейчас поймете. Соблаговолите сказать, вами или не вами написано это письмо? Владимир Никитич, дайте господину Пенебельскому письмо, скрепленное его именем.

Ольгерд Фердинандович первым делом взглянул на подпись.

— Ой, так это же совсем не я! Это самое грубое имитасион. Я никогда не подписывался "фон", я был и остаюсь русским... Опять какое-нибудь мошенничество, опять какой-нибудь шантаж! — беспокойными глазами искал он сочувствия у обоих приятелей.

— А вы пробегите письмо...

Ольгерд Фердинандович углубился в чтение, гримасничая, сжимая кулаки, недоуменно поводя плечами.

— Это самая грубая мистификация, которая только может быть! Я не имел понятия, что графиня Чечени находится здесь, в Варшаве, не имел понятия, что господину Криволицкому угрожает какая-то опасность. Вообще я решительно ничего не понимаю! Ведь это же чёрт знает что такое! Какие-то прохвосты воспользуются именем уважаемого, почтенного человека с видным общественным положением... Я буду жаловаться, искать защиты!.. Я буду звонить генерал-губернатору. Я потребую, чтобы нашли шантажистов и поступили с ними по закону. Но что же такое вышло? Графиня поверила этому письму?

— Поверила и очутилась в руках негодяев. Вернее, одного негодяя. Есть такой германский шпион — Флуг...

При слове "Флуг" Пенебельский вздрогнул, и его темные глаза с опаскою перебежали с Мирэ на Вовку и наоборот.

— Господин Пенебельский, вы знаете этого

Флуга? — спросил Борис Сергеевич.

— Почему я должен знать Флуга? Понятия не имею! Вы говорите, он германский шпион. Почему я должен знать шпионов?..

— Но почему же он, ибо это несомненно Флуг, воспользовался вашим именем, чтобы заманить графиню в ловушку?

— Не знаю. Вероятно, потому, что мое имя очень известно и внушает доверие. Господа, я очень извиняюсь... Я сейчас должен переодеться и ехать к генерал-губернатору. Письмо это я могу оставить у себя?

— Нет. Вы его нам верните. Для нас это документ...

Прятели откланялись, и оба заметили, что рука Ольгерда Фердинандовича холодна и дрожит.

На площадке лестницы сообщники остановились.

— Этот господин здесь ни при чём, это ясно, как Божий день, — заметил Мирэ. — Но только напрасно увильивает от знакомства с Флугом.

— Он знает Флуга и очень хорошо знает. Во-первых, у меня по этому поводу были кое-

какие сведения еще в Петрограде, а, во-вторых, вы заметили, как при одном имени Флуга "его превосходительство" изменилось в лице? Но опять-таки мы переходим на академическую почву. Сейчас не до взаимоотношений этих двух мошенников. Сейчас надо все внимание сосредоточить на розысках исчезнувшей графини. Очевидно, Флуг, написав подложное письмо от имени Пенебельского, хотел убить двух зайцев сразу. Во-первых, внушить доверие — могла ли она подозревать в чём-нибудь Пенебельского, а во-вторых, заманить ее именно сюда, в "Полонию".

— Но почему же сюда? Он мог бы при желании выбрать более укромное место, а не шумную "Полонию".

— Более укромное место наваяло бы графине подозрение и, кроме того, Флуг не мог бы воспользоваться именем Пенебельского... Надо было ее усыпить, чтоб она поверила, не догадываясь о возможности предательства... Так и вышло. Она поверила и... очутилась в западне.

— Но, милый друг, неужели вы предполагаете, хоть на секунду, что графиня находится

именно здесь? Не может же человек исчезнуть в гостинице, как иголка.

— Именно может! Вспомните "Семирамис-отель", вспомните похищение графини из "Бристоля". Комбинация сундука с человеческим грузом, задавшаяся раз, отчего же ей не повториться?..

Опершись грудью на перила, Вовка машинально смотрел вниз, в глубину вестибюля. Там суетилась прислуга, мелькали обшитые галунами кепи портье, то появлялись, то исчезали фигуры военных и штатских. Колыхались перья дамских шляп.

— Это все измучило меня... Измучило... Я теряю голову, — сетовал Вовка.

— Не падайте духом! Рано!.. Терять голову разрешается, когда всё исчерпано, все пути-дороги отрезаны. А мы еще не предприняли ни одного шага... Итак, повторяю, наши поиски должны начинаться отсюда... Спрашивать внизу, остановился ли здесь Флуг или даже просто человек с его внешностью, — праздный и глупый вопрос. Если он здесь, то, разумеется, в гриме и под чужим именем. Вот что. Время у нас есть, давайте, произведём

маленькое изыскание. Поднимемся вверх...

— К чему это приведёт? Что ж, вы думаете, распахнется дверь в одном из коридоров, и графиня появится нам навстречу.

— Нет, я этого не думаю... А вам советую заpastись терпением и понапрасну не нервничать... Идемте! Доверьтесь моей пинкертоновской жилке. Меня редко обманывало чутьё...

Вовка, пожав плечами, следовал за Мирэ. Медленно поднимались они с этажа на этаж, все выше и выше.

Пятым этажом гостиница, с нумерованными дверями комнат, заканчивалась. Дальше, вместо широкой мраморной, вела узкая деревянная лестница. И там, в этой мансарде, которую с натяжкой разве можно было назвать шестым этажом, были еще комнаты. Правда, низенькие, невзрачные с первого взгляда!

Сообщники остановились у деревянной лестницы с площадкой наверху. И не успели они обменяться двумя-тремя словами, как на площадке выросла фигура сильного, высокого мужчины, с плоским, широким лицом и с кепкою на голове. Одет он был в дешевый се-

ро-зелёный костюм, за двадцать пять марок продающийся в берлинских магазинах готового платья. Субъект в кепке, засунув руки в карманы, вызывающе уставился на приятелей.

Мирэ начал умышленно громко:

— Нет, мы ошиблись... Надо спуститься этажом ниже... И в конце коридора...

Они спустились. Борис Сергеевич прошептал:

— А знаете, дорогой мой, эта мансарда и этот фрукт, одаривший нас таким неласковым взглядом, все это мне весьма и весьма не нравится... Я убеждён, что искать графиню надо там!

— Какой вздор! Почему?..

— Совсем не вздор... Совсем не вздор. А инстинкт, в который я верю... Да и по логике вещей графиня должна быть там, и нигде больше... Если... если Флуг не успел ее переправить в более укромное место...

37. Опасное поручение

Князь Солнцев-Насакин после того, как спас Ирму, — всего несколько дней прошло, — успел многого хлебнуть: и оцарапало его шальной пулей, и сам в плен чуть не угодил, и нескольких людей потерял, и лошадь под ним убили.

Вскоре Василий очутился в глухом городке, вероятно, за все свое существование такого оживления не видевшем. Еще бы. И осенью, и весной городок утопал в невылазной грязи. И эту грязь месила горсточка обывателей — евреев и поляков, надоевших друг другу до тошноты. Тихо, монотонно шли день за днём, убийственно друг на друга похожие.

А теперь, с войною, сменяя друг друга, квартируют здесь блестящие гвардейские полки, помещаются штабы дивизии и даже корпуса, и на весь городок от края и до края слышны протяжные угрозы и стоны автомобильных рожков и сирен.

И вот сюда экстренно вызван был Василий Насакин. Уланский поручик приехал в штаб в своей косматой бурке, служившей ему на

разведках постелью и одеялом, и с отпущенной бородкой, не успев ее даже сбрить. Да и зачем брить? Через день-другой он опять очутится в боевой обстановке, где не до ухаживания за самим собою.

Генерал, невысокий, моложавый и стройный, с седыми усами, сзади производивший впечатление молодого офицера, типичный кавалерийский генерал прежней складки, остался с Василием с глазу на глаз в убогом номере лучшей местной гостиницы.

— Вот что, князь, речь идёт о весьма опасном и ответственном поручении. Я остановился на вас, его исполнить может, по крайней мере, заняться исполнением — вы, и никто другой. Я вам сейчас объясню почему: представляется случай использовать ваше необыкновенное сходство, внешнее, — поторопился добавить генерал, — с германским кронпринцем.

Василий так и вспыхнул весь взиманием, предвкушая что-то чрезвычайно интересное, бьющее по нервам.

Генерал медленными, отчетливыми жестами закуривая папиросу, развил пришед-

ший ему в голову план:

— Я того мнения, что, если необходимо добыть важные сведения и девяносто шансов против десяти в смысле неуспеха, — это не должно останавливать. Раз игра стоит свеч! И наконец смелым Бог владеет. Я взвесил все: и за, и против. План исключительный по своей дерзости, что и говорить! По слухам, кронпринц на западном фронте грабит древние французские замки. Но и он, и достойный папаша его тем и занимаются, что как бы скорее перебросить свою гениальную особу с фронта на фронт. Они видят в этом... в данном случае неважно, что они видят, а важно то, что мы могли бы извлечь из этих неожиданных появлений то там, то сям и из вашего разительного сходства с кронпринцем... Короче, следующее, мой дорогой. Вам надо проникнуть в штаб третьего баварского корпуса, находящийся в... — генерал назвал небольшое местечко верстах в семидесяти. — Вы явитесь как снег на голову, и получасовая беседа с корпусным командиром, беседа в том направлении, каком мне надо, может принести нам огромную пользу. А потом, потом,

как говорится, спасайся, кто может. В вашем распоряжении будет превосходный немецкий автомобиль. В шофёры я вам дам Герасимова. Это офицер железнодорожного батальона, удалец, сорвиголова, отважный человек и владеет машиной, как бог. С пруссаками эта комбинация была бы значительно труднее, у баварцев же вам гораздо легче сойти за германского кронпринца. Меньше соприкосновения... Теперь взвесим шансы. В случае удачи и вашего возвращения — плюс громадный. В случае же неуспеха, вам грозит... вас могут расстрелять. Имейте в виду. Я не приказываю, а предлагаю. Вы можете отказаться.

— Ваше превосходительство! — воскликнул Насакин. — Одним предположением, что я могу отказаться, вы меня оскорбляете. Рисковать жизнью на каждом шагу — это мой долг. А во имя такого ответственного поручения — долг сугубый!

— Дайте мне вашу руку, мой милый... Солнцев-Насакин — сын покойного друга моего князя Николая, не мог иначе ответить... Перейдём к деталям. Вы хорошо владеете немецким языком? То есть я не сомневаюсь

вообще в знании вами этого языка. Но здесь необходимо говорить великолепно.

— Ваше превосходительство, у меня в детстве была гувернантка из Потсдама. И я прежде усвоил немецкий язык, чем свой родной.

— Прекрасно! Что касается формы, постараемся пригнать к вам форму прусского гвардейца-драгуна. Кстати, у нас имеется изрядный выбор. А чтобы не было заметной разницы в фигуре, — вы значительно плотнее и лучше сложены, чем кронпринц, — вы надеваете поверх длинный серый кавалерский плащ, скрадывающий фигуру. Запаситесь апломбом. Германский кронпринц должен свысока относиться к баварскому, именно баварскому, генералу. И совершенно естественным будет, если вы не дадите себе труда логически объяснить ему свое неожиданное появление. Ну, вот. Надо быть готовым. Побрейтесь! Что касается причёски, это неважно. Все время беседы с ним, вы останетесь в каске. Итак, я вас отпускаю на полчаса. Потом вы приготовьтесь к маскараду под моим наблюдением и получите от меня инструкции. Но

помните — никому ни слова! Все это должно быть совершенно в глубочайшей тайне. Отсюда я сам провожу вас несколько вёрст на другом автомобиле. Отсюда выедете в русской шинели и фуражке. И только за городом я возьму у вас и то, и другое, а вы двинетесь дальше в сером плаще и каске...

Василий ног под собою не чуял. Чувство гордости — ещё бы, не гордиться, такое поручение! — острой жути и еще чего-то необъяснимого, овладело им, будоража нервы и повышая восприимчивость.

Опасная авантюра... Нет слов, опасная... Пусть!.. Но разве не подвергался он ежеминутно опасности, разве не приходилось быть под густым свинцовым дождём пулемётов и, когда этот дождь стихал, он сам спрашивал себя с недоумением, как удалось ему выйти из этого ада целым и невредимым?..

Через час два громадных автомобиля неслись по шоссе. И было так, как говорил генерал. Он взял к себе в автомобиль фуражку и шинель князя, обнял и перекрестил его и шофёра, и оба они ринулись вперёд, в это неизвестное, манящее и жуткое вперёд, а генерал

вернулся обратно...

Уже остались позади самые крайние линии нашего расположения, и началась "мертвая" полоса. Эта мертвая полоса кончилась незаметно, и стали показываться германские разъезды. Обмануть их не было трудно. Узнавая кронпринца, всадники превращались в неподвижные изваяния, салютуя первенцу своего кайзера. Отдыхавшие у дороги пехотинцы испуганно вскакивали. Василий типичным прусским жестом подносил пальцы к головному убору.

Красивый, черноусый шофёр, опьяневший от быстрого бега и новизны впечатлений, с улыбкой оглядывался на князя. Машина, гудя, содрогаясь и подпрыгивая на ухабах, уже неслась по предместью городка, приютившего штаб баварского корпуса. Незачем было даже спрашивать, где помещается штаб. У древнего, почерневшего здания магистрата, под сколоченным из досок деревянным навесом стоял под ружьём целый взвод в карауле. Появление кронпринца произвело переполох. Караул заметался, построился в две шеренги и замер... А из глубины магистрата вышел пол-

ный бритый генерал, в синем сюртуке с плоскими пуговицами. От волнения он весь пошёл красными пятнами.

Приезд кронпринца не был для него неожиданным. В этом Василий убедился из слов генерала:

— С минуты на минуту я поджидал, ваше императорское высочество... Утром была получена телеграмма...

Час от часу не легче! Недоставало, чтоб вслед за фальшивым кронпринцем явился подлинный...

Надев непроницаемую маску, с холодными неподвижными чертами, Василий молвил:

— Я к вам на несколько минут, генерал. Вы получите ряд указаний, и потом я спешу в штаб одиннадцатого корпуса.

Генерал почтительно ввёл "кронпринца" в здание магистрата. Здесь был разгром полный. Разрозненные дела архива, листы, синие обложки, все это валялось на каменных плитах передней. То же самое и внутри. Но там еще под столом, на котором разложены были карты, красовались пустые бутылки. В ожидании кронпринца генерал не позаботился их

убрать, зная, что будущий повелитель Германии не только не противник всяческих возлияний, но даже поощряет пьянство. И сам при каждом удобном случае рад-радехонек нализаться...

Появились офицеры штаба. Генерал представил их "кронпринцу", и тот, не подавая руки, надменно отвечал на их обалделое приветствие.

— Не будем терять понапрасну времени... Что у вас здесь?

И как был, в сером плаще и каске, Василий, опершись коленом на стул, согнулся над картой с флажками. Генерал с полным, трясущимся лицом давал соответствующие пояснения. "Кронпринц" нетерпеливо слушал, кивая головой и подгоняя мысли генерала именно в том направлении, которое было ему нужно.

И когда задачи и планы баварского корпуса стали князю яснее ясного, он резко выпрямился:

— Довольно! Теперь я не сомневаюсь в успехе!

— Ваше императорское высочество, можно ли сомневаться? Они попадут к нам в мешок,

русские. Лучшей ловушки не придумать...

— Да, они у нас в капкане, — согласился "кронпринц". — Имею честь кланяться, генерал... господа офицеры.

Василий пожал генеральскую руку, сделал общий поклон и прямой, надменной походкой вышел. Генерал помог "его высочеству" сесть в автомобиль. Шофёр заработал рулём, загудела машина. "Кронпринц" кивнул в последний раз генералу.

Не успели они отъехать и двухсот шагов от магистрата, как навстречу вынесся другой автомобиль. И два кронпринца с изумлением встретились глазами.

— Ходу, Павел Николаевич, ходу!.. — крикнул Василий по-русски.

Герасимов с места развил бешенную скорость. А вслед — тревожные гудки. Неминуема была погоня. И действительно, едва беглецы очутились за городом, уже мчались за ними два автомобиля, и передний — с настоящим кронпринцем и его адъютантами...

38. Два детектива

Перед "Полонией", как и перед "Бристолем", было открытое кафе, выходящее прямо на панель. И сидя за столиком под парусиновым навесом, можно было наблюдать уличную жизнь.

Вовка и Мирэ, спустившись вниз, сели в кафе "Полонии" так, чтобы главный вход в гостиницу был под неусыпным обстрелом их взглядов. Начался военный совет — как быть и что предпринять?

— Я того мнения, — сказал Вовка, — необходимо вывести на свежую воду местную дирекцию. Помните в "Семирамисе"? И пусть она укажет, дирекция, нам эти верхние, подзрительные, по вашему мнению, комнаты, и мы их обревизуем.

— И ничего не выйдет, уверяю вас... То есть обревизовать, как вы говорите, пожалуй, удастся. В особенности, если вы предъявите вашу бумагу... Но этот каторжник или его сообщники, заблаговременно предупрежденные, успеют улетучиться... Нет, Владимир Никитич! В таких делах нужна осторожность,

во-первых, осторожность, во-вторых, и осторожность, в-третьих.

— Вы правы... Иначе легче погубить дело. Но вы уверены, что графиня там, именно там? Вот вопрос, который меня гложет...

— Уверен ли я? Почти! Процентом так на семьдесят пять уверен! Потому что вряд ли успели они куда-нибудь ее сплавить. Вдохновенные трюки с чемоданами потому и вдохновенные, что удаются раз с одним и тем же человеком! И, наконец, если б графиня там не была, эта грязная скотина с плоской рожой и с видом убийцы, мясника или палача не встретила бы нас так "дружелюбно". От подобного дружелюбия никому не поздоровится...

У столика вырос благообразный, лоценый кельнер. Надо было что-нибудь заказать. Сообщники потребовали "белого кофе" с густыми взбитыми сливками. Обыкновенно это называлось "кофе по-венски". Но теперь, по случаю войны с Австрией, поляки окрестили такой кофе просто "белым".

— Совсем Запад! — умилялся Мирэ. — Уличная жизнь, движение, элегантная толпа.

Нет, я с удовольствием живу здесь, в Варшаве, и мне кажется, что я где-нибудь... Однако я ловлю себя на лирическом отступлении. Побольше дела и поменьше лирики! Необходимо выработать план спасения графини. Я предлагаю следующее: только ради бога, тише... Кругом, наверное, имеются в достаточном количестве немецкие шпионы, — сам себя предупреждал Борис Сергеевич. — Я уже заметил одну тупую, белобрысую морду. Уставилась на меня, как баран на новые ворота... Ну, вот к делу. Вы остаетесь здесь и не выпускаете из своего поля зрения входящих и выходящих... Меня главным образом интересует тот мясник в кепке. А я тем временем слетаю в здание ратуши к редактору местного официоза Федору Федоровичу Перемыки-ну. Симпатичнейший человек и товарищ, с татарским лицом и бородой Черномора. Из его бороды можно смело выкроить шесть таких, как ваша, но не в бороде в данном случае сила, а в его знакомствах и связях. Как редактор официоза, он является в то же время довольно видным чиновником Министерства внутренних дел, и... Но не будем тратить слов зря.

Ждите меня, или вернее нас, потому что я склонен возвратиться не в единственном числе. Это весьма желательно, и в этом залог успеха, если вообще Провидению угодно ниспослать нам успех...

Мирэ сел в извозчичью пролетку и уехал.

Вовка, прихлебывая свой "белый кофе", не спускал глаз с больших стеклянных дверей отеля. Входили и выходили помещики, бежавшие из своих разорённых имений. И лица их, и весь вид хранили еще печать испуга. Попадались легко раненные офицеры в солдатских шинелях, кто с подвязанной рукой, кто с забинтованным глазом. Мелькали фигуры сестьёр милосердия. Но все это было не то...

Наконец, минут через двадцать, вышел из дверей тот самый плосколицый, которого Мирэ назвал, "мясником". И его дешевый костюм, и несвежее цветное белье, и красные, неопрятные руки, все это вместе не говорило за постояльца дорогого отеля. Он весь был не ко двору здесь и вряд ли мог бы платить несколько рублей в сутки за номер.

Держался этот господин развязно. Толстые губы пытались даже насвистывать. Взглядом

маленьких, заплывших глаз он окинул сидевших за столиками. И когда пришёл Вовкин черёд, Вовка углубился в рассматривание французского журнала с иллюстрациями.

Небрежной походкой, засунув руки в карманы панталон, немец — без сомнения немец — пересёк площадь по направлению к Венскому вокзалу.

А еще минут через десять подъехал к самому кафе извозчичий фаэтон, и Криволуцкий увидел Мирэ в обществе двух рослых и крепких молодых людей.

Борис Сергеевич перезнакомил вполголоса:

— Это пан Цибульский, а это пан Ольшевский. Милейший Федор Федорович дал нам в помощь этих двух обязательных молодых людей. И тот, и другой местные детективы, — шепотом пояснил Мирэ.

Детективы, улыбаясь, охотно выпили предложенный кофе. Криволуцкий, в свою очередь, поделился тем, что субъекта с внешностью мясника нет сейчас в гостинице. Он вышел.

— Это облегчает нашу задачу, — заметил

Мирэ. — Дорогой мы с паном Ольшевским и паном Цибульским решили действовать напролом. Сию же минуту все четверо мы поднимемся все туда, где расположены эти загадочные комнаты без номеров. И внезапно осмотрим их. На самый худой конец, мы ничем не рискуем. У вас есть магический лист, выданный Арканцевым. Наши спутники — детективы. Что вы скажете, Владимир Никитич?

— Я могу только поблагодарить...

Лощеный кельнер получил следующее, и все четверо с беззаботным видом фланёров замешались в толпу вестибюля. Минуя лифт, чтобы не привлечь излишнее внимание, Вовка, Мирэ и пан Цибульский с паном Ольшевским, медленно останавливаясь, разговаривая, подвигались вверх по ковровой лестнице. И так — один этаж за другим. И вот они уже на последней площадке. На последней перед тем, как очутиться в седьмом этаже, с низенькими дверями без нумерации.

Эта последняя площадка деревянная, с ведущей к ней деревянной же лесенкой, — пуста и никем не охраняема.

Оба детектива двинулись в первой паре. За ними — Вовка и Борис Сергеевич. Деревянная лестница скрипела под ногами. Заскрипела площадка. На этот шум раскрылась одна из дверей, и вышла пожилая особа в костюме сиделки с неприятным злым лицом. Выпирали вперед зубы, крупные, желтые, как у грызуна. Смелым наскоком она думала замаскировать охватившую ее тревогу.

— Это есть безобразие! Я буду жаловаться на директор отель. Здесь больной, и вы делает такой тапаж! Уходите! Здесь никому не живот. Больной спит. Ви не даёт ему покой!..

И брызгая слюною сквозь желтые зубы, "сиделка" загородила своей особою дверь. Мирэ пошёл прямо на нее, на эту женщину неопределённого возраста.

— Именем закона!

— Я вам покажет сакон!.. Я вам покажет такой сакон, что вы сядет на тюрьма! — грозила она сухим, узловатым, коричневым пальцем у самого носа Бориса Сергеевича.

Он спокойно обернулся к детективам.

— Панове, уберите, пожалуйста, эту ведьму!..

Панове, схватив "сиделку", оттащили ее от двери. Она плевалась, пробуя кусаться, но дюжие руки панов Цибульского и Ольшевского держали ее, как в тисках.

Мирэ и Вовка прошли в дверь. В первой комнате, невзрачной и крохотной, — пусто. Но из неё вела дверь в следующую, без окон, темную, вроде чуланчика. Оттуда послышался какой-то вздох, и в полумраке приподнялась чья-то фигура... У постели ночной столик с ложкой, градусником и микстурами.

— Графиня! — вырвалось у Бориса Сергеевича. Он первым вошёл в полутемный чуланчик.

Да, это была она...

Вовка сжимал её руки.

— Бога ради, что с вами? Как вы сюда попали?..

Она отвечала с трудом — такой слабостью охвачена была вся.

— Меня заманили... Пенебельский... его имя... Он здесь ни при чём... Под видом, что тебе... вам угрожает опасность... И вот Флуг, эта страшная женщина и один его сообщник... И они угрозами, обещая меня убить, за-

ставляют, чтобы я глотала какое-то лекарство. Оно уносит мои силы. Я так ослабела... едва могу шевельнуться. Какое счастье, что вы нашли меня! Сегодня вечером они хотели увезти меня в какую-то немецкую колонию, как больную...

Потрясенная неожиданным появлением Вовки, графиня расплакалась. Бедная, в несколько часов она успела так похудеть...

А в соседней комнате, куда втолкнули ведьму, она продолжала бесноваться, кусаясь, царапаясь. Тогда пан Цибульский, вынув из кармана связку тонкой и крепкой бечёвки, с помощью пана Ольшевского привязал ведьму к стулу. А чтоб она не кричала на весь отель, ей заткнули рот валявшейся на полу грязной салфеткой.

Мирэ покинул чуланчик, с любопытством разглядывая подпрыгивавшую вместе со стулом ведьму. А Вовка в это время помогал Ирме одеться. Еще немного — и она на свободе.

В это время послышался скрип лестницы, и в первую комнату вошёл плосколицый, в кепке. Увидев связанную ведьму, чужих людей, он понял всё... И с опущенной головой,

как бык, бросился на пана Ольшевского, который стоял к нему ближе. Но дюжий детектив сам бывал в разных переделках. Его опасная профессия научила не только не теряться, а наоборот, самому идти навстречу всяким неожиданностям. Плосколицый хотел с размаху ударить его головой в левую сторону груди, где у пана Цибульского, как и у всех смертных, находилось сердце. Но в самый последний момент, пан Цибульский нанёс противнику два молниеносных удара: хватил снизу коленом в лицо, а сверху кулаком по темени. Бандит упал, окровавленный, и оба детектива бросились вязать его. Он вместе с кровью выплёвывал бешеную немецкую брань и отчаянно пробовал отбиваться. Детективы не остались в долгу, избив его до потери сознания. И когда он, скрученный бечёвкой, лежал в бессильной ярости, биясь головой об пол, один детектив, поправляя сбившийся галстук, молвил, спокойно другому:

— Ну, пан Ольшевский, роль наша кончена! Мы сдадим это швабское быдло наружной полиции...

Вовка и Мирэ увезли графиню в автомоби-

ле на Госпитальную, в пансионат.

Ведьму, вместе с её сообщником, доставили в канцелярию обер-полицмейстера. На допросе от них нельзя было ничего толком выпытать. О Флуге понятия не имеют, в глаза его не видели, и даже не знают об его существовании. Что касается графини Чечени, ее доставил им какой-то неизвестный господин, прося оказать ей медицинскую помощь, как больной, страдающей тихим помешательством.

Вот и все. Больше нельзя было ничего добиться...

39. Поединок

С первых же минут преследования выяснилось качество громадной аспидно-серой, подгоночного типа машины кронпринца. Настоящего кронпринца, бросившегося в погоню за своим двойником.

Расстояние уменьшалось. И могло бы уменьшиться еще больше и далее совсем исчезнуть, если бы князь Василий не отстреливался. Этим он держал преследователей на известной дистанции. Кронпринц со своей маленькой свитой в долгу не оставался, и то и дело вспыхивали огоньки револьверов. Преимущество же Василия заключалось в том, что к его услугам были два германских кавалерийских карабина, заботливо положенных в машину чьей-то внимательной рукою перед отправкой в опасную экспедицию.

Револьвер против карабина — шансы во всех отношениях неравные. Вот почему хоть адъютанты кронпринца и осыпали русских выстрелами, пули их где-то совсем далеко пропадали. Василий же успел подстрелить одного офицера, и это, видимо, охлаждающим

образом повлияло, устранив погоню и умерив её хищнический пыл. Зачем рисковать, подвергая священную особу кронпринца всяким случайностям?..

Будь иная дорога, автомобиль, который шёл сзади кронпринцовой машины, мог бы опередить её, чтоб собственной грудью встретить пули русского офицера в германском плаще и в каске. Но в том-то и беда, что дорога шла узкая, — двум крестьянским подводам не разминуться, не говоря уже о внушительных двенадцатиместных автомобилях. И объехать было мудрено, так как вдоль всего пути непрерывно тянулись глубокие канавы.

Могли бы помочь преследователям разве только еще дозоры и патрули, встречавшиеся по дороге. Но, во-первых, извольте остановить бешено мчавшийся автомобиль... Самого монументального всадника сметёт и отбросит, как игрушку. Да и кому охота рисковать? Во-вторых же, все встречные немцы были полны самого ошеломляющего недоумения. Извольте в самом деле разобраться! Перестрелка между автомобилями. И в том, и в другом — свои же германские офицеры.

Сам премудрый Соломон беспомощно опустил бы руки перед разрешением такой головоломной задачи. Тем более, приходилось решать задачу мгновенно. Одно искрометное мелькание — и всё три машины уже, чёрт знает где, несутся в густых облаках пыли...

Кронпринц с адъютантами своими уповал на чудо. Ему казалось, что дерзкий двойник встретит на своём бегу целую баррикаду из брёвен или даже деревьев. И тогда уже нет никакого спасения. Но откуда же взяться баррикаде, если штабу корпуса, кругом растерявшемуся, не явилась самая простая мысль дать знать по телефону на передовые позиции, чтобы там задержали, какой угодно ценою, переодетого русского офицера? Правда, крайние линии германского расположения не пересекали дорогу, но все же она была в немецких руках, и можно было выслать кавалерийский разъезд с каким-нибудь заградительным материалом. Или за отсутствием его можно было просто перекопать дорогу. Но ничего этого не было сделано, и автомобиль, миновав последние германские линии, покрывал уже нейтральную зону. Преследователи,

боясь увлечься и уже, в свою очередь, из охотников превратиться в дичь, отстали.

Опасность миновала. Василий бросил на дно машины оба карабина с до обжога раскаленными стволами. Сгоряча, в пылу перестрелки, он и не заметил, сколько выпустил патронов. И лишь теперь увидел, куда более дюжины разбросанных там и сям медных обойм.

Герасимов повернул к нему свое вспотевшее, улыбающееся лицо.

— Ну что, князь?

— Да что, жарко было, одно скажу! Знаете, я, как мальчишка, молился Богу, чтобы ухлопать кронпринца. Ведь был момент, когда расстояние между нами было шагов сто двадцать и я успел его разглядеть. И даже лучше, чем когда мы съехались лицом к лицу возле штаба. И было такое впечатление, словно я видел себя в зеркале. Жутко стало, до чего я похож на этого мерзавца! Но, смотрите, смотрите, аэроплан!.. И вдобавок, немецкий "таубэ"!..

Аэроплан летел на высоте приблизительно тысячи метров. Но не было в полете ни ве-

ры в себя, ни плавности. Видимо, там, навер-ху, не все обстояло благополучно. Замедлен-ный ход. Какие-то дергающиеся зигзаги. Слов-но голубок — сверху он действительно казал-ся крохотным голубком, — чуя свои послед-ние минуты, чертил клювом по воздуху ка-кие-то загадочные буквы, быть может, по-следнюю волю.

Реял след за аппаратом в виде густого, зло-вещего дыма. И все ниже и ниже скачками опускался "таубэ", точно прицеливаясь, куда б он мог спуститься на сжатом побуревшем по-ле.

Герасимов остановил машину и, сняв авто-мобильные очки, вооружился биноклем.

— Ого! Да голубок-то, видимо, пощипан! Оказывается, полёт над нашими позициями даром им не обошелся. Я думаю, что пуля про-дырявила бак. с бензином, и все вытекло. И вот у них нет пороху продолжать свой путь... Все спасение в планирующем спуске. Хотя это спасение весьма гадательное... Ведь мы же, князь, на что-нибудь да пригодимся с вами?

— Я думаю, — ответил Василий, вкладывая обоймы в тот и другой карабины.

А "таубэ", дрогнув несколько раз и словно удержавшись на какой-то невидимой поверхности, камнем вдруг полетел вниз. Планирующий спуск удался. Аппарат сел на сжатом бугорчатом поле, в тысяче шагов от дороги. И видно было, как, слезая, закопошились две фигуры. Вот они уже на земле и стоят под прикрытием в нерешительности, не зная, кто сидит в автомобиле, свернувшем с дороги — свои или чужие? Друзья или недруги?..

Когда расстояние сократилось шагов до трехсот, Герасимов остановил машину, взял протянутый князем карабин и слез. Сошёл и Василий.

Потерпевшие аварию летчики, введенные в заблуждение каскою, сиявшей на осеннем солнце острым шишаком, в первую минуту уверены были, что имеют дело со своими.

Их было двое. Один повыше, одетый спортсменом, другой поменьше, весь в коже: кожаный шлем, кожаная куртка, кожаные штаны.

Этот кожаный человек крикнул по-немецки:

— Доставьте нас в штаб!.. Русские подстре-

лили нас!..

— Идите сюда с поднятыми руками и бросьте ваше оружие! — ответил Василий.

Летчики, смекнув что-то неладное, перекинулись между собою парюю отрывистых фраз. Ответил высокий. И ответил по-русски:

— Ошибаетесь. Вы так дешево не получите нас!.. Руки наши не для того, чтоб их поднимать. А совсем для другого...

И в доказательство — высокий, согнувшись и юркнув под прикрытие аэроплана, выстрелил оттуда. Примеру его последовал и спутник в кожаном. Тоже спрятался и тоже выстрелил.

— Я им не завидую, — сказал Василий. — У нас целый бронированный форт, и мы его чудесно используем... Неправда ли, поручик?

И оба спрятались за автомобиль, и началась перестрелка. Пули врагов то и дело впились в деревянные части машины, щелкались в металлическую облицовку.

Вооруженные револьверами противники стреляли метко. Едва кто-нибудь из русских высовывал голову из-под прикрытия, желая тщательней прицелиться, пули немцев про-

носились близко... Одна из них ударилась о шишак улана, и медное, полое внутри острие согнулось.

Взаимный обстрел продолжался минут двадцать и пока существенных результатов — никаких.

— Сдавайтесь, — предложил Герасимов.

В ответ — выстрелы.

Все это происходило в самом центре так называемого "мёртвого пространства", и ни те, ни другие не могли ждать ниоткуда помощи. Надо было надеяться лишь на самих себя. Победят те, у кого больший запас патронов и... нервов...

Но и в этой борьбе сказалось преимущество карабина. Герасимов лёг, утвердил свое оружие на спице колеса и замер в прицеле. И после коротко и сухо щёлкнувшего выстрела из неприятельского лагеря донесся крик ярости. Это кричал высокий. Его товарищ в кожаном костюме не мог кричать, убитый наповал. Двое против одного — это уже легче.

— Сдавайтесь!

Новый крик ярости, и пуля пробила верхнюю часть защитной шофёрской фуражки,

неосторожно высунувшегося поручика.

Оба, Василий и Герасимов, замерли на миг, наблюдая, как распорядился высокий с трупом летчика. Он посадил его лицом к неприятелю, одним плечом прислонив к деревянным частям шасси, а из-за другого плеча отстреливался, маскируя таким образом свою особу. И хотя с трезвой немецкой точки зрения высокий решил защищаться трупом своего спутника, трупом, которому "теперь все равно", однако было что-то циничное и кощунственное в этом желании использовать еще не остывшее тело товарища.

Нервы князя Василия и Герасимова давно обтерпелись всячески среди ужасов этой войны. Однако поведение уцелевшего противника глубоко возмутило их.

— Нет, надо скорее покончить с этим мерзавцем!

Огонь сосредоточился на высоком. И оба с таким дружным единодушием разряжали свои карабины, что все время получалось впечатление непрерывных и стройных дуплетов. И видно было, как иногда откидывается взад и вперед, мотая головою, посаженный

труп человека в кожаном костюме.

— Никогда не испытывал такого омерзения! Волей-неволей приходится попадать в мертвеца, — негодовал Василий.

Он последовал примеру Герасимова, воспользовавшись спицею колеса, как станком. Долго целился, ловя момент, чтоб показался хоть "кусочек" длинного спортсмена. Вот он! Мелькнуло бледное лицо. Василий выстрелил. Ответа — нет. Длинный опрокинулся, и на него упал труп в кожаном. И молчание. Тишина полная, жуткая тишина...

— Кажется, готов! — молвил Василий.

— Да, кажется...

И оба двинулись к аэроплану, держа наготове карабины, опасаясь вероломства. Длинный мог прикинуться мёртвым, а стоит им подойти ближе...

Но опасения были напрасны. Длинный, раскинув руки, лежал, выпустив револьвер. А посредине бледного лба — небольшая круглая ранка, величиною в спелую вишню. Русские подошли вплотную. Длинный лежал, стиснув зубы. Он приоткрыл глаза, холодные, тусклые, подернутые пеленою смерти, как это бы-

вает у недобитых птиц, приканчиваемых охотником. Веки сомкнулись, замерли, и сразу окаменело бритое лицо.

И минуту русские стояли в безмолвии с обнаженными головами. Первым очнулся Василий.

— Надо обыскать их. Пожалуй, с ними какие-нибудь интересные документы...

И опустившись на колени, он расстегнул куртку длинного. И застыли вдруг пальцы Василия, и сам он весь застыл.

— Голубчик, да вы знаете кто это?..

— Кто?

— Флуг! Знаменитый шпион Флуг!.. Я его встречал в Петрограде, в "Семирамис-отеле"... Я не сомневаюсь теперь, что найду на нём ценные документы...

40. Рассеялись призраки

Судьба поставила над мятежным существованием Флуга точку. Кровавую точку в виде спелой вишни. Интересный роман жизни Флуга оборвался вдруг, так внезапно и далеко не на последней странице. Почему знать, и даже наверное, — впереди было еще много глав, столь же увлекательных, сколь и преступных.

И теперь, когда Флуг лежал под осенними небесами той самой Польши, которую он исколесил вдоль и поперёк, теперь, лицом к лицу с вечной тайною смерти, до чего ненужным и лишним казалось все, на что с такой дьявольской выдержкой, с железной неутомимостью тратил свою энергию этот человек, по его собственному признанию вечно балансировавший между виселицей и скрытой властью великого инквизитора.

И вот маленький кусочек свинца, засевший в мозгу, испортил навсегда великолепный человеческий механизм. Смерть. Почетная смерть не на позорной виселице, а в открытом, честном бою, грудь с грудью. Правда,

за многое Флуг достоин был пенькового ожерелья... За многое... Но трусом никогда не был. Защищался до последнего, отстаивая свою пёструю, темную жизнь искателя приключений и политического шпиона — и прощай перебрасывание с места на место, каюты пароходов, экспрессы, гостиницы, переодевания, встречи с министрами, которым он из уст в уста передавал секретные приказы монархов... Ничего этого не было... Сгинуло...

И вот человек, сыгравший такую заметную роль во всех последних событиях, сообщивший в Вене о желании Берлина покончить с наследным австрийским эрцгерцогом, лежал теперь лицом вверх, на грязно-буrom поле, в тени распростёртых над ним крыльев германского "голубя"!.. Эти крылья не могли его спасти...

Неприятно было Василию и Герасимову обыскивать трупы. Но волей-неволей пришлось это сделать, и, заглушая брезгливое чувство, первый занялся Флугом, второй — летчиком, в желтой кожаной куртке. Вернее, от куртки осталось одно воспоминание: и плечи, и грудь — это было одно сплошь реше-

то. Решето почти без крови. Этот человеческий щит Флуга обстреливался, когда он уже был холодеющим трупом.

Результат обыска превзошёл все ожидания. С Флугом оказались не только ценные чертежи, бумаги и планы — это своим порядком, — но были еще подробнейшие списки всей шпионской организации края. Своеобразный путеводитель для наступающих немцев. Занимая город, местечко и даже село, они наперёд знали, кто их радушно встретит и снабдит необходимыми сведениями. Среди этих "единомышленников" и "доброжелателей" мелькали то и дело немецкие имена людей с видным общественным положением.

И, не веря глазам, Василий давал читать убийственные списки своему "шофёру". И оба в жутком изумлении глядели друг на друга.

— Господи, что же это?.. После этого кому же верить?!

Время уходило. Офицеры, довольные своей удачей, увлекшись находкою важных документов, не заметили, что уже близилось к вечеру. Уже отбрасываемая аэропланом тень заострилась и удлинилась. И хотя зона считает-

ся нейтральной, однако, в сущности, на войне, в конце концов, нет ничего "нейтрального". Какой-нибудь неприятельский разезд и — весь успех насмарку...

Но что делать с аэропланом? Испортить его — для этого надо быть механиком. Решили его попросту сжечь. Трупы убитых отнесены были подальше и аккуратно положены рядом. При всём желании похоронить Флуга и летчика за отсутствием лопат офицеры не могли. Правда, есть романисты, у которых герои копают могилы саблями. Но выкопать саблей могилу возможно лишь на страницах романа...

Через несколько минут автомобиль уже мчался к русским позициям. Спутники оглядывались на гигантский факел охваченного пламенем "таубэ". Огонь и дым поднимались к небесам.

А вверху кружились две чёрные точки. Эти чёрные точки — два громадных, отъевшихся человечесиной ворона, издавдалека почуявших новую добычу. Пламя не отпугивало их. Они успели привыкнуть к пожару и, покружившись, стали спускаться...

Седоусый генерал, с фигурою молодого корнета, обнял, сочно целуя, вернувшихся благополучно из львиной пасти Василия и Герасимова.

В самом деле, это не подвиг, а уже целый ряд сверхподвигов. Проникли в штаб неприятельского корпуса и, узнав его карты, смешали их. Преследуемые, ушли от погони, уничтожили вместе с аэропланом двух германских шпионов и привезли с собою документы исключительной важности.

По заслугам и награда! Имевший золотое оружие, Василий приехал на несколько дней в Варшаву для свидания с сестрою, уже с новеньким Георгием в петличке. Они съехались в один и тот же день с Марой, после того, как она была в плену Гумберга и ее освободил Каулуччи. Все эти передряги, все ужасы стоили княжне многих седин, засеребрившихся в её густых, темно-рыжих волосах. И главное, сама не заметила. Первая обратила внимание Сонечка:

— Что я вижу! Мара, ты поседела! Совершенно определенно поседела!.. Вот, вот, ещё... Конечно, можно выдернуть. Но только слыш-

ком много пришлось бы выдергивать. Необходимо анафемское терпение.

— Неужели я стала седая?

Взяв ручное зеркало, княжна посмотрелась.

— Да... Много седых волос... Но это не... портит?..

— Ничуть! — подхватила Сонечка. — Даже оригинально. Придаёт что-то, как бы это сказать, ну, трагическое, что ли... И ты еще больше будешь интриговать. И в тебя будут влюбляться... А все-таки досадно, Марочка, досадно...

— Ничуть. Я поразительно дешево и счастливо отделалась. Все это могло кончиться гораздо хуже, и, если бы не случай, мы не увиделись бы с тобою никогда.

— Вот страхи! — всплеснула руками Сонечка. — Я умерла бы на месте. Какое было с твоей стороны безумие — ехать!

— Это мы всегда говорим потом уже... Вначале же никогда не сознаём нашего "безумия". Вначале все так просто кажется...

— Во всяком случае, ты — героиня! О тебе говорят. Вокруг тебя ореол. Подумайте! В пле-

ну у "гусар смерти", потом ночью тебя сажают на лошадь, и все мчитесь, сломя голову, неизвестно куда...

— Положим, мы ехали рысью...

— Не все ли равно? — горячо возражала Сонечка. — Так, как я говорю, красивее. И так я буду рассказывать всем про тебя. Но каков Гумберг, а? Вот негодяй! А ведь пользовался вашим гостеприимством, обедал хлеб-соль ел. Во всяком случае, твое желание исполнилось... Ты видела маркиза. Жаль, что он вместе с тобою не мог сюда приехать.

— Не мог. Он будет через неделю...

Стук в дверь. Вошёл Василий в бурке и защитной, оливкового цвета рубашке с Георгиевским крестом.

— Вася!

— Мара!..

Брат и сестра крепко обнялись.

Нервы княжны, обостренные событиями последних дней, дали себя знать в этой встрече с братом. Она расплакалась, и слезы перешли в истерику.

Василий был героем дня. Вокруг него содалась цветистая легенда. Еще бы! Двойник

германского кронпринца, проникший под его маскою в самое сердце неприятельского расположения, а потом собственноручно убивший страшного, сказочного Флуга, принёсшего столько зла. И где б ни появился Василий, в кафе, в ресторане, в Аллеях, или в Саксонском саду — экспансивные поляки устраивали ему овации, а дамы осыпали цветами...

Нужно ли говорить, что Василий в первый день приезда в Варшаву прямо из объятий сестры попал в переделку к Борису Сергеевичу Мирэ. Битый час расспрашивал Василия помощник редактора газеты "Четверть секунды" и послал в Петроград телеграмму в четырёхста тридцать два слова. И пообещал не ограничиться этим.

— Телеграмма своим порядком. Но я ещё напишу целый ряд фельетонов![15]

И написал.

Но прежде чем написать, Мирэ, забыв всякую осторожность, забыв, что графиня вся ещё во власти своего заточения и не успела оправиться, ураганом влетел в её комнату, вспугнув и самую графиню и Вовку, читавшего ей вслух какую-то книгу. От неожиданно-

сти вздрогнули оба: и графиня, лежавшая на кушетке, прикрытая пледом, и Вовка, сидевший у её изголовья.

— Извиняюсь, тысячу раз извиняюсь! Но я не мог поступить иначе. Я должен был ворваться! Я принёс вам радостную весть, мои друзья. Вашего злейшего врага нет в живых больше! Нет. Он не существует больше!

— Не может быть! — не веря, в один голос воскликнули Ирма и Вовка.

— А я вам говорю — убит! Факт налицо! Неопровержимые доказательства!

Ирма так и затрепетала вся надеждой, и хлынул румянец к её бледным щекам...

— Да-да! — повторил Мирэ. — Доказательства неопровержимы! Вот как было дело: когда мы открыли местопребывание графини, Флуг, узнав об этом, скрылся. Он уехал под Варшаву, к одному богатому колонисту, разумеется, шпиону. И оттуда улетел на аэроплане к своим. Русские успели подбить аэроплан, и Флуг — хочешь не хочешь — должен был спланировать. Но к его несчастью, навстречу автомобиль с двумя русскими офицерами... Вот еще, вам доложу, история, пред которой

бледнеет фантомасово переодевание Флуга!.. Но это — потом. В результате же известный всем князь Василий Солнцев-Насакин застрелил Флуга, в виде добычи взяв у него ошеломлявшие по своей сенсационности документы. Князь в лицо знал Флуга и не мог ошибиться. Теперь, надеюсь, все ваши сомнения разлетелись, как дым... Знаете, Владимир Никитич, да и вы, графиня, можете смело сказать: "ныне отпускаеши"...

Графиня, просветлевшая вся, с улыбкою протянула обе руки свои, бледная, тонкая похудевшая, Криволицкому. И он пожал их с ободряющей ласкою.

Судьба одним властным движением забрала человека, висевшего над ними дамокловым мечом. Кончено, его нет больше! Нет страхов, нет вечных пугающих призраков. Флуга нет... Впереди новая жизнь — светлая, безоблачная, прекрасная...

41. Дома

И лето, и осень сменились суровой зимой. И то самое, громадное, как в студии живописца, окно в кабинете покойного старого князя, куда летом целыми потоками вливались яркие лучи солнца, теперь было густо, причудливо расписано морозом.

И жарко были натоплены печи в деревянном доме, а там, за окнами, неподвижно стыли, цепenea на холоде, запорошенные инеем деревья в снегу. И вели к ним глубокие, волной наметанные сугробы.

Стояла особенная зимняя тишина, когда не слышно стучащих по камням колёс и копыт. Совсем, как в деревенской усадьбе. Тишина и покой...

Старая дедовская мебель, почерневшие картины и на письменном столе — пучок гусиных перьев, которыми любил писать покойный князь и которые, увы, пережили его.

И все, как было при нём. На стене — заржавленная елизаветинская шпага и тяжелые вороненой стали, необыкновенно длинные и неудобные для прицела пистолеты.

Мара с детства хорошо помнила эти пистолеты. Они внушали ей страх. С годами рассеялось это чувство, а теперь они вызывали у княжны снисходительную улыбку.

Она давно успела вернуться из Варшавы. И когда ее охватили дома уют и покой, и зимним вечером, в тепле и под ласку матери, она вспомнила кошмарную ночь в польской деревушке, с Гумбертом, и двумя часовыми, ежеминутно готовыми ее пристрелить, и, в конце концов, вынужденное бегство, и чудесное спасение — все это казалось ей теперь настолько чудовищным, что не хотелось верить: было ли это на самом деле взаправду, или посещают ее отзвуки дурного, как горячечный бред, сна?..

Здесь о войне напоминали госпитали, переполненные ранеными. С каждым днём прибывало их все больше и больше. А в остальном зимняя жизнь столичного пригорода текла, как и раньше. И эта зима немногим отличалась от минувшей. Обилием снега разве и отсутствием военных. Все гвардейские полки были на позициях, и вести об них приносились одинокими офицерами, возвращавши-

мися на несколько дней, кто отдохнуть, кто легко раненный, а кто в командировку.

Сонечка д'Эспарбэ приехала вместе с княжной из Варшавы. Смугло-бронзовый, как танагрская статуэтка, Малицын ушёл в действующую армию, после чего Варшава опостылела вдруг Сонечке, и она вместе с подругой поспешила вернуться. Вскоре, почти вслед за нею, спустя неделю-другую приехал и Малицын. Хрупкий, экзотический юноша простудился в окопах и едва не схватил воспаление лёгких. Его отправили домой подлечиться.

Сонечка, терзавшаяся, что его могут убить, или он попадёт в плен, была на седьмом небе. Они опять вместе. Она слушает его музыку, не спуская с него бездонной синевы прекрасных очей своих.

Для Мары тянулось медленно время. От одного письма до другого. Полосы длительного молчания сменялись целым каскадом писем, которыми забрасывал ее Каулуччи. Ах, до чего ждала она этих писем!

Отцовский кабинет был "наблюдательным пунктом". Из окна виден был весь уходящий в перспективу двор, кончающийся воротами

и калиткою. И какой желанной была фигура почтальона, дважды в день являющегося в усадьбу со своей туго набитой сумкой. Жадно подстерегала Мара каждый его приход. И когда мороз покрывал своим серебряным кружевом сплошь все окно, княжна, вспомнив детские годы, терпеливо дула тёплым дыханием своим в одну точку. И понемногу оттаивала изморозь, и, чтоб совсем оттаяла, Мара пальцами протирала небольшое круглое, с пятак, окошечко. И сквозь это окошечко она, как в овальной рамке, видела и весь двор, и калитку, и появлявшегося в ней почтальона, и, Боже, как он долго и нудно пересекал двор... Княжна бросалась на кухню, торопила почтальона, с посеребренными усами и бородою.

— Скорей же, скорей давайте...

И если это были только газеты или "чужие" неинтересные письма, разочарованная девушка сразу вся погасала. И по лицу этого "Меркурия" в неуклюжем форменном пальто научилась Мара угадывать, есть от "него" письма или нет. И если "да", почтальон расплывался в сияющую улыбку. Сам спешил за-

бежать вперёд.

— Сегодня целых два, ваше сиятельство!..

В таких случаях она сыпала ему рублями чаевые.

Но вот проходит неделя, другая тянется. А об нём ни слуху ни духу. Ни звука, ни одной строчки. Мара истомилась, похудела. И как-то погасли японские зеленоватые глаза. Но все же упрямо, изо дня в день, утром и вечером, занимала она свой наблюдательный пункт, протирая "пяточки" в намёрзшем окне.

Почтальон смущался, и вид у него был виноватый, обескураженный. Долгое молчание офицера, почерк которого был наизусть им выучен, бил его по карману. Серебряный дождь рублей прекратился на целых три недели...

Целых три недели княжна мучилась неизвестностью. Даже письма братьев — она пробегала их обыкновенно со вниманием — наскучили ей, и она передавала их, не читая, княгине.

Утихли морозы, пошла мягкая оттепель, и громадное окно стало прозрачным и чистым. Как на ладони, весь двор и часть улицы. Но

какой толк, если все эти выгоды наблюдательного пункта не приносили Маре желанных писем.

Сонечка забегала урывками. Похорошевшая, румяная с холоду, в красной вязаной шапочке и с лисьим боа.

— Сегодня два часа на лыжах бегала! А ты не бегаешь?..

— Нет...

— Напрасно! Это развлекало бы тебя... Давно имела письма?

— Давно... Очень давно... И забыла, когда!

— Ах, теперь я все по-ни-маю... — нараспев молвила Сонечка. — Теперь я все понимаю... Досадно! Вчера Имшин приехал с позиций!..

— Ну и что? — оживилась Мара.

— Ничего... То есть ничего интересного для тебя... Маркиза не видел и не имеет никакого понятия, где он, как он и что с ним... Я его первым же долгом спросила... Думала быть для тебя доброй вестницей... Но Имшин сам ничего не знает...

— Жив ли он... — с тоскою вырвалось у княжны.

— Что за глупости? Разумеется, жив!

— Ты думаешь?..

— Странный вопрос. Да, потому что было бы глупо, если б его... если б с ним что-нибудь случилось... Я уверена, что завтра ты получишь письмо, и все будет благополучно...

После некоторой паузы, Сонечка с эгоизмом влюбленной переходила на свое:

— Ах, Мара, я так счастлива, так счастлива! Даже боюсь!.. Боюсь, что его найдут здоровым, поправившимся и опять пошлют на эту несносную войну... А у него как раз прилив творчества. Он сочиняет оперу из какой-то индийской жизни... Хор баядерок, жрецы, факиры и магараджа... Помнишь роман, который мы собирались писать?

— Помню... — машинально, думая о другом и завидуя подруге, отвечала княжна.

— Как здоровье мамы?

— Ничего... Она у себя отдыхает... Получила письмо от Васи, волновалась, плакала и теперь отдыхает...

— А что пишет Вася?

— Не знаю... Впрочем, немножко знаю... Взял в плен какого-то важного офицера... И опять ему выйдет награда... Чувствует себя

хорошо, здоров... Чего же больше?..

Мара подошла к окну и молча смотрела, прижавшись лбом к холодному стеклу. Притихла и Сонечка. Вынула из майоликового стакана с дробью гусиное перо, щекоча им свое румяное личико. Ей было не по себе. Было чувство неловкости перед подругой. И глядя на гибкую спину Мары, она услышала какой-то слабый крик, увидела, как вздрогнули её плечи и трепет передался всему телу.

Через двор шёл офицер в солдатской шинели. Рука его была на черной перевязи. Ближе и ближе видно лицо с крупными чертами и мефистофельской бородкой.

Княжна пошатнулась. Сонечка, бросившись к ней, схватила ее за локоть... У Мары подкашивались ноги, ослабела вся вдруг, и стало темно в глазах.

42. К новым радостям

К онца краю не было радостям. Ожила вся
вдруг княжна, почувствовав около себя
любимого человека.

Все свои дни, вечера, все свободное от перевязок время — перевязки отнимали немного — проводил Каулуччи у своей невесты. Да, невесты.

Об этом говорили, этому удивлялись. И было основание удивляться.

Каулуччи всегда такой надменный, замкнутый, к женщинам относившийся с каким-то сдержанным презрением, Каулуччи, за которым тщетно бегали мамыши своих дочек, богатых приданниц — этот самый Каулуччи женится на княжне Маре.

И, как всегда в таких случаях в бесконечных пересудах и завистливых сплетнях доставалось обоим. И жениху, и невесте.

— Княжна Тамара?.. Она очень мила, нет слов... Но, если уж говорить правду, что в ней особенного? Красива? Нет... Богата? Нет! Умна? Так себе... Звёзд не хватает с неба.

— А искусство завлекать мужчин? Это вы

не ставите ни во что? — ядовито подхватывает чей-нибудь "доброжелательный" голос.

— Зато принесёт мужу свою добродетель... А это по нынешним временам плюс большой, в особенности, принимая во внимание, что барышни преспокойно устраивают выкидыши. А княжна, отдать ей справедливость, ловко водила мужчин за нос. Они на многое надеялись, а не получали даже самых обыкновенных поцелуев. В добродетели её вряд ли кто усомнится...

— Вы думаете? — слышалось чье-то змеиное шипение. — А эта её скандальная история с Гумбергом?

— В чём дело?

— Как в чём дело?.. Так вы ничего не знаете! Здесь еще, в Петрограде, у неё был с Гумбергом флирт... Да-да, был! Эти прогулки верхом в лес... Ну а потом, уже на войне, Тамара очутилась у него в плену. Вы понимаете, какой это был плен? Я думаю, они оба, и завоеватель, и пленница, даром не теряли время...

— Может ли быть?..

— А почему и нет? Почему не может? Тем более, так легко сослаться на... на то, что Гум-

берг принудил ее силой отвечать на его не совсем скромные ласки...

Обработав невесту, принимались за жениха.

— Каулуччи!.. Каулуччи!.. С ним много очень уже носились. Избаловали его не в меру. А что такое Каулуччи, в сущности? Маркиз? Так в Италии голодных маркизов угол непочатый на каждом перекрестке. Мне во Флоренции один маркиз с этакой звучной, трехэтажной фамилией порнографические карточки предлагал купить...

— Но Каулуччи богат, носит блестящий мундир, порнографическими карточками не торгует, и там, где-то на Комо, или на другом озере, уже не помню, у него есть старый фамильный замок.

— А кто гостил из наших знакомых в этом замке?

— Не знаю... Но так говорят...

— Мало ли, что говорят. Вообще это сухая бессердечная натура. Вы помните, отравилась из-за него в прошлом году Лиля Бакастова.

— Лиля Бакастова? Но, кажется, она отравилась совсем по другой причине.

— Это кажется... Настоящая же причина — именно Каулуччи.

И так без конца перемывались косточки влюблённых. И они знали это. Сонечка Эспарбэ, нет-нет, возьмёт и проболтается... Но и маркиз и Тамара презрительно улыбаются. Пусть. Про кого не говорят дурного в обществе? Про всех! Кто на виду и заметен. Исключение — все тусклые, серенькие. Их снисходительно называют "милыми".

Назначен был день свадьбы на десятое января. Оставался еще месяц. Княгиня-мать дала свое согласие. Одно лишь смущало ее: со смерти старого князя и полгода не прошло. Удобно ли так торопиться?

Но дочь сразила княгиню.

— Мамочка, это при обычных условиях. А теперь — военное время.

— Да, теперь военное время, — согласилась княгиня, вздохнув.

К Рождеству подъехал брат Василий. Дом оживился громким голосом офицера, не успевшего отвыкнуть от зычной команды под открытым небом. Брат навёз с собою новых трофеев: палашей, сёдел, касок, винтовок...

Подвижная хохотунья Сонечка вечером, в первый день праздника, нагрянула к Насакиным с целой ватагою ряженных. И странно звучали под масками голоса всех этих коломбин, средневековых пажей, испанок и мушкетёров. Бедуин весь в белом подсел к роялю и ударил по клавишам!.. Начались танцы.

Бедуин в маске, с бородою, оказался юношею Малицыным, Сонечка, не вытерпев, разоблачила его. Сама же Сонечка была маркизой в напудренном парике, и, когда сняла маску, на её розовых щёчках сидело по черной мушке.

За несколько дней до свадьбы все с ног сбились: ездить каждый день в город, по магазинам, портнихам и модисткам было трудно. И вся семья Солнцевых-Насакиных перекочевала на время в город, сняв несколько номеров подряд в "Семирамисе".

Было весело, шумно, хлопотно. По несколько раз в день приносились отовсюду большие картонки, пакеты.

К этому времени подъехали из Варшавы и тоже остановились в "Семирамисе" Вовка с графией. Ирма успела расцвести и похоро-

петь пуще прежнего — Флуг не омрачал больше её спокойствия.

Василий устроил в своей комнате целую походную канцелярию. Наиболее почётным гостям писал собственноручные приглашения. На нём лежала забота о шаферах и обо всей декоративной стороне свадьбы.

— Надо, чтоб это здорово было расписано в газетах!

Он вспомнил Бориса Сергеевича Мирэ и позвонил ему. Мирэ был уже редактором газеты "Четверть секунды". Они встретились за обедом в ресторане отеля. Василий благодарил Бориса Сергеевича за его телеграмму в четыреста тридцать два слова и за фельетоны.

— Пустяки! — улыбался Мирэ. — Это мой долг! Вы уничтожили такое опасное чудовище, как этот Флуг, и ваша заслуга, князь, велика. Более, чем велика, она громадна! Что же касается свадьбы, мы ее подадим, как следует. Я завёл в своей газете отдел светской хроники. Совсем на других началах, нежели в остальных газетах. Хороший тон, чуждый лакейства. У меня великолепный хроникёр. Сам

человек общества.

Венчались у Исаакия. Зимний день пере­ливался в сумерки. Эти сумерки тихо и зага­дочно струились в громадное окно. Мерцали свечи, озаряя золотое шитье камергерского мундира Леонида Евгеньевича Арканцева. Он был посажёным отцом невесты. Сияли звезды почтенных седых генералов. К маленькому столику с раскрытой книгой подходили ша­фера, и молодой священник с бородкой веж­ливо указывал пальцем, где надо расписать­ся. Приехал жених в защитном кителе с Геор­гием и красным Анненским темляком.

Невеста, вся в белом и с флер-д'оранжами была очаровательна, блистая свежей молодостью и яркостью коралловых губ. В зелёных глазах появилось какое-то новое выражение. Сонечка поцеловала подругу и не могла удержаться от слёз. Шепнула на ухо Маре:

— Ты должна первой вступить на коврик!

Мара думала об этом, но когда пришло время, — позабыла.

Распахнулись царские врата. В запрестольное окно глядел уже сгустившийся вечер. И что-то мистическое было в этих тускло-сереб-

ристых потемках... Словно одинокий глаз судьбы молодых, затаившись, не мигая, наблюдал эту пару, стоявшую на самом рубеже своей новой жизни...

Чистым и тонким дискантом заливались крошки-певчие в длинных до пят епанчах. Мощно гремели голоса небритых скучающих басов.

И когда все кончилось, первым подошёл поздравить племянницу в великолепных своих "валуевских" надушенных бакенах Арканцев. И тотчас же, взглянул на часы и перемолвившись парюю тихих фраз с Вовкой, исчез. Он успел загодя извиниться перед княгиней, что не может быть на свадебном обеде. Он торопился на экстренное заседание дипломатов союзных держав.

И странно было с непривычки слышать Тамаре, когда поздравлявшие называли ее маркизой. Теперь у неё другая фамилия, другой титул. И все пойдёт совсем-совсем по-другому...

Вереница автомобилей, карет и простых извозчичьих саней потянулась от гранитных лестниц Исаакия к "Семирамису".

В громадном кабинете, где уже был накрыт обеденный стол, молодых поздравляли морсом и минеральной водой за отсутствием шампанского. И все возмущались тем, что даже в такой торжественный момент нельзя выпить вина. Особенно Василий не унимался. Он потребовал на цугундер юркового, любезно-го директора, с наполеоновской бородкой.

— Неужели нельзя? Ну хоть полдюжины всего...

— Увы, ни одной бутылки. Запрещение во всей своей строгости...

— Это безобразия, это чёрт знает что! — негодовал Василий. Но волей-неволей пришлось ограничиться сухарным и клюквенным квасом, "нарзанами" и "эссенуками". Все же обед прошёл весело, и такие говорили тосты, как если б в бокалах искрилось холодное, иглами пронзаемое вино.

В конце обеда Василий куда-то исчез, куда-то съездил на автомобиле и вернулся с видом счастливого заговорщика и с таинственным ящичком, который велел поднять к себе, наверх.

Он подоспел уже к кофе и говорил соседям:

— А все-таки у нас будет шампанское. Мы его разопьём там, наверху, у себя!

Каулуччи остался с женою вдвоём. Он при-влёк ее к себе, нежно и мягко.

— Ты счастлива, Мара?

— А ты?

— Можно ли спрашивать... А помнишь то-гда, в аллее?..

— Помню! На всю жизнь помню!

И она прильнула к его груди своим вспых-нувшим и смутившимся личиком...

Вовка после нескольких бокалов шаман-ского, выпитых там, "наверху", вошел к Ирме. Из-под тяжелых томных век она смотрела на него с любовью своими восточными глазами.

— Уже? Я соскучилась по тебе!..

— Уже!

— Какой ты интересный сегодня... Тебе идет фрак.

— Да... Ну вот, мы вместе. И мы долго еще будем вместе, Ирма...

— Я хотела бы — всегда. Но такого слова не существует. Нет ничего вечного. А в любви в

особенности.

— Есть! И мы докажем с тобой, что есть!

И он опустил перед нею на колени. Она гладила его густые черные волосы.

— Мы опять с тобою в "Семирамисе"...
Здесь я видела и горе, и счастье. Горе ушло, а счастье — наше... Оно осталось... И я люблю этот милый, хороший "Семирамис".

— И мне он дорог... Из-за тебя дорог... —
молвил Вовка, касаясь лицом теплой груди Ирмы.

1915 г.

"Военные приключения" является зарегистрированным товарным знаком, владельцем которого выступает ООО "Издательский дом "Вече".

Согласно действующему законодательству без согласования с издательством использование данного товарного знака третьими лицами категорически запрещается.

Составитель серии В. И. Пищенко

Литературно-художественное издание

Выпускающий редактор В. И. Кичин

Художник Ю.М. Юров

Корректор Г. Г. Свирь

Дизайн обложки Д.В. Грушин

Верстка Н.В. Гришина

ООО "Издательство "Вече"

Адрес фактического местонахождения:
127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48,
корпус 1. Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213),
(499) 940-48-71.

Почтовый адрес: 129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес: 129110, г. Москва, пер.
Банный, дом 6, помещение 3, комната 1/1.

E-mail: veche@veche.ru <http://www.veche.ru>

Подписано в печать 27.01.2022. Формат 84x108^{1/32}. Гарнитура "KudrashovC". Печать офсетная. Бумага газетная. Печ. л. 15. Тираж 2000 экз. Заказ № 0-0259.

Отпечатано в типографии филиала АО "ТАТМЕДИА" "ПИК "Идел-Пресс". 420066, Россия, г. Казань, ул. Декабристов, 2. e-mail: idelpress@mail.ru

Примечания

1

Шикарная женщина, ваше сиятельство, не правда ли? (*фр.*)

[^^^]

2

Господин, сегодня я еще ничего не ел, будьте любезны, дайте мне что-нибудь... *(франц.)*.

[^^^]

3

Ты так добр ко мне (*франц.*).

[^^^]

4

Великолепный кусок женщины! (*итал.*)

[^^^]

Или — или (*нем.*).

[^^^]

6

Калиш — старейший город Польши.

[^^^]

Трубочистом.

[^^^]

8

Орден, бывший высшей военной наградой Пруссии до конца Первой мировой войны. Неофициально назывался "Голубой Макс".

[^^^]

Кавасы — здесь: полицейские солдаты, сторожа при посольствах.

[^^^]

Ментон — самый восточный курорт Лазурного берега, расположенный Между владениями Монако и границей с Италией, тихий и живописный приморский город, пропитанный колоритом и традициями двух европейских культур: французской и итальянской.

[^^^]

Корец — ковш для черпанья воды, кваса, для питья браги.

[^^^]

Международный преступник, отставной корнет. Биография Николая Савина, дошедшая до потомков, составлена в основном с его рассказов.

[^^^]

Козьма Прутков "Юнкер Шмидт".

[^^^]

Демагог — демократ и диктатор в Древней Греции; также популист, "народный" политик. Первоначально слово не имело негативного оттенка.

[^^^]

Фельетон — здесь: малая художественно-публицистическая форма, характерная для периодической печати и отличающаяся злободневностью тематики.

[^^^]